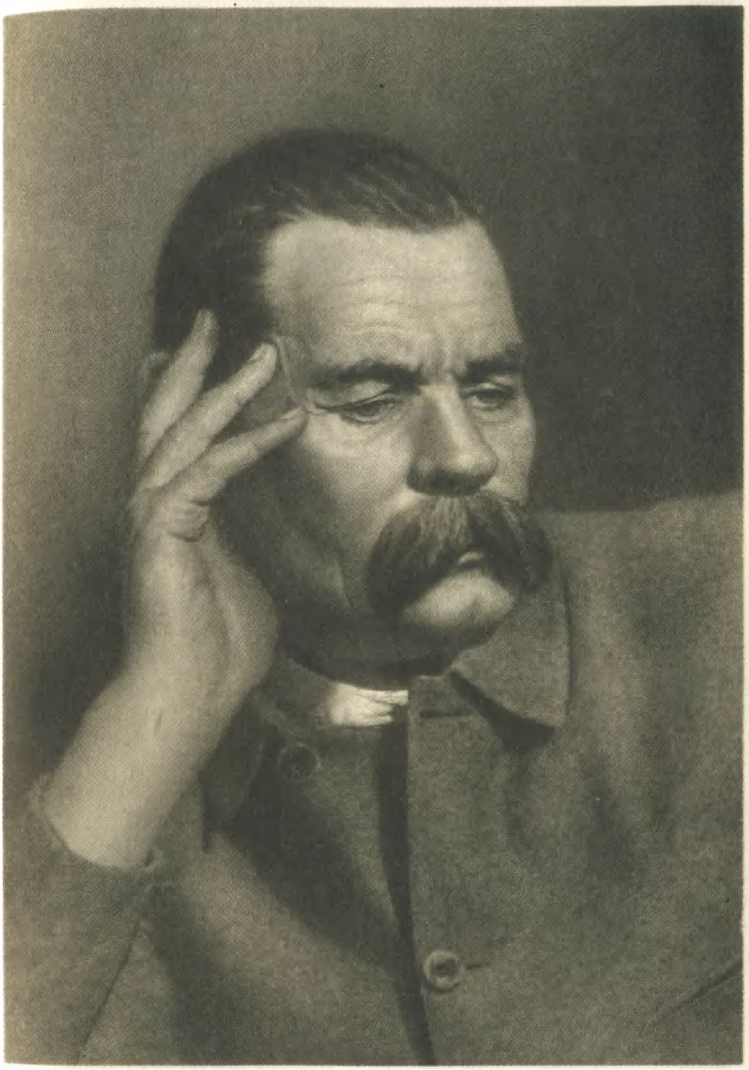
М. ГОРЬКИЙ

Ex 3634



А. М. ГОРЬКИЙ
Москва, 1928 г.

АКАДЕМИЯ НАУК СССР

ИНСТИТУТ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
ИМЕНИ А. М. ГОРЬКОГО

М. ГОРЬКИЙ

ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ
В ДВАДЦАТИ ПЯТИ ТОМАХ

ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА»

М. ГОРЬКИЙ

ТОМ ДВАДЦАТЬ ТРЕТИЙ

ЖИЗНЬ КЛИМА САМГИНА

1925—1936

МОСКВА · 1975

Г $\frac{70302-044}{042(02)-75}$ Подписное

© Издательство «Наука»
1975 г.

ЖИЗНЬ КЛИМА САМГИНА

(СОРОК ЛЕТ)

ПОВЕСТЬ

Часть третья

Дома по комнатам тяжело носила изработанное тело свое Анфимьевна.

— Схоронили? Ну вот,— неопределенно проворчала она, исчезая в спальне, и оттуда Самгин услыхал бесцветный голос старухи: — Не знаю, что делать с Егором: пьет и пьет. Царскую фамилию жалеет,— выпустила вожжи из рук.

Самгин попросил чаю и, закрыв дверь кабинета, прислушался,— за окном топали и шаркали шаги людей. Этот непрерывный шум создавал впечатление работы какой-то машины, она выравнивала мостовую, постукивала в стены дома, как будто расширяя улицу. Фонарь против дома был разбит, не горел,— казалось, что дом отодвинулся с того места, где стоял.

«Свершилось,— думал Самгин, закрыв глаза и видя слово это написанным как заголовок будущей статьи; слово даже заканчивалось знаком восклицания, но он стоял криво и был похож на знак вопроса.— В данном случае похороны как бы знаменуют воскресение нормальной жизни».

Думалось лениво и неутешительно, мешали Митрофанов, Лютов, мешало воспоминание о Никоновой.

«Неужели она донесла на Митрофанова?»

Затем он вспомнил, как неудобно было лежать в постели рядом с нею,— она занимала слишком много места, а кровать узкая. И потом эта ее манера бережно укладывать груди в лиф...

Несколько часов ходьбы по улицам дали себя знать,— Самгин уже спал, когда Анфимьевна принесла стакан чаю. Его разбудила Варвара, дергая за руку с такой силой, точно желала сбросить на пол.

— Проснись же! Ты слышишь? Около университета стреляли...

Она была в шубке, от нее несло холодом и духами, капельки талого снега блестели на шубе; хватая себя рукою за горло, она кричала:

— Ужас! Масса убитых! Мальчика...

— Мальчика? — повторил Самгин.— А может быть...

— Что — может быть? А, чёрт!

Ей наконец удалось расстегнуть какой-то крючок, и, сбросив холодную шубку на колени Клима, срывая с головы шляпку, она забегала по комнате, истерически выкрикивая:

— И вообще — решено расстреливать. Эти похороны! В самом деле,— сам подумай,— ведь не во Франции мы живем! Разве можно устраивать такие демонстрации!

В столовой голос Кумова произнес:

— Какое... безумие!

— Кто стрелял? — недоверчиво спросил Самгин.

— Из манежа. Войска. Стратонов — прав: дорого заплатят евреи за эти похороны! Но — я ничего не понимаю! — крикнула она, взмахнув шляпкой.— Разрешили, потом — стреляют! Что это значит? Что ты молчишь?

И она убежала, избавив Клима от обязанности говорить.

«Наверное, преувеличено»,— соображал он, сидя и вслушиваясь в отрывистые выкрики жены:

— Да, да... ужас!

Шаги людей на улице стали как будто быстрей. Самгин угнетенно вышел в столовую,— и с этой минуты жизнь его надолго превратилась в сплошной кошмар. На него наткнулся Кумов; мигая и приглаживая красными ладонями волосы, он встряхивал головою, а волосы рассыпались снова, падая ему на щеки.

— Без-зумие,— сквозь зубы сказал он, отходя к телефону, снял трубку и приставил ее к щеке, ниже уха.

— Телефон же не работает! — крикнула Варвара.

— Я не верю, не верю, что Петербургом снова командует Германия, как это было после Первого марта

при Александре Третьем,— бормотал Кумов, глядя на трубку.

— Никуда я вас не пущу, Кумов! Почему вы думаете, что он тоже пошел по Никитской? И ведь не всех, кто шел по Никитской...

В столовую птицей влетела Любаша Сомова; за нею по полу тащился плед; почти падая, она, как слепая, наткнулась на стол и, задыхаясь, пристукивая кулаком, невероятно быстро заговорила:

— Туробоев убит... ранен, в больнице, на Страстном. Необходимо защищаться—как же иначе? Надо устраивать санитарные пункты! Много раненых, избитых. Послушайте,— вы тоже должны санитарный пункт! Конечно, будет восстание... Эсеры на Прохоровской мануфактуре...

Варвара грубо и даже как будто озлобленно перебивала ее вопросами. Вошла Анфимьевна и молча начала раздевать Любашу, а та вырывалась из ее рук, вскрикивая:

— Оставьте! Я сейчас уйду... Ах, боже мой, да оставьте же...

— Никаких пунктов! — горячо шепнула Варвара в ухо мужа.— Ни за что! Я — не могу, не допущу...

Подпрыгивая, точно стараясь вскочить на стол, Любаша торопливо кричала:

— Гогины уже организуют пункт, и надо просить Лютова, Клим! У него — пустой дом. И там — такой участок, там — необходимо! Иди к нему, Клим. Иди сейчас же...

— Да, да, иди, Клим,— убедительно повторила Варвара, под сердитый крик Сомовой:

— Отдайте мне кофту и плед!

— Ну — куда, куда ты пойдешь? — говорила Анфимьевна, почему-то басом, но Любаша, стукнув по столу кулачком, похожим на булку «розан», крикнула на нее:

— Вы ничего не понимаете! Вы... рыба! За Алексеем Гогиным гнались какие-то... стреляли...

Анфимьевна увела Любашу, Варвара снова зашептала мужу:

— Ты иди, уговори Лютова, он человек с положением, а у нас — нет, благодарю!

Самгин пошел одеваться, не потому, что считал нужными санитарные пункты, но для того, чтоб уйти из дома, собраться с мыслями. Он чувствовал себя ошеломленным, обманутым и не хотел верить в то, что слышал. Но, видимо, все-таки случилось что-то безобразное и как бы направленное лично против него.

«Надобно защищаться. Будет восстание,— выйдя на улицу, мысленно повторял он крики Любаши.— Идиотка».

Но, обругав Сомову, подумал, что эти узкие кривые улицы должны быть удобны для баррикад. И вслед за этим неприятно вспомнилось, как 8 октября рабочие осматривали город глазами чужих людей, а затем вдруг почувствовал, что огромный, хаотический город этот — чужой и ему — не та Москва, какою она была за несколько часов до этого часа. На нее обрушилась холодная темнота и, затискав людей в домики, в дома, погасила все огни на улицах, в окнах. Лишь очень редко, за плюшевыми наростами инея на стеклах окон, нищенски жалобно мерцали желтые пятна. Во тьме играла, сеялась остренькая, колючая пыль. Город стал не реален, как не реально всё во тьме, кроме самой тьмы.

И, как всякий человек в темноте, Самгин с неприятной остротою ощущал свою реальность. Люди шли очень быстро, небольшими группами, и, должно быть, одни из них знали, куда они идут, другие шли, как заплутавшиеся,— уже раза два Самгин заметил, что, свернув за угол в переулок, они тотчас возвращались назад. Он тоже невольно следовал их примеру. Его обогнала небольшая группа, человек пять; один из них курил, папироса вспыхивала часто, как бы в такт шагам; женский голос спросил тоном обиды:

— Господа,— неужели это серьезно? — И крикнул: — Да бросьте папиросу!

Вздрогнув, Самгин подумал, что Москва в эту ночь страшнее Петербурга, каким тот был ночью на 10 января. Он стал напряженно вслушиваться, ожидая поймать памятные щелчки ружейных выстрелов. Но слух ловил какие-то удары, точно хлопали ворота или двери,

ловил вдали непонятное потрескивание,— так трещит дерево, разрываемое морозом. Иногда казалось, что ходят по железной крыше, иногда что-то скрипело и падало, как будто вдруг обрушился забор. Плутая в петлях улиц и переулков, во тьме, которая шелушилась всё обильнее, Самгин подумал, что видеть Лютова будет очень неприятно, и окончательно решил: санитарные пункты — детская выдумка.

«В сущности, я необдуманно вышел из дома,— размышлял он, замедлив шаги.— Эта стрельба, наверное,— недоразумение».

Но он, вспомнив, что ему хотелось думать о преступлении 9 января тоже как о недоразумении, оттолкнул догадки о происшедшем сегодня и решил возвратиться домой. Алина, конечно, знает, идти к ней нет смысла. Туробоев так и должен был кончить. В сущности, он авантюрист. Такие кончают самоубийством или тюрьмой за уголовщину. Обломок разрушенного сословия. Возможно, что Алина всё еще любит его. Кто-то сказал, что женщина всю жизнь любит первого мужчину, но — памятью, а не плотью. Он повернул за угол в переулок; через несколько шагов его окрикнули:

— Кто идет?

Перед ним встал высокий человек, зажег спичку и, осветив его лицо, строго спросил:

— Живете в этом переулке?

— Нет.

— Здесь проход закрыт.

Самгин не спросил — почему. В глубине переулка, покрякивая и негромко переговариваясь, возились люди, тащили по земле что-то тяжелое.

«Конечно, студенты. Мальчишки»,— подумал он, натужно усмехаясь и быстро шагая прочь от человека в длинном пальто и в сибирской папахе на голове. Холодная темнота, сжимая тело, вызывала вялость, сонливость. Одолевали мелкие мысли,— мозг тоже как будто шелушился ими. Самгин невольно подумал, что почти всегда в дни крупных событий он отдавался во власть именно маленьких мыслей, во власть деталей;

они кружились над основным впечатлением, точно искры над пеплом костра.

«Это — свойство художника,— подумал он, приподняв воротник пальто, засунул руки глубоко в карманы и пошел тише.— Художники, наверное, думают так в своих поисках наиболее характерного в главном. А возможно, что это — своеобразное выражение чувства самозащиты от разрушительных ударов бессмыслицы».

Он повернул за угол, в свою улицу, и почти наткнулся на небольшую группу людей. Они стеснились между двумя палисадниками, и один из них говорил, негромко, быстро:

— Веру-царя-отечество...

Три слова он произнес, как одно. Самгин видел только спины и затылки людей; ускорив шаг, он быстро миновал их, но все-таки его настигли торопливые и очень внятные в морозной тишине слова:

— Забастовщики подкуплены жидами, это — дело ясное, и вот хоронили они — кого? А — как хоронили? Эдак-то в прошлом году генерала Келлера не хоронили, а — герой был!

«Тоже — „объясняющий господин“»,— подумал Клим, быстро подходя к двери своего дома и оглядываясь. Когда он в столовой зажег свечу, то увидал жену: она, одетая, спала на кушетке в гостиной, оскалив зубы, держась одною рукой за грудь, а другою за голову.

— Лютов был,— сказала она, проснувшись и морщась.— Просил тебя прийти в больницу. Там Алина с ума сходит. Боже мой,— как у меня голова болит! И какая всё это... дрянь! — вдруг взвизгнула она, топнув ногою.— И еще — ты! Ходишь ночью... Бог знает где, когда тут... Ты уже не студент...

Нервно расстегивая кофту, она ушла, захватив свечу.

— Ты забыла, что ушел я с твоего соизволения,— сказал он вслед ей и подумал:

«Растрепана, как...»

Позорное для женщины слово он проглотил и, в темноте, сел на теплый диван, закурил, прислушался к тишине. Снова и уже с болезненной остротою он чувствовал себя обманутым, одиноким и осужденным думать обо всем.

«Это и есть — моя функция? — спросил он себя.— По Ламарку — функция создает орган. Органом какой функции является человек, если от него отнять инстинкт пола? Толстой прав, ненавидя разум».

Папироса погасла. Спички пропали куда-то. Он лениво поискал их, не нашел и стал снимать ботинки, решив, что не пойдет в спальню: Варвара, наверное, еще не уснула, а слушать ее глупости противно. Держа ботинок в руке, он вспомнил, что вот так же на этом месте сидел Кутузов.

«Конечно, он теперь где-нибудь разжигает страсти...» Тут Самгин вдруг почувствовал, что в нем точно нарыв лопнул и по всему телу разлились холодные струйки злобы.

«И прав! — мысленно закричал он.— Пускай вспыхнут страсти, пусть всё полетит к чёрту, все эти домики, квартирки, начиненные заботниками о народе, начетчиками, критиками, аналитиками...»

— Почему ты не ложишься спать? — строго спросила Варвара, появляясь в дверях со свечой в руке и глядя на него из-под ладони.— Иди, пожалуйста! Стыдно сознаться, но я боюсь! Этот мальчик... Сын доктора какого-то... Он так стонал...

В ночной длинной рубашке, в чепчике и туфлях, она была похожа на карикатуру Буша.

— Странно ты ведешь себя,— сказала она, подходя к постели.— Ведь я знаю,—всё это не может нравиться тебе, а ты...

— Молчи! — вполголоса крикнул он, но так, что она отшатнулась.— Не смей говорить — знаю! — продолжал он, сбрасывая с себя платье. Он первый раз кричал на жену, и этот бунт был ему приятен.

— Ты с ума сошел,— пробормотала Варвара, и он видел, что подсвечник в руке ее дрожит и что она, шаркая туфлями, всё дальше отодвигается от него.

— Что ты знаешь? Может быть, завтра начнется резня, погромы...

Варвара как-то тяжело, неумело улеглась спиною к нему; он погасил свечу и тоже лег, ожидая, что еще скажет она, и готовясь наговорить ей очень много обидной правды. В темноте под потолком медленно вра-

щались какие-то дымные пятна, круги. Ждать пришлось долго, прежде чем в тишине прозвучали тихие слова:

— Не понимаю, почему нужно злиться на меня? Ведь не я делаю революции...

Он ждал каких-то других слов. Эти были слишком глупы, чтоб отвечать на них, и, закутав голову одеялом, он тоже повернулся спиною к жене.

«Кричать на нее бесполезно. И глупо. Крикнуть надобно на кого-то другого. Может быть, даже на себя».

Но — себя жалко было, а мысли принимали бредовой характер. Варвара, кажется, плакала, всё сморкалась, мешая заснуть.

«Вероятно, ненавидит меня. Но я сам, кажется, скоро тоже возненавижу себя». И от этой мысли жалость его к себе возросла.

Заснул он под утро, а когда проснулся и вспомнил сцену с женой, быстро привел себя в порядок и, выпив чаю, поспешил уйти от неизбежного объяснения.

«Москва опустила руки»,— подумал он, шагая по бульварам странно притихшего города. Полдень, а людей на улицах немного и всё больше мелкие обыватели, озабоченные, угрюмые. Небольшими группами они стояли у ворот, куда-то шли, тоже по трое, по пяти и более. Студентов было не заметно, одинокие прохожие — редки. Не видно ни извозчиков, ни полиции, но всюду торчали и мелькали мальчишки, ожидая чего-то.

Вход в переулок, куда вчера не пустили Самгина, был загроможден телегой без колес, ящиками, матрасом, газетным киоском и полотнищем ворот. Перед этим сооружением на бочке из-под цемента сидел рыжебородый человек, с папиросой в зубах; между колен у него торчало ружье, и одет он был так, точно собрался на охоту. За баррикадой возились трое людей: один прикреплял проволокой к телеге толстую доску, двое таскали со двора кирпичи. Всё это вызвало у Самгина впечатление озорной обывательской забавы.

В приемной Петровской больницы на Клима жадно бросился Лютов, растрепанный, измятый, с воспаленными глазами, в бурых пятнах на изломанном гримасами лице.

— Ух, как я тебя ждал! — зашипел он, схватив Самгина, увлек его в коридор, поставил в нишу окна.— Ну, он — помер, в одиннадцать тридцать семь. Две пули, обе — в живот. Маялся. Вот что, брат,— налезая на Самгина, говоря прямо в лицо ему, продолжал он осипшим голосом: — тут Алина взвилась, хочет хоронить его обязательно на Введенском кладбище, ну — чепуха же! Ведь это — чёрт знает где, Введенское! И вообще какие тут похороны? Поп отказался провожать. Идиот. «Тут, говорит, убийство, уголовное преступление».— «Как, говорю, преступление? Солдаты стреляли не по своей охоте, а, разумеется, по команде начальства, значит, это — убийство в состоянии самозащиты войск против свирепости гимназистов!» Лютов захлебнулся словами, закашлялся и потом, упираясь ладонью в плечо Самгина, продолжал:

— Ты, брат, попробуй, отговори ее от этой церемонии,— а?

У него дрожали ноги, он всё как-то приседал, покачивался. Самгин слушал его молча, догадываясь — чем ушиблен этот человек? Отодвинув Клима плечом, Лютов прислонился к стене на его место, широко развел руки:

— Какая штучка началась, а? Вот те и хи-хи! Я ведь шел с ним, да меня у Долгоруковского переулка остановил один эсер, и вдруг — трах! трах! Сукины дети! Даже не подошли взглянуть — кого перебили, много ли? Выстрелили и спрятались в манеж. Так ты, Самгин, уговори! Я не могу! Это, брат, для меня — неожиданно... непонятно! Я думал, у нее — для души — Макаров... Идет! — шепнул он и отодвинулся подальше в угол.

Издали по коридору медленно плыла Алина. В расстегнутой шубке, с шалью на плечах, со встрепанной прической, она казалась неестественно большой. Когда она подошла, Самгин почувствовал, что уговаривать ее бесполезно: лицо у нее было окостеневшее, глаза провалились в темные глазницы, а зрачки как будто кипели, сверкая бешенством.

— Ну вот, хоть один умный человек нашелся,— сквозь зубы, низким голосом заговорила она.— Ты,

Клим, проводишь меня на кладбище. А ты, Лютов, не ходи! Клим и Макаров пойдут.— Слышишь?

Лютов дернул себя за бородку, и голова его покорно наклонилась.

— Я наняла каких-то шестерых, они и понесут гроб,— продолжала она и вдруг, топнув ногою, сказала басовито: — Ни одного цветка нигде, сволочи!..

Она пошла дальше, а Лютов, укоризненно мотая головой, прошептал:

— Что же ты, Самгин? Эх, брат... Ну, разве можно ее пустить... Эх!

И, ступая на носки сапог, он пошел вслед за Алиной.

«В какие глупые положения попадаю я»,— подумал Самгин, оглядываясь. Бесшумно отворялись двери, торопливо бегали белые фигуры сиделок, от стены исходил запах лекарств, в стекла окна торкался ветер. В коридор вышел из палаты Макаров, развязывая на ходу завязки халата, взглянул на Клима, задумчиво спросил:

— Ты?

И, взяв его под руку, привел в темную комнатку, с одним окном, со множеством стеклянной посуды на полках и в шкафах.

— Кури, здесь можно,— сказал он, снимая халат.— Мужественно помер, без жалоб, хотя раны в живот — мучительны.

Присев на угол стола, он усмехнулся:

— Говорит мне: «Я был бы доволен, если б знал, что умираю честно». Это — как из английского романа. Что значит — честно умереть? Все умирают — честно, а вот живут...

Самгин курил, слушал и размышлял: почему этот преждевременно поседевший человек как-то особенно неприятен ему?

— Что же, Самгин, революция у нас? — спросил Макаров, сдвинув брови, глядя на дымный кончик своей папиросы.

— Очевидно.

— Ты — рад?

— Революция, это — трагедия,— не сразу ответил Клим.

— Ты не ответил.

— Трагедии не радуют.

— Ты — большевик?

— Конечно — нет,— ответил Клим и тотчас же подумал, что слишком торопливо ответил.

— Значит — не революционер,— сказал Макаров тихо, но очень просто и уверенно. Он вообще держался и говорил по-новому, незнакомо Самгину и этим возбуждал какое-то опасение, заставлял насторожиться.

— Революционеры — это большевики,— сказал Макаров всё так же просто.— Они бьют прямо: лбом в стену. Вероятно — так и надо, но я, кажется, не люблю их. Я помогал им деньгами и вообще... прятал кого-то и что-то. А ты помогал?

— Случалось,— осторожно ответил Клим.

— Зачем? Почему?

Самгин молча пожал плечами, чувствуя, что вопросы Макарова принимают всё более неприятный характер. А тот продолжал:

— Потому что — авангард не побеждает, а погибает, как сказал Лютов? Наносит первый удар войскам врага и — погибает? Это — неверно. Во-первых — не всегда погибает, а лишь в случаях недостаточно умело подготовленной атаки, а во-вторых — удар-то все-таки наносит! Так вот, Самгин, мой вопрос: я не хочу гражданской войны, но помогал и, кажется, буду помогать людям, которые ее начинают. Тут у меня что-то... неладно. Не согласен я с ними, не люблю, но, представь,— как будто уважаю и даже...

Он усмехнулся, щелкнул пальцами и продолжал:

— Ты — человек осведомленный в политике, скажи-ка...

Дверь широко открылась, вошла Алина. Самгин бросил окурок папиросы на пол и облегченно вздохнул, а Макаров сказал:

— Мы потом возобновим эту беседу...

«Едва ли»,— хотелось сказать Климу, но вместо этого он утвердительно кивнул головой.

— О чем? — спросила Алина, стирая с лица платком крупные капли пота.

— О политике,— сказал Макаров.— Вы бы сняли шубу, простудитесь!

Алина села у двери на стул, предварительно сбросив с него какие-то книги.

— Разве я вам мешаю? — спросила она, посмотрев на мужчин.— Я начала понимать политику, мне тоже хочется убить какого-нибудь... министра, что ли.

— Вам надо выспаться,— пробормотал Макаров, не глядя на нее, а она продолжала, не торопясь, цедя слова сквозь зубы:

— Вот — пошли меня, Клим! Я — красивая, красивую к министру пропустят, а я его...

Вытянув руку, она щелкнула пальцами,— лицо ее оставалось всё таким же окостеневшим. Макаров, согнувшись, снова закуривал, а Самгин, усмехаясь, спросил:

— Ты думаешь, что это я посылаю людей убивать?

— Кто-то посылает,— ответила она, шумно вздохнув.— Вероятно — хладнокровные, а ты — хладнокровный. Ночью, там,— она махнула рукой куда-то вверх,— я вспомнила, как ты мне рассказывал про Игоря, как солдату хотелось зарубить его... Ты — всё хорошо заметил, значит — хладнокровный!

Помолчав и накрывая голову шалью, она добавила потише, как бы для себя:

— Впрочем, это, может, оттого, что «у страха глаза велики» — хорошо видят. Ах, как я всех вас...

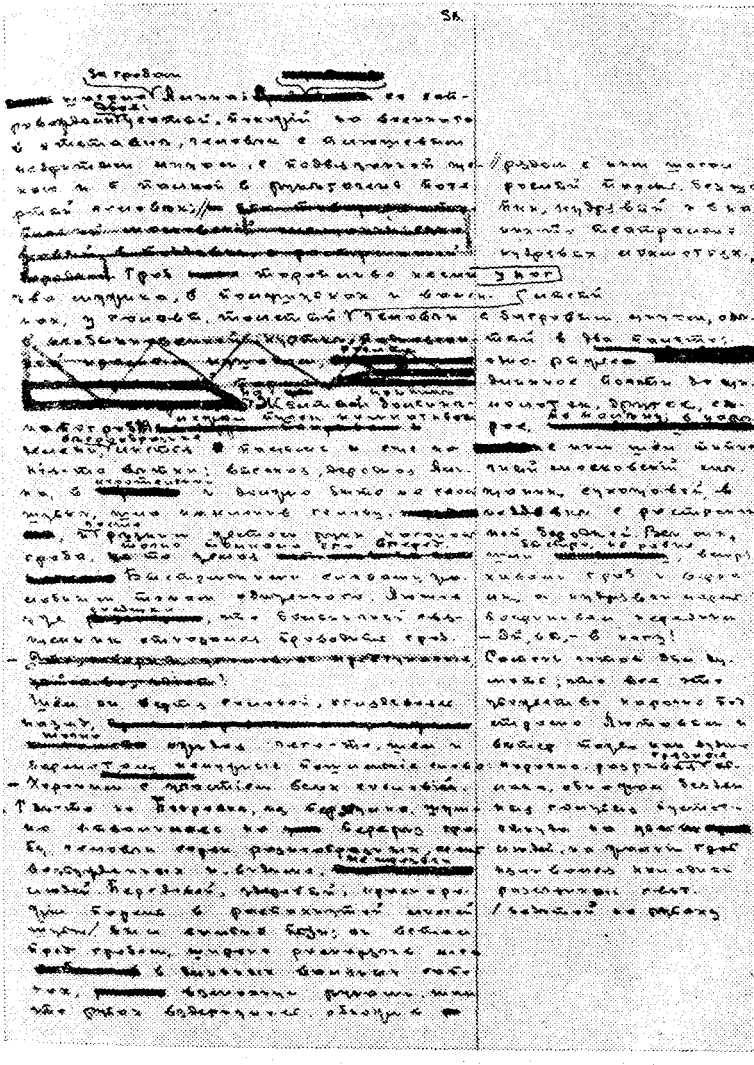
Взглянув на Макарова, она замолчала, а потом вполголоса:

— В Ялте, после одной пьяной ночи, я заплакала, пожаловалась: «Господи, зачем ты одарил меня красотой, а бросил в грязь!» Вроде этого кричала что-то. Тогда Игорь обнял меня и так... удивительно ласково сказал: «Вот это — настоящий человеческий вопль!» Он иногда так говорил, как будто в нем чёрт прятался...

Последнее слово заглушил Лютов, отворив дверь.

— Ну что ж, готово,— сказал он очень унылым голосом.— Пойдемте.

Через час Самгин шагал рядом с ним по панели, а среди улицы за гробом шла Алина под руку с Макаровым; за ними — усатый человек, похожий на военного



«ЖИЗНЬ КЛИМА САМГИНА», ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ.
Страница чернового автографа.

в отставке, небритый, точно в плюшевой маске на сизых щеках, с толстой палкой в руке, очень потертый; рядом с ним шагал, сунув руки в карманы рваного пиджака, наклоня голову без шапки, рослый парень, кудрявый и весь в каких-то театрально кудрявых лохмотьях; он всё поплевывал сквозь зубы под ноги себе. Гроб торопливо несли два мужика в полушубках, оба, должно быть, только что из деревни: один — в серых растоптанных валенках, с котомкой на спине, другой — в лаптях и нестрядинных штанах, с черной заплатой на правом плече. В голове гроба — лысый толстый человек, одетый в два пальто, одно — летнее, длинное, а сверх него — коротенькое, по колена; в паре с ним — типичный московский мещанин, сухощавый, в поддевке, с растрепанной бородкой и головой яйцом. Шли они быстро и все четверо нелепо наклонясь вперед, точно телегу везли. Усатый сипло покрикивал на них:

— Эй, вы,— в ногу!..

На желтой крышке больничного гроба лежали два листа пальмы латании и еще какие-то ветки комнатных цветов; Алина — монументальная, в шубе, в тяжелой шали на плечах — шла, упираясь подбородком в грудь, ветер трепал ее каштановые волосы; она часто, резким жестом руки касалась гроба, точно толкая его вперед, и, спотыкаясь о камни мостовой, толкала Макарова; он шагал, глядя вверх и вдаль, его ботинки стучали по камням особенно отчетливо.

— Не дойдет, конечно,— ворчал Лютов, косясь на Алину.

Самгин готов был думать, что всё это убожество нарочно подстроено Лютовым,— всё: тусклый октябрьский день, холодный ветер, оловянное небо, шестеро убогих людей, жалкий гроб.

А через несколько минут он уже машинально соображал: «„Бывшие люди“, прославленные модным писателем и модным театром, несут на кладбище тело потомка старинной дворянской фамилии, убитого солдатами бессильного, бездарного царя». В этом было нечто и злорадное и возмущавшее.

«А что в этом — от ума? — спросил себя Клим.— Злорадство или возмущение?»

Лютов мешал ему. Он шел неровно, точно пьяный,— то забегал вперед Самгина, то отставал от него, но опередить Алину не решался, очевидно, боясь попасть ей на глаза. Шел и жалобно сеял быстренькие слова:

— Хороним с участием всех сословий. Уговаривал ломовика — отвези! «Ну вас, говорит, к богу, с покойниками...» И поп тоже — уголовное преступление, а? Скотина. Н-да, разыгрывается штучка... сложная! Алина, конечно, не дойдет... Какое сердце, Самгин? Жестоко честное сердце у нее. Ты, сухарь, интеллектюэль, не можешь оценить. Не поймешь. Интеллектюэль,— словечко тоже! Эх вы... Тю...

— Перестань,— сказал Самгин, соображая, под каким предлогом удобнее отказаться от дальнейшего путешествия по унылым, безлюдным переулкам.

— Брюсов, Валерий, сочиняет стишки:

> ...вас, кто меня уничтожит,
> Встречаю приветственным гимном.

Врет! Боится и н-ненавидит грядущих гуннов! И — не гимн, а — панихиду написал. Правда?

— Нет,— сердито сказал Самгин.— И вообще ты...— Он хотел сказать что-нибудь обидное Лютову, но пробормотал: — Я, кажется, простудился, прескверно чувствую себя. Пожалуй, мне следует...

Из переулка шумно вывалилось десятка два возбужденных и нетрезвых людей. Передовой, здоровый краснорожий парень в шапке с наушниками, в распахнутой лисьей шубе, надетой на рубаху без пояса, встал перед гробом, широко расставив ноги в длинных, выше колен, валенках, взмахнул руками так, что рубаха вздернулась, обнажив сильно выпуклый, масляно блестящий живот, и закричал визгливым, женским голосом:

— Стойте! Кого хороните? Какого злодея?

— Ну вот! — тоскливо вскричал Лютов. Притопывая на одном месте, он как бы собирался прыгнуть с панели на мостовую, но не мог прыгнуть, и в то же время, ощупывая себя руками, бормотал: — Ой, револьвер вынула, ах ты! Понимаешь? — шептал он, толкая Самгина: — У нее — револьвер!

Самгин понимал, что сейчас разыграется что-то безобразное, но всё же ему приятно было видеть Лютова в судорогах страха, а Лютов был так испуган, что его косые беспокойные глаза выкатились, брови неестественно расползлись к вискам. Он пытался сказать что-то людям, которые тесно окружили гроб, но только махал на них руками. Наблюдать за Лютовым не было времени, — вокруг гроба уже началось нечто жуткое, отчего у Самгина по спине поползла холодная дрожь.

Носильщики, поставив гроб на мостовую, смешались с толпой; усатый человек, перебежав на панель и прижимая палку к животу, поспешно уходил прочь; перед Алиной стоял кудрявый парень, отталкивая ее; она колотила его кулаками по рукам; Макаров хватал ее за руки, вскрикивая:

— Прочь! Что вам надо?

Алина тоже что-то кричала, но голос ее заглушался визгом парня в лисьей шубе и криками его товарищей. Парень в шубе, болтая головою, встряхивая наушниками шапки, визжал:

— Почему без попа? Жида хороните, а? Опять жида? Бога обижаете? Нет, постойте! Вася — как надо?

Из-под левой руки его вынырнул тощий человечек в женской ватной кофте, в опорках на босую ногу и, прискакивая, проорал хрипло:

— Жид — жить, а мы его — бить! Эх, Игнаша! Ребята — поддерживай! Красота наша ты, Игнат Петров. Защита!

И еще человек пять разноголосо и отчаянно ревели:

— Командуй, Игнат! Поддержим! Э-эх...

В толпе вертелся Лютов; сняв шапку, размахивая ею, он тоже что-то кричал, но парень в шубе, пытаясь схватить его пьяной рукою, заглушал все голоса пронзительными визгами истерического восторга.

— Из господ? Князь? Не допускаю — врешь! Где поп? Священник, а? Князей хоронят с музыкой, сволочь! Убили? Братцы — слышали? Кого убивают?

— Жидов, забастовщиков! — ответили ему.

Кудрявый парень и Макаров тащили, толкали Алину на панель,— она билась в их руках, и Самгин слышал ее глухой голос:

— Пустите! Я его ударю... изобью...

Вдруг стало тише,— к толпе подошел большой толстый человек, в черном дубленом полушубке, и почти все обернулись к нему.

— Чего буяните? — говорил он.— Зря всё! Видите: красных лентов нету, стало быть, не забастовщик, ну? И женщина провожает... подходящая, из купчих, видно. Господин — тоже купец, я его знаю, пером торгует в Китай-городе, фамилие забыл. Ну? Служащего, видать, хоронют...

— Врешь! — крикнул парень; человек в опорках поддержал его:

— Врет, толстая морда! Игнаша, защита наша,— не верь. Они все заодно — толстые, грабители, мать...

— Не сдавай, Игнат! — кричали в толпе.

— Снимай крышку! Жидягу хоронят из тех, что вчерась настреляли...

Человек в полушубке хлопнул ладонью по плечу Игната.

— Ты — что? Хулиган, что ли? Забастовщик? — спросил он громко, с упреком.

— Братцы,— кто я? — взвизгнул Игнат, обняв его за шею.— Скажите скорее, а то — убьюсь! На месте убьюсь! Братцы, эх...

Взмахнув руками, он сбросил с себя шубу и начал бить кулаками по голове своей; Самгин видел, что по лицу парня обильно текут слезы, видел, что большинство толпы любуется парнем, как фокусником, и слышал восторженно злые крики человечка в опорках:

— Игнаша! Не сдавай Порт-Артур, бей чёрта в лоб! Защита! Кр-расота моя, ты!

Человек пять, тесно окружив Лютова, слушали его, смотрели, как он размахивает дорогой шапкой, и кто-то из них сказал:

— Обалдела Москва, это верно!

«Кончилось»,— подумал Самгин. Сняв очки и спрятав их в карман, он перешел на другую сторону улицы, где курчавый парень и Макаров, поставив Алину к стене, удерживали ее, а она отталкивала их. В эту минуту Игнат, наклонясь, схватил гроб за край, легко приподнял его и, поставив на попа, взвизгнул:

— Сам понесу! В Москва-реку!

Лютов видел, как еще двое людей стали поднимать гроб на плечо Игната, но человек в полушубке оттолкнул их, а перед Игнатом очутилась Алина; обеими руками, сжав кулаки, ткнула Игната в лицо, он мотнул головою, покачнулся и медленно опустил гроб на землю. На какой-то момент люди примолкли. Мимо Самгина пробежал Макаров, надевая кастет на пальцы правой руки.

— Уведи ее... что ты, не понимаешь! — крикнул он. А перед Игнатом встал кудрявый парень и спросил его:

— Схлестнемся, что ли?

— Бей его, ребята! — рявкнул человек в черном полушубке, толкая людей на кудрявого.— Бейте! Это — Сашка Судаков, вор! — Самгин видел, как Сашка сбил с ног Игната, слышал, как он насмешливо крикнул:

— Ну-ка, шпана! Храбро,— ну!

Человечек в опорках завертелся, отчаянно закричал:

— Игнаша, герой! Неужто сдашь, и-эхх! — и, подбежав к Макарову, боднул его в бок головою, схватил за ворот, но доктор оторвал его от себя и опрокинул пинком ноги. Тот закричал:

— Всех не перебьете, сволочи-и! Расстрельщики-и!

Макаров толкнул на Самгина Алину, сказав:

— Второй переулок направо, дом девять, квартира Зосимова,— скорее! Я Володьку выручу...

Самгин, подхватив женщину под руку, быстро повел ее; она шла покорно, молча, не оглядываясь, навертывая на голову шаль, смотрела под ноги себе, но шагала тяжело, шаркая подошвами, качалась, и Самгин почти тащил ее.

Испуг, вызванный у Клима отвратительной сценой, превратился в холодную злость против Алины,— ведь это по ее вине пришлось пережить такие жуткие минуты. Первый раз он испытывал столь острую злость,— ему хотелось толкать женщину, бить ее о заборы, о стены домов, бросить в узеньком, пустынном переулке в сумраке вечера и уйти прочь.

Он едва сдерживал это желание и молчал, посапы-

вая, чувствуя, что если заговорит, то скажет ей слова грубо оскорбительные, и все-таки боясь этого.

— Какие... герои,— пробормотала Алина, шумно вздохнув, и спросила: — Володьку изобьют?

Самгин не ответил. Его не удивило, что дверь квартиры, указанной Макаровым, открыла Дуняша.

— О господи! Какие гости! — весело закричала она.— А я самовар вскипятила,— прислуга бастует! Что... что ты, матушка?

Ее изумленное восклицание было вызвано тем, что Алина, сбросив шубу на пол, прислонясь к стене, закрыла лицо руками и сквозь пальцы глухо, но внятно выругалась площадными словами. Самгин усмехнулся,— это понравилось ему, это еще более унижало женщину в его глазах.

— Уведи меня... куда-нибудь,— попросила Алина.

Клим разделся, прошел на огонь в неприбранную комнату; там на столе горели две свечи, бурно кипел самовар, выплескивая воду из-под крышки и обливаясь ею, стояла немытая посуда, тарелки с расковырянными закусками, бутылки, лежала раскрытая книга. Он прикрыл трубу самовара тушилкой и, наливая себе чаю в стакан, заметил, что руки у него дрожат. Грея руки о стакан, он шагал по комнате, осматривался. На маленьком рояле — разбросаны ноты, лежала шляпа Дуняши, рассыпаны стеариновые свечи; на кушетке — смятый плед, корки апельсина; вся мебель сдвинута со своих мест, и комната напоминала отдельный кабинет гостиницы после кутежа вдвоем. Самгин брезгливо поморщился и вспомнил:

«Что хотел сказать Макаров в больнице?»

Явилась Дуняша, и, хотя глаза ее были заплаканы, начала она с того, что, обняв Клима за шею, поцеловала в губы, прошептав:

— Ой, рада, что пришел!

Но тотчас же бросилась к столу и, наливая чай в чашку, торопливо, вполголоса стала спрашивать, что случилось.

— Она — точно окаменела, лежит, молчит,— ужас!

Сухо рассказывая ей, Самгин видел, что теперь, когда на ней простенькое темное платье, а ее лицо,

обрызганное веснушками, не накрашено и рыжие волосы заплетены в косу,— она кажется моложе и милее, хотя очень напоминает горничную. Она убежала, не дослушав его, унося с собою чашку чая и бутылку вина. Самгин подошел к окну; еще можно было различить, что в небе громоздятся синеватые облака, а на улице было уже темно.

«Хорошо бы ночевать здесь...»

В дверь сильно застучали; он подождал, не прибежит ли Дуняша, но, когда постучали еще раз, открыл сам. Первым ввалился Лютов, за ним Макаров и еще кто-то третий. Лютов тотчас спросил:

— Что она? Плачет? Или — что?

Макаров отодвинул его и прошел в комнату, а за ним выдвинулся кудрявый парень и спросил:

— Где можно умыться?

— Идем,— сказал Лютов, хлопнув его по плечу, и обратился к Самгину: — Если б не он — избили бы меня. Идем, брат! Полотенце? Сейчас, подожди...

Он исчез. Парень подошел к столу, взвесил одну бутылку, другую, налил в стакан вина, выпил, громко крякнул и оглянулся, ища, куда плюнуть. Лицо у него опухло, левый глаз почти затек, подбородок и шея вымазаны кровью. Он стал еще кудрявей,— растрепанные волосы его стояли дыбом, и он был еще более оборван,— пиджак вместе с рубахой распорот от подмышки до полы, и, когда парень пил вино,— весь бок его обнажился.

— Сильно избили вас? — тихо спросил Самгин, отойдя от него в угол; парень, наливая себе еще вина, спокойно и сиповато ответил:

— Если б сильно, я бы не стоял на ногах.

Вошли под руку Дуняша и Лютов,— Дуняша отшатнулась при виде гостя, он вежливо поклонился ей, стягивая пальцами дыру на боку и придерживая другою рукой разорванный ворот.

— Извините...

— Сейчас я достану белье вам, пойдемте,— быстро сказала Дуняша.

— Ф-фа! — произнес Лютов, пошатнувшись и крепко прищурив глаза, но в то же время хватая со стола

бутылку.— Это... случай! Ей-богу — дешево отделались! Шапку я потерял,— украли, конечно! По затылку получил, ну — не очень.

Он выпил вина, бросился на кушетку и продолжал — торопливо, бессвязно:

— Гроб поставили в сарай... Завтра его отнесут куда следует. Нашлись люди. Сто целковых. Н-да! Алина как будто приходит в себя. У нее — никогда никаких истерик! Макаров...— Он подскочил на кушетке, сел, изумленно поднял брови.— Дерется как! Замечательно дерется, чёрт возьми! Ну, и этот... Нет,— каков Игнат, а? — вскричал он, подбегая к столу.— Ты заметил, понял?

Наливая одною рукой чай, другою дергая, развязывая галстук, ухмыляясь до ушей, он продолжал:

— Улица создает себе вождя,— ведь вот что! Накачивает, надувает, понимаешь? А босяк этот, который кричал «защита, красота», ведь это же «Московский листок»! Ах, чёрт... Замечательно, а?

— Ты ужасно сочиняешь,— сказал Самгин.

— А ты — плохо видишь, очки мешают! И ведь уже поверил, сукин сын, что он — вождь! Нет, это... замечательно! Может командовать, бить может всякого,— а?

Самгин, слушая, соображал:

«Видит то же, что вижу я, но — по-другому. Конечно, это он искажает действительность, а не я. Влюбился в кокотку,— характерно для него. Выдуманная любовь, и всё в нем — выдумано».

А Лютов говорил с какой-то нелепой радостью:

— Не разобрались еще, не понимают — кого бить!

Вошли Алина и Дуняша. У Алины лицо было всё такое же окостеневшее, только еще более похудело; из-под нахмуренных бровей глаза смотрели виновато. Дуняша принесла какие-то пакеты и, положив их на стол, села к самовару. Алина подошла к Лютову и, гладя его редкие волосы, спросила тихо:

— Побили тебя?

— Ну, что ты! Пустяки,— звонко вскричал он, сгибаясь, целуя ее руку.

— Ах ты, дурачок мой,— сказала она; вздохнув, прибавила: — Умненький,— и села рядом с Дуняшей.

А Лютов неестественно, всем телом, зашевелился, точно под платьем его, по спине и плечам, мыши пробежали. Самгину эта сценка показалась противной, и в нем снова, но еще сильней вспыхнула злость на Алину, растеклась на всех в этой тесной, неряшливой, скудно освещенной двумя огоньками свеч, комнате.

Неприятна была и Дуняша, она гибким и усмешливым голосом рассказывала:

— Благоверный мой в Петербург понесся жаловаться на революцию, уговаривать, чтобы прекратили...

Появился Макаров, раскуривая папиросу, вслед за ним шагнул и остановился кудрявый парень с завязанным глазом; Алина сказала, протянув ему руку:

— Пожалуйста...

Он поклонился, не приняв ее руки:

— Александр Судаков...

— Лесоторговец есть такой! — вскричал Лютов почему-то с радостью.

— Дядя мой,— не сразу ответил Судаков.

— Д-дядя? — недоверчиво спросил Лютов.

— Родной. Не похоже?

Судаков сел к столу против женщин, глаз у него был большой, зеленоватый и недобрый, шея, оттененная черным воротом наглухо застегнутой тужурки, как-то слишком бела. Стакан чая, подвинутый к нему Алиной, он взял левой рукой.

— Левша? — спросил Лютов, присматриваясь к нему.

— Ушиб правую...

Самгин внимательно наблюдал, сидя в углу на кушетке и пережевывая хлеб с ветчиной. Он видел, что Макаров ведет себя, как хозяин в доме, взял с рояля свечу, зажег ее, спросил у Дуняши бумаги, чернил и ушел с нею. Алина, покашливая, глубоко вздыхала, как будто поднимала и не могла поднять какие-то тяжести. Поставив локти на стол, опираясь скулами на ладони, она спрашивала Судакова:

— Как это вы решились?

Судаков наклонился над стаканом, размешивая

чай, и не ответил; но она настойчиво дополнила вопрос:

— Один против всех?

— Да чего ж тут решать? — угрюмо сказал Судаков, встряхнув головой, так что половина волос, не связанная платком, высоко вскинулась.— Мне всегда хочется бить людей.

— За что? — вскричал Лютов, разгораясь.

— За глупость. За подлость.

«Рисуется,— оценивал Самгин.— Чувствует себя героем. Конечно — бабник. Сутенер, „кот", вероятно».

А Судаков, в два глотка проглотив чай, вызывающе заговорил, глядя поверх головы Алины и тяжело двигая распухшей нижней губой:

— Драку в заслугу не ставьте мне, на другое-то я не способен...

— Вы — что же? — усмехаясь, спросил Лютов.— Против господ?

Не взглянув на него, Судаков сказал:

— Я — не крестьянин, господа мне ничего худого не сделали, если вы под господами понимаете помещиков. А вот купцы,— купцов я бы уничтожил. Это — с удовольствием!

На минуту все замолчали, а Самгин тихонько засмеялся и заставил Судакова взглянуть на него воспаленным глазом.

— Вы где учились? — тихо спросила Алина, присматриваясь к нему.

— В коммерческом. Не кончил, был взят дядей в приказчики, на лесной двор. Растратил деньги, рублей шестьсот. Ездил лихачом. Два раза судился за буйство.

Говорил Судаков вызывающим тоном и всё время мял, ломал пальцами левой руки корку хлеба.

— Так что я вам — не компания,— закончил он и встал, шумно отодвинув стул.— Вы, господа, дайте мне... несколько рублей, я уйду...

Лютов тотчас сунул руку за пазуху. Алина сказала:

— Посидите с нами. Сколько вам лет?

— Двадцать.

Приняв деньги Лютова, он не поблагодарил его, но, когда пришел Макаров и протянул ему рецепт, покосился на бумажку и сказал:

— Спасибо. Не надо, обойдется и так.

Самгин тоже простился и быстро вышел, в расчете, что с этим парнем безопаснее идти. На улице в темноте играл ветер, и, подгоняемый его толчками, Самгин быстро догнал Судакова,— тот шел не торопясь, спрятав одну руку за пазуху, а другую в карман брюк, шел быстро и пытался свистеть, но свистел плохо,— должно быть, мешала разбитая губа.

— Вы — революционер? — вдруг и неприятно громко спросил он, заставив Клима оглянуть узкий кривой переулок и ответить не сразу, вполголоса, докторально:

— Кого считаете вы революционером? Это — понятие растяжимое, особенно у нас, русских.

— А я думал,— когда вы, там, засмеялись после того, как я про купцов сказал,— вот этот, наверное, революционер!

— Разумеется, я...

Но Судаков, не слушая, бормотал:

— Прячетесь, чёрт вас возьми! На похоронах Баумана за сыщика приняли меня. Осторожны очень. Какие теперь сыщики?

Он вдруг остановился, точно наткнувшись на что-то, и сказал:

— Ну,— прощай, Митюха, а то — дам в ухо!..

«Негодяй,— возмущенно думал Самгин, торопливо шагая и прислушиваясь, не идет ли парень за ним.— Типичнейший хулиган».

Но в проулке было отвратительно тихо, только ветер шаркал по земле, по железу крыш, и этот шаркающий звук хорошо объяснял пустынность переулка,— людей замело в дома.

Согнувшись, Самгин почти бежал, и ему казалось: всё в нем дрожит, даже мысли дрожат.

Он с разбега приткнулся в углубление ворот,— из-за угла поспешно вышли четверо, и один из них ворчал:

— Крестный ход со всех церквей — вот бы что надо.

Маленький круглый человечек, проходя мимо Самгина, сказал:

— Духовенство, конечно, могло бы роль сыграть.

— Рассчитывает, чей кусок жирнее...

Когда слова стали невнятны, Самгин пошел дальше,

шагая быстро, но стараясь топать не очень шумно. Кое-где у ворот стояли обыватели, и от каждой группы ветер отрывал тревожные слова.

— Николка Баранов рабочих вооружает.

— Какой Баранов?

— Асафа сын.

— Басни!

— Вот, кабы Охотный ряд...

В другой группе кто-то уверенно говорил:

— Поджигать начнут, увидите!

А со скамьи бульвара доносился веселый утешающий голосок:

— Да бро-осьте! Когда ж Москва бунтовала? Против ее — действительно, а она — *никогда!*

— А — студенты?

— Ну, нашел бунтарей!

— Вы куда, бабы?

— Во-первых — девицы!

— Ах, извините! Куда же?

— Поглядеть, как булочники баррикаду строят...

— Ну, это — не забава!..

Но, несмотря на голоса из темноты, огромный город все-таки вызывал впечатление пустого, онемевшего. Окна ослепли, ворота закрыты, заперты, переулки стали более узкими и запутанными. Чутко настроенный слух ловил далекие щелчки выстрелов, хотя Самгин понимал, что они звучат только в памяти. Брякнула щеколда калитки. Самгин приостановился. Впереди его знакомый голос сказал:

— Как поведут себя питерцы...

Калитка шумно хлопнула, человек перешел на другую сторону улицы.

«Поярков»,— признал Клим, входя в свою улицу. Она встретила его шумом работы, таким же, какой он слышал вчера. Самгин пошел тише, пропуская в памяти своей жильцов этой улицы, соображая: кто из них может строить баррикаду? Из-за угла вышел студент, племянник акушерки, которая раньше жила в доме Варвары, а теперь — рядом с ним.

— А, это вы,— сказал студент.— Солдат или полиции нет на бульваре?

Самгин отрицательно мотнул головой, прислушиваясь. В глубине улицы кто-то командовал:

— Поперек кладите! Круче!

— Баррикада? — спросил Самгин.

— Две,— сказал студент, скрываясь за углом.

Самгин подошел к столбу фонаря, прислонился к нему и стал смотреть на работу. В улице было темно, как в печной трубе, и казалось, что темноту создает возня двух или трех десятков людей. Густо крякая, кто-то бил по булыжнику мостовой ломом, и, должно быть, именно его уговаривал мягкий басок:

— Довольно! Довольно, товарищ!

Улицу перегораживала черная куча людей. За углом в переулке тоже работали, катили по мостовой что-то тяжелое. Окна всех домов закрыты ставнями и окна дома Варвары — тоже, но оба полотнища ворот — настежь. Всхрапывала пила, мягкие тяжести шлепались на землю. Голоса людей звучали не очень громко, но весело, веселость эта казалась неуместной и фальшивой. Неугомонно и самодовольно звенел тенористый голосок:

— Чего это? Водой облить? Никак нельзя. Пуля в лед ударит,— лёдом будет бить! Это мне известно. На горе святого Николая, когда мы Шипку защищали, турки делали много нам вреда лёдом. Постой! Зачем бочку зря кладешь? В нее надо набить всякой дряни. Лаврушка, беги сюда!

Клим сообразил, что командует медник,— он лудил кастрюли, самовары и дважды являлся жаловаться на Анфимьевну, которая обсчитывала его. Он — тощий, костлявый, с кусочками черных зубов во рту под седыми усами. Болтлив и глуп. А Лаврушка — его ученик и приемыш. Он жил на побегушках у акушерки, квартировавшей раньше в доме Варвары. Озорной мальчишка. Любил петь: «Что ты, суженец, не весел». А надо было петь — сунженец, сунженский казак.

Закурив папиросу, отдаваясь во власть автоматических мелких мыслей, Самгин слышал:

— И стрелять будешь, дед?

— Стрелять я — не вижу ни хрена! Меня вот в бочку сунуть, тогда пуля бочку не пробьет.

Медник неприятно напомнил старого каменщика, который подбадривал силача Мишу или Митю ломать стену. По другой стороне улицы прошли двое — студент и еще кто-то; студент довольно громко говорил:

— Вы, товарищ Яков, напрасно гуляете один, без охраны.

Шум работы приостановился, было видно, что строители баррикады сбились в тесную кучу, и затем, в тишине, раздался голос Пояркова:

— Окажетесь в ловушке. На случай отступления надо иметь сквозные хода дворами. Разберите заборы...

— Правильно,— крикнул медник.

Самгин чувствовал, что у него мерзнут ноги и надо идти домой, но хотелось слышать, что еще скажет Поярков.

«Но — чего ради действуют проклятые старички? Тоже, в своем роде, Кропоткины и Толстые...»

Это уподобление так смутило его, что он даже кашлянул, точно поперхнувшись пылью, но затем вспомнил еще старика — историка Козлова. Он понимал, что на его глазах идея революции воплощается в реальные формы, что, может быть, завтра же, под окнами его комнаты, люди начнут убивать друг друга, но он все-таки не хотел верить в это, не мог допустить этого. Разум его упрямо цеплялся за незначительное, смешное, за всё, что придавало ночной работе на смерть характер спектакля любителей драматического искусства. Сравнение показалось ему очень метким и даже несколько ободрило его. Он знал, как делают революции, читал об этом. Происходившее не напоминало прочитанного о революциях в Париже, Дрездене. Здесь люди играючи отгораживаются от чего-то, чего, вероятно, не будет. А если будет,— придут солдаты, полсотни солдат, и расшвыряют всю эту детскую постройку. В таких полугневных, полупрезрительных мыслях Самгин подошел, заглянул во двор,— дверь сарая над погребом тоже была открыта, перед нею стояла, точно колокол, Анфимьевна с фонарем в руке и говорила:

— Диван — берите, и матрац — можно, а кадки — не дам! Сундук тоже можно, он железом обит.

Самгин зачем-то снял шапку, подошел к домоправительнице и спросил:

— Что это вы делаете?

Спросил он не так строго, как хотелось; Анфимьевна, подняв фонарь, осветила лицо его, говоря:

— Выбираем ненужное, на баррикаду нашу,— сказала она просто, как о деле обычном, житейском, и, отвернувшись, прибавила с упреком: — Вам бы, одному-то, не гулять, Варюша беспокоится...

В сарае, в груде отжившего домашнего хлама, возился дворник Николай, молчаливый, трезвый человек, и с ним еще кто-то чужой.

— Все дают,— сказала Анфимьевна, а из сарая догнал ее слова чей-то чужой голос:

— Не дадут — возьмем!

«Наша баррикада»,— соображал Самгин, входя в дом через кухню. Анфимьевна — типичный идеальный «человек для других», которым он восхищался,— тоже помогает строить баррикаду из вещей, отработавших, так же, как она, свой век,— в этом Самгин не мог не почувствовать что-то очень трогательное, немножко смешное и как бы примирявшее с необходимостью баррикады,— примирявшее, может быть, только потому, что он очень устал. Но, раздеваясь, подумал:

«Все-таки это — какая-то беллетристика, а не история! Златовратский, Омулевский... „Золотые сердца". Сентиментальная чепуха».

Жена, с компрессом на лбу, сидя у стола в своей комнате, писала.

По тому, как она, швырнув на стол ручку, поднялась со стула, он понял, что сейчас вспыхнет ссора, и насмешливо спросил:

— Это ты разрешила Анфимьевне строить нашу баррикаду?

«Нашу» — он подчеркнул. Варвара, одной рукою держась за голову и размахивая другою, подошла вплотную к нему и заговорила шипящими словами:

— Она от старости сошла с ума, а ты, ты? Чего ты хочешь, чего?

Она, видимо, много плакала, веки у нее опухли, белки покраснели, подбородок дрожал, рука дергала

блузку на груди; сорвав с головы компресс, она размахивала им, как бы желая, но не решаясь хлестнуть Самгина по лицу.

— Ты бесчеловечен,— говорила она, задыхаясь.— Ты хочешь быть членом парламента? Ты не сделаешь карьеру, потому что бездарен и... и...

Она взвизгивала всё более пронзительно. Самгин, не сказав ни слова, круто повернулся спиною к ней и ушел в кабинет, заперев за собою дверь. Зажигая свечу на столе, он взвешивал, насколько тяжело оскорбил его бешеный натиск Варвары. Сел к столу и, крепко растирая щеки ладонями, думал:

«Обезумела от страха, мещанка».

Думалось трезво и даже удовлетворенно,— видеть такой жалкой эту давно чужую женщину было почти приятно. И приятно было слышать ее истерический визг,— он проникал сквозь дверь. О том, чтоб разорвать связь с Варварой, Самгин никогда не думал серьезно; теперь ему казалось, что истлевшая эта связь лопнула. Он спросил себя, как это оформить: переехать завтра же в гостиницу? Но — все и всюду бастуют...

На дворе, на улице шумели, таскали тяжести. Это — не мешало. Самгин, усмехаясь, подумал, что, наверное, тысячи Варвар с ужасом слушают такой шум,— тысячи, на разных улицах Москвы, в больших и маленьких уютных гнездах. Вспомнились слова Макарова о не тяжелом, но пагубном владычестве женщин.

«В этом есть доля истины — слишком много пошлых мелочей вносят они в жизнь. С меня довольно одной комнаты. Я — сыт сам собою и не нуждаюсь в людях, в приемах, в болтовне о книгах, театре. И я достаточно много видел всякой бессмыслицы, у меня есть право не обращать внимания на нее. Уеду в провинцию...»

Он чувствовал, что эти мысли отрезвляют и успокаивают его. Сцена с женою как будто определила не только отношения с нею, а и еще нечто, более важное. На дворе грохнуло, точно ящик упал и разбился, Самгин вздрогнул, и в то же время в дверь кабинета дробно застучала Варвара, глухо говоря:

— Отопри! Я — не могу одна, я боюсь! Ты слышишь?

— Слышу, но не отопру,— очень громко ответил он.

Варвара замолчала, потом снова стукнула в дверь.

— Оставь меня в покое,— строго сказал Самгин и быстро пошел в спальню за бельем для постели себе; ему удалось сделать это, не столкнувшись с женой, а утром Анфимьевна, вздыхая, сообщила ему:

— Варюша сказала, что она эти дни у Ряхиных будет, на Волхонке, а здесь — боится она. Думает, на Волхонке-то спокойней...

С этого дня время, перегруженное невероятными событиями, приобрело для Самгина скорость, которая напомнила ему гимназические уроки физики: всё, и мелкое и крупное, мчалось одинаково быстро, как падали разновесные тяжести в пространстве, из которого выкачан воздух. Казалось, что движение событий с каждым днем усиливается и все они куда-то стремительно летят, оставляя в памяти только свистящие и как бы светящиеся соединения слов, только фразы, краткие, как заголовки газетных статей. Газеты кричали оглушительно, дерзко свистели сатирические журналы, кричали продавцы их, кричал обыватель — и каждый день озаглавливал себя:

«Восстание матросов» — возглашал один, а следующий торжественно объявлял: «Борьба за восьмичасовой рабочий день».

Раньше чем Самгин успевал объединить и осмыслить эти два факта, он уже слышал: «Петербургским Советом рабочих депутатов борьба за восьмичасовой день прекращена, объявлена забастовка протеста против казни кронштадтских матросов, восстал Черноморский флот». И ежедневно кто-нибудь с чувством ужаса или удовольствия кричал о разгромах крестьянством помещичьих хозяйств. Ночами перед Самгиным развертывалась картина зимней, пуховой земли, сплошь раскрашенной по белому огромными кострами пожаров; огненные вихри вырывались точно из глубины земной, и всюду, по ослепительно белым полям, от вулкана к вулкану двигались, яростно шумя, черные потоки лавы — толпы восставших крестьян. Самгин был уверен, что эта фантастическая и мрачная, но красивая картина возникла пред ним сама собою, почти не потребовав усилий его воображения, и что она независима от картины, кото-

рую подсказал ему Дьякон три года тому назад. Эта картина говорит больше, другая сила рисует ее огненной кистью,— не та сила восставшего мужика, о которой ежедневно пишут газеты, явно — любуясь ею, а тайно,— наверное, боясь. Нет, это действует стихия сверхчеловеческая: заразив людей безумием разрушения, она уже издевается над ними.

Порою Самгин чувствовал, что он живет накануне открытия новой, своей историко-философской истины, которая пересоздаст его, твердо поставит над действительностью и вне всех старых, книжных истин. Ему постоянно мешали домыслить, дочувствовать себя и свое до конца. Всегда тот или другой человек забегал вперед, формировал настроение Самгина своими словами. Либеральный профессор писал на страницах влиятельной газеты:

«Люди с каждым днем становятся всё менее значительными перед силою возбужденной ими стихии, и уже многие не понимают, что не они — руководят событиями, а события влекут их за собою».

Прочитав эти слова, Самгин огорчился,— это он должен бы так сказать. И, довольствуясь тем, что смысл этих слов укрепил его настроение, он постарался забыть их, что и удалось ему так же легко, как легко забывается потеря мелкой монеты.

Смущал его Кумов, человек, которого он привык считать бездарным и более искренно блаженненьким, чем хитрый, честолюбивый Диомидов. Кумов заходил часто, но на вопросы: где он был, что видел? — не мог толково рассказать ничего.

— Был в университете Шанявского,— масса народа! Ужасно много! Но — всё не то, знаете, не о том они говорят!

Он весь как-то развинченно мотался, кивал головой, болтал руками, сожалительно чмокал и, вдруг остановясь среди комнаты, одеревенев, глядя в пол,— говорил глуховатым, бесцветным голосом:

— Всё — программы, спор о программах, а надобно искать пути к последней свободе. Надо спасать себя от разрушающих влияний бытия, погружаться в глубину космического разума, устроителя вселенной.

Бог или дьявол — этот разум, я — не решаю; но я чувствую, что он — не число, не вес и мера, нет, нет! Я знаю, что только в макрокосме человек обретет действительную ценность своего «я», а не в микрокосме, не среди вещей, явлений, условий, которые он сам создал и создает...

Эта философия казалась Климу очень туманной, косноязычной, неприятной. Но и в ней было что-то, совпадающее с его настроением. Он слушал Кумова молча, лишь изредка ставя краткие вопросы, и еще более раздражался, убеждаясь, что слова этого развинченного человека чем-то совпадают с его мыслями. Это было почти унизительно.

События, точно льдины во время ледохода, громоздясь друг на друга, не только требовали объяснения, но и заставляли Самгина принимать физическое участие в ходе их. Был целый ряд причин, которыми Самгин объяснял себе неизбежность этого участия в суматохе дней, и не было воли, не было смелости встать в стороне от суматохи. Он сам понимал, что мотивы его поведения не настолько солидны, чтоб примирить противоречие его настроения и поведения. Он доказал себе, что рисковать собою бескорыстно, удовлетворяя только свое любопытство,— это не всякому доступно. Но он *принужден* был доказать это после того, как почувствовал неловкость перед хлопотливой Анфимьевной и защитниками баррикады, которых она приютила в кухне, так же, как это сделали и еще некоторые обыватели улицы. Неловко было сидеть дома, поглядывая в окна на баррикаду; обыватели привыкли к ней, помогали обкладывать ее снегом, поливать водой. Вообще действительность настойчиво, бесцеремонно требовала участия в ее делах. Послом действительности к нему чаще других являлась Любаша Сомова, всегда окрыленная радостями. В легонькой потрепанной шубке на беличьем меху, окутанная рваной шалью, она вкатывалась, точно большой кусок ваты; красные от холода щеки ее раздувались.

— Ура! — кричала она.— Клим, голубчик, подумай: у нас тоже организовался Совет рабочих депутатов! — И всегда просила, приказывала: — Сбегай в

Техническое, скажи Гогину, что я уехала в Коломну; потом — в Шанявский, там найдешь Пояркова, и вот эти бумажки — ему! Только, пожалуйста, в университет поспей до четырех часов.

Сунув ему бумажки, она завязывала шаль на животе еще более туго, рассказывая:

— Какие люди явились, Клим! Помнишь Дунаева? Ах...

«Дурочка»,— снисходительно думал Самгин. Через несколько дней он встретил ее на улице. Любаша сидела в санях захудалого извозчика,— сани были нагружены связками газет, разноцветных брошюр; привстав, держась за плечо извозчика, Сомова закричала:

— Петербургский Совет ликвидировали!

«Дурочка».

Но, уступая «дурочке», он шел, отыскивал разных людей, передавал им какие-то пакеты, а когда пытался дать себе отчет, зачем он делает всё это,— ему казалось, что, исполняя именно Любашины поручения, он особенно убеждается в несерьезности всего, что делают ее товарищи. Часто видел Алексея Гогина. Утратив щеголеватую внешность, похудевший, Гогин все-таки оставался похожим на чиновника из банка и всё так же балагурил:

— В Коломну удрала, говорите? — спрашивал он, прищурив глаз.— Экая беглокаторжная! Мы туда уже послали человека. Ну, ладно! Пояркова искать вам не надо, а поезжайте вы...— Он сообщал адрес, и через некоторое время Самгин сидел в доме Российского страхового общества, против манежа, в квартире, где, почему-то, воздух был пропитан запахом керосина. На письменном столе лежал бикфордов шнур, в соседней комнате носатый брюнет рассказывал каким-то кавказцам о японской шимозе, а человек с красивым, но неподвижным лицом, похожий на расстриженного попа, прочитав записку Гогина, командовал:

— Поезжайте на Самотеку... Спросите товарища Чёрта.

Самгин шел к товарищу Чёрту, мысленно усмехаясь:

«Чёрт! Играют, как дети».

На Самотеке молодой человек, рябоватый, веселый, спрашивал его:

— А гантели где?

— Гантели?

— Ну да, гантели! Что же я — из папиросных коробок буду делать бомбы?

Самгин уходил, еще более убежденный в том, что не могут быть долговечны, не могут изменить ход истории события, которые создаются десятками таких единиц. Он видел, что какие-то разношерстные люди строят баррикады, которые, очевидно, никому не мешают, потому что никто не пытается разрушать их, видел, что обыватель освоился с баррикадами, уже привык ловко обходить их; он знал, что рабочие Москвы вооружаются, слышал, что были случаи столкновений рабочих и солдат, но он не верил в это и солдат на улицах не встречал, так же как не встречал полицейских. Казалось, что обыватели Москвы предоставлены на волю судьбы, но это их не беспокоит,— наоборот, они даже стали веселее и смелей.

Какая-то сила вытолкнула из домов на улицу разнообразнейших людей,— они двигались не по-московски быстро, бойко, останавливались, собирались группами, кого-то слушали, спорили, аплодировали, гуляли по бульварам, и можно было думать, что они ждут праздника. Самгин смотрел на них, хмурился, думал о легкомыслии людей и о наивности тех, кто пытался внушить им разумное отношение к жизни. По ночам пред ним вставала картина белой земли в красных пятнах пожаров, черные потоки крестьян.

— Да, эсеры круто заварили кашу,— сумрачно сказал ему Поярков — скелет в пальто, разорванном на боку; клочья ваты торчали из дыр, увеличивая сходство Пояркова со скелетом. Кости на лице его, казалось, готовились прорвать серую кожу. Говорил он, как всегда, угрюмо, грубовато, но глаза его смотрели мягче и как-то особенно пристально; Самгин объяснил это тем, что глаза глубоко ушли в глазницы, а брови, раньше всегда нахмуренные, приподняты, выпрямились.

— Крупных, культурных хозяйств мужик разрушает будто бы не много, но все-таки мы понесем огром-

нейший убыток,— говорил Поярков,—рассматривая сломанную папиросу.— Неизбежно это, разумеется,— прибавил он и достал из кармана еще папиросу, тоже измятую.

Во всем, что он сказал, Самгина задело только словечко «мы». Кто это — мы? На вопрос Клима, где он работает,— Поярков, как будто удивленно, ответил:

— В революции... то есть — в Совете! Из ссылки я ушел, загнали меня чёрт знает куда! Ну, нет,— думаю,— спасибо! И — воротился.

— А где Кутузов? — спросил Клим.

— Был в Питере. Теперь — вероятно — на юге.

«Мы»,— иронически повторил Самгин, отходя от Пояркова. Он долго искал какого-нибудь смешного, уничижающего сравнения, но не нашел. «Мы пахали» — не годилось.

Как-то вечером, возвращаясь домой, Самгин на углу своей улицы столкнулся с Митрофановым. Иван Петрович отскочил от него, не поклонясь.

«Он должен чувствовать себя весьма плохо»,— подумал Самгин, несколько смущенный невежливостью человека «здравого смысла». Взглянув назад, он увидал, что Митрофанов тоже остановился, оглядывается. Климу захотелось утешительно крикнуть:

«Всё это — ненадолго!»

Но Митрофанов сорвался с места и быстро пошел прочь.

Раза два приходила Варвара, холодно здоровалась, вздергивая голову, глядя через плечо Клима, шла в свою комнату и отбирала белье для себя.

Первый раз ее сопровождал Ряхин, демократически одетый в полушубок и валяные сапоги, похожий на дворника.

— Люди начинают разбираться в событиях,— организовался «Союз 17 октября»,— сообщал он, но не очень решительно, точно сомневался: те ли слова говорит и таким ли тоном следует говорить их? — Тут, знаете, выдвигается Стратонов, оч-чень сильная личность, очень!

Помолчав, ласково погладив ладонью красное, пух-

лое лицо свое, точно чужое на маленькой головке его, он продолжал:

— Некоторые кадеты идут за ним... да! У них бунтует этот милюковец — адвокат, еврей,— как его? Да — Прейс! Ядовитое... гм! Знаете, эта истерика семитов, людей без почвы и зараженных нашим нигилизмом...

О евреях он был способен говорить очень много. Говорил, облизывая губы фиолетовым языком, и в туповатых глазах его поблескивало что-то остренькое и как будто трехгранное, точно кончик циркуля. Как всегда, речь свою он заключил привычно:

— Но я — оптимист. Я знаю: покричим и перестанем, как только найдем успокоительную среднюю между двумя крайними.

Однако на этот раз он, тяжело вздохнув, спросил Самгина:

— Вы как думаете?

Самгин был доволен, что Варвара помешала ему ответить. Она вышла в столовую, приподняв плечи так, как будто ее ударили по голове. От этого ее длинная шея стала нормальной, короче, но лицо покраснело и глаза сверкали зеленым гневом.

— Это ты разрешил Анфимьевне отдать белье «Красному Кресту»? — спросила она Клима, зловеще покашливая.

— Я ничего не разрешал, она меня ни о чем не спрашивала...

— Она отдала все простыни, полотенца и вообще... Чёрт знает что!

— Старое всё, Варя, старое, чиненое,— не жалей! — сказала Анфимьевна, заглядывая в дверь.

Варвара круто повернулась к ней, но большое дряблое лицо старухи уже исчезло, и, топнув ногою, она скомандовала Ряхину:

— Идемте!

Самгин, отозвав ее в кабинет, сказал:

— Ты, конечно, понимаешь, что я не могу переехать...

Не дослушав, она махнула рукой:

— Ах, оставь! До того ли теперь, когда, может быть...

И, приложив платок к губам, поспешно ушла.

Люди появлялись, исчезали, точно проваливаясь в ямы, и снова выскакивали. Чаще других являлся Брагин. Он опустился, завял, смотрел на Самгина жалобным, осуждающим взглядом и вопросительно говорил:

— В газете «Борьба» напечатано... Вы согласны? «Русские ведомости» указывают... Это верно?

Он заставил Самгина вспомнить незаметного гостя дяди Хрисанфа — Мишу Зуева и его грустные доклады: «В Марьиной Роще — аресты. В Нижнем. В Твери...»

Точно разносчик газет, измученный холодом, усталостью и продающий последние номера, Брагин выкрикивал:

— Восстали солдаты Ростовского полка. Предполагается взорвать мосты на Николаевской железной дороге. В Саратове рабочие взорвали Радищевский музей. Громят фабрики в Орехове-Зуеве.

Все его сведения оказывались неверными, и Самгин заранее знал это, потому что, сообщив потрясающие новости, Брагин спрашивал:

— Неужели взорвут мосты? Не верится, что разгромили музей...

— Не верьте,— советовал Самгин.— Всё это выдумано.

Тогда Брагин, заглядывая в глаза Клима, догадывался:

— Кто же это выдумывает?

«Наверное — ты»,— думал Самгин.

Он заметил, что, когда этот длинный человек приносит потрясающие новости, черные волосы его лежат на голове гладко и прядь их хорошо прикрывает шишку на лбу, а когда он сообщает менее страшное — волосы у него растрепаны, шишку видно. Длинный, похожий на куклу-марионетку, болтливый и раньше самодовольный, а теперь унылый,— он всегда был неприятен и становился всё более неприятным Самгину, возбуждая в нем какие-то неопределенные подозрения. Казалось, что он понимает больше того, сколько говорит, и — что он сознательно преувеличивает свои тревоги и свою глупость, как бы передразнивая кого-то.

— Как же вы полагаете: идем к социализму?

— Ну, не так далеко.

— Однако — большевики?

Глядя на вытянутое лицо, в прищуренные глазки, Самгин ответил:

— В политике, как в торговле, «запрос в карман не кладется».

— Да, это, конечно, так,— сказал Брагин, кивнув головой, и вздохнул, продолжая: — Эту пословицу я вчера читал в каком-то листке.— И, пожимая руку Самгина, он закончил:— От вас всегда уходишь успокоенный. Светлым, спокойным умом обладаете вы,— честное слово!

«А ведь он издевается, скотина,— догадался Клим.— Чёрт его знает,— не шпион ли?»

Но еще более неприятные полчаса провел он с Макаровым. Этот явился рано утром, когда Самгин пил кофе, слушая умиленные рассказы Анфимьевны о защитниках баррикады: ночами они посменно грелись у нее в кухне, старуха поила их чаем и вообще жила с ними в дружбе.

«По глупости и со скуки»,— объяснил себе Самгин. Он и раньше не считал себя хозяином в доме, хотя держался, как хозяин; не считал себя вправе и делать замечания Анфимьевне, но, забывая об этом,— делал. В это утро он был плохо настроен.

— А знаете, Анфимьевна, ведь не очень удобно,— заговорил он негромко и не глядя на нее; старуха прервала его речь:

— Ну, уж какие удобности непривычным-то людям дежурить по ночам на холоду?

— Вы не поняли меня, я не о том...

Но Анфимьевна не слушала, продолжая озабоченно и тише:

— А вот что мне с Егором делать? Пьет и пьет, и готовить не хочет: «Пускай, говорит, все с голода подохнете, ежели царя...»

Как раз в эту минуту из кухни явился Макаров и спросил, улыбаясь:

— Что же у тебя в кухне — штаб инсургентов?

Он стоял в пальто, в шапке, в глубоких валяных ботиках на ногах и, держа под мышкой палку, снимал с

руки перчатку. Оказалось, что он провел ночь у роженицы, в этой же улице.

— Выкинула, со страха; вчера за нею гнались какие-то хулиганы. Смотрю — баррикада! И — другая. Вспомнил, что ты живешь здесь...

Говоря, он сбросил пальто на стул, шапку метнул в угол на диван, а ботики забыл снять и этим усилил неприязненное чувство Самгина к нему.

— Ты защищаешь, или тебя защищают? — спросил он, присаживаясь к столу.

Самгин спросил:

— Кофе хочешь?

— Давай.

И, как будто они виделись вчера, Макаров тотчас заговорил о том, чего он не успел договорить в больнице.

— Помнишь, я говорил в больнице...

— Да,— сказал Клим, нетерпеливо тряхнув головою, и с досадой подумал о людях, которые полагают, что он должен помнить все глупости, сказанные ими. Настроение его становилось всё хуже; думая о своем, он невнимательно слушал спокойную, мерную речь Макарова.

— Если б не этот случай — роженица, я всё равно пришел бы к тебе. Надо поговорить по душе, есть такая потребность. Тебе, Клим, я верю... И не верю, так же как себе...

Эти слова прозвучали очень тепло, дружески. Самгин поднял голову и недоверчиво посмотрел на высоколобое лицо, обрамленное двухцветными вихрами и темной, но уже очень заметно поседевшей, клинообразной бородой. Было неприятно признать, что красота Макарова становится всё внушительней. Хороши были глаза, прикрытые густыми ресницами, но неприятен их прямой, строгий взгляд. Вспомнилась странная и, пожалуй, двусмысленная фраза Алины: «Костя честно красив,— для себя, а не для баб».

— У меня, знаешь, иногда ночуют, живут большевики. Н-ну, для них моего вопроса не существует. Бывает изредка товарищ Бородин, человек удивительный, человек, скажу, математически упрощенный...

Макаров обеими руками очертил в воздухе круг.

— Сферический человек. Как большой шар,— не возьмешь, не обнимешь.

— Коренастый, с большой бородой, насмешливые глаза? — спросил Клим.

— Да, похож. Но бреется.

«Вероятно — Кутузов»,— сообразил Самгин, начиная слушать внимательней.

— Для него... да и вообще для них вопросов морального характера не существует. У них есть своя мораль...

Выпив кофе, он посмотрел в окно через голову Самгина и продолжал:

— Собственно говоря, это не мораль, а, так сказать, система био-социальной гигиены. Возможно, что они правы, считая себя гораздо больше людями, чем я, ты и вообще — люди нашего типа. Но говорить с ними о человеке, индивидууме — совершенно бесполезно. Бородин сказал мне: «Человек, это — потом».— «Когда же?» — «Когда будет распахана почва для его свободного роста». Другой, личность весьма угрюмая, говорит: «Человека еще нет, а есть покорнейший слуга. Вы, говорит, этим вашим человеком свет застите. Человек, мораль, общество — это три сосны, из-за которых вам леса не видно». Они, брат, люди очень спевшиеся.

Подвинув Самгину пустую чашку, он стал закуривать папиросу, и медленность его движений заставила Клима подумать:

«Это — надолго».

Макаров выдул длинную струю дыма, прищурился.

— Так, значит, я — покорнейший слуга,— вздохнул он.— Вот по этому поводу,— искал он слов, опираясь локтями на стол и пристально глядя в лицо Самгина.— Я — служу науке, конкретнее говоря — женщинам. Лечу, помогаю родить. Всего меня это уже не поглощает. И вот — помогаю Бородину и его товарищам, сознавая известный риск и нимало не боясь его. Даже с удовольствием помогаю. Но в то, что они сделают революцию,— не верю. Да и вообще не верю я, что это,— он показал рукою на окно,— революция и что она может дать что-то нашей стране.

Откинувшись на спинку стула, покачиваясь и усмехаясь, он продолжал:

— Понимаешь, в чем штука? Людям — верю и очень уважаю их, а — в дело, которое они делают,— не верю. Может быть, не верю только умом, а? А ты — как?

— Что? — спросил Самгин, чувствуя, что беседа превращается в пытку.

— Ты почему помогаешь? — спросил тот.

— Нахожу нужным,— сказал Самгин, пожимая плечами.

— Вот с этого места я тебя не понимаю, так же как себя,— сказал Макаров тихо и задумчиво.— Тебя, пожалуй, я больше не понимаю. Ты — с ними, но — на них не похож,— продолжал Макаров, не глядя на него.— Я думаю, что мы оба покорнейшие слуги, но — чьи? Вот что я хотел бы понять. Мне роль покорнейшего слуги претит. Помнишь, когда мы, гимназисты, бывали у писателя Катина — народника? Еще тогда понял я, что не могу быть покорнейшим слугой. А затем, постепенно, все-таки...

Под окном раздался пронзительный свист.

— Полицейский свисток? — с удивлением спросил Макаров.

Клим очень быстро подскочил к окну и сказал:

— Что-то случилось, бегут...

В комнату ворвался рыжий встрепанный Лаврушка и, размахивая шапкой, с радостью, но не без тревоги прокричал:

— Солдаты наступают! Анфимьевна спрашивает: ставни закрывать?

Макаров тоже вскочил на ноги:

— Чёрт возьми...

— Закрывать? — кричал Лаврушка. Самгин отмахнулся от него, ожидая, что будет делать Макаров. Тот, быстро одеваясь, бормотал:

— Обязанность врача...

Он выбежал вслед за учеником медника. Самгин, протирая запотевшее стекло, ожидал услышать знакомые звуки выстрелов. С треском закрылись ставни, — он, вздрогнув, отшатнулся. Очень хотелось чувствовать

себя спокойно, но этому мешало множество мелких мыслей; они вспыхивали и тотчас же гасли, только одна из них, погаснув, вспыхивала снова:

«За этих, в кухне, придется отвечать...»

В кухне было тихо, на улице — не стреляли, но даже сквозь ставню доходил глухой возбужденный говор. Усиленно стараясь подавить неприятнейшее напряжение нервов, Самгин не спеша начал одеваться. Левая рука не находила рукава пальто.

«Я слежу за собой, как за моим врагом»,— возмутился он, рывком надел шапку, гневно сунул ноги в галоши, вышел на крыльцо кухни, постоял, прислушался к шуму голосов за воротами и решительно направился на улицу.

Выцветшее, тусклое солнце мертво торчало среди серенькой овчины облаков, освещая десятка полтора разнообразно одетых людей около баррикады, припудренной снегом; от солнца на них падали беловатые пятна холода, и люди казались так же насквозь продрогшими, как чувствовал себя Самгин. Суетился ветер, подметая снег под ноги людям, дымил снегом на крышах, сбрасывал его на головы. Макаров стоял рядом с Лаврушкой на крыльце дома фельдшера Винокурова и смеялся, слушая ломкий голос рыжего. За баррикадой кто-то возился, поворачивая диван, из дивана вылезала набивка, и это было противно,— как будто диван тошнило. Клим подошел к людям. В центре их стоял человек в башлыке, шевеля светлыми усами на маленьком лице; парень в сибирской рваной папахе звучно говорил ему:

— Сборный отряд, человек сорок, без офицера...

— Штатские есть? — спросил светлоусый.

— Штук, примерно, семь...

— Надобно считать точно, а не примерно.

— Идут вразброд, а не кучей...

— *Бомбов боятся!* — радостно крикнул медник.

Почесывая переносицу, человек в башлыке сказал:

— Значит — ростовцы не соврали, охотников двинут против нас. Пьяные есть?

— Не приметил.

— Надо примечать,— вас, товарищ, не на прогулку посылали.

Человек в башлыке говорил спокойно, мягко, но как-то особенно отчетливо.

— Лаврентий,— крикнул он, дергая руками концы башлыка.— Значит, это ты свистел?

— Мне, товарищ Яков, студент из переулка сказал — идут...

— Уши тебе надо нарвать, душечка! Вы, товарищ Балясный, свисток у него отберите. На караулы — не назначать.

— Значит — ложная тревога,— сказал Макаров, подходя к Самгину и глядя на часы в руке.— Мне пора на работу, до свидания! На днях зайду еще. Слушай,— продолжал он, понизив голос,— обрати внимание на рыжего мальчишку — удивительно интересен!

Бородатый человек оттолкнул Макарова.

— До свидания,— почему-то очень весело крикнул доктор.

Самгин даже головой не кивнул ему, внимательно присматриваясь к защитникам баррикады. Некоторых он видел раньше в кухне,— они ему кланялись, когда он проходил мимо, он снисходительно улыбался им. Один из них, краснощекий, курносый парень, Вася, которого Анфимьевна заставляла носить дрова и растоплять печь в кухне, особенно почтительно уступал ему дорогу. В общем он видел человек десять, а сейчас их было девятнадцать: одиннадцать — вооруженных винтовками и маузерами, остальные — безоружны. Было ясно, что командует ими человек в башлыке, товарищ Яков, тощенький, легкий; светлые усы его казались наклеенными под узким, точно без ноздрей, носом, острые голубоватые глаза смотрят внимательно и зорко. В общем лицо у него серое, старообразное, должно быть, долго сидел в тюрьме и там — засох. Ему можно дать двадцать пять лет, можно и сорок.

— Нуте-с, товарищи, теперь с баррикад уходить не дело,— говорит он, и все слушают его молча, не перебивая.— На обеих баррикадах должно быть тридцать пять, на этой — двадцать. Прошу на места.

Пятеро отделились, пошли в переулок; он, не повышая голоса, сказал им вслед:

— Сегодня вам дадут еще две винтовки и маузер. Может быть, и бомбочки будут.

Из-за баррикады вышел дворник Николай.

— Ружьецо-то и мне бы надо...

— Достанем, товарищ, обязательно! — Яков покашлял, крякнул и продолжал: — Стену в сарае разобрали? Так. Лестница на крыше углового дома — есть? Чудесно. Бомбочки — там? Ну, значит — всё. Товарищи Балясный и Калитин отвечают за порядок. Нуте-с,— наши сведения такие: вышло семь сборных отрядов, солдаты и черная сотня. Общая численность — 350—400, возможно и больше. Черной сотни насчитывается человек полтораста. Есть будто пушечки, трехдюймовки. В общем — не густо! Но, конечно, могут разрастись. Ростовцы — не пойдут, это — наверняка!

«Вероятно — приказчик»,— соображал Самгин, разглядывая разношерстное воинство так же, как другие обыватели — домовладельцы, фельдшер и мозольный оператор Винокуров, отставной штабс-капитан Затёсов — горбоносый высокий старик, глухой инженер Дрогунов — владелец прекрасной голубиной охоты. Было странно, что на улице мало студентов и вообще мелких людей, которые, квартируя в домиках этой улицы, лудили самовары, заливали резиновые галоши, чинили велосипеды и вообще добывали кусок хлеба грошовым трудом.

«Кого же защищают?» — догадывался Самгин. Среди защитников он узнал угрюмого водопроводчика, который нередко работал у Варвары, студента — сына свахи, домовладелицы Успенской, и, кроме племянника акушерки, еще двух студентов,— он помнил их гимназистами. Преобладала молодежь, очевидно — ремесленники, но было человек пять бородатых, не считая дворника Николая. У одного из бородатых из-под нахлобученного картуза торчали седоватые космы волос, а уши — заткнуты ватой.

Всё было неестественно и так же неприятно, как этот тусклый день, бесцветное солнце, остренький ветер. Неестественна высокая и довольно плотная стена хлама, отслужившего людям. Особенно лезло в глаза распоротое брюхо дивана, откуда торчали пружины и клочья

набивки. К спинке дивана прикреплена палка половой щетки, и на ней треплется красный флаг. Обыватели этой улицы тоже всё — люди, отслужившие жизни. Самгин, поеживаясь от ветра и глядя, как дворник Николай раскручивает голыми руками телеграфную проволоку, *должно быть, жгуче холодную, соображал:*

«При чем здесь этот?»

Человек с ватой в ушах стал рядом с ним и, протирая рукавом ствол винтовки, благодарно сказал:

— Ласковый денек сегодня.

Самгин взглянул на него недоверчиво,— смеется?

— Вы на этой улице живете? — спросил он.

— Нет, я — с Благуши назначен сюда,— ответил человек, всё поглаживая винтовку, и вздохнул: — Патронов маловато у нас.

— Что защищает эта баррикада? — спросил Клим и даже смутился — до того строго и глупо прозвучал вопрос, а человек удивленно заглянул в лицо его и сказал:

— Революцию защищает, рабочий народ, а —как же?

Размахивая рукою, он стал объяснять:

— Там— Каретный ряд, а там, значит, тоже наши,— мы, вроде, третья линия...

— Ага,— сказал Самгин и отошел прочь, опасаясь, что скажет еще что-нибудь неловкое. Он чувствовал себя нехорошо,— было физически неприятно, точно он заболевал, как месяца два тому назад, когда врач определил у него избыток кислот в желудке.

«Покорнейший слуга... Кто это сказал: „Интеллигент — каторжник, прикованный к тачке истории“? Колесница Джагернаута... Чепуха всё это. И баррикады — чепуха»,— попытался он оборвать воспоминания о Макарове и даже ускорил шаг. Но это не помогло.

«От ума или от сердца? Как это он говорил? Выдумывает от бессилия, вот что. Бездарный человек...»

Воспоминания о Макарове он подсказывал себе, а сквозь них пробивалось другое:

«Конечно,— любители. Настоящие артисты бунта — в деревне. Они всегда были там,— Разин, Пугачев. А этот, товарищ Яков,— что такое он?» — Незаметно для себя Самгин дошел до бульвара, остановился, по-

смотрел на голые деревья,— они имели такой нищенский вид, как будто уже никогда не покроются листьями. Домой идти не хотелось. И вообще следовало выехать из дома тотчас же после оскорбительной выходки Варвары. Самгин взглянул на часы и пошел на квартиру Гогиных исполнять поручение Любаши. Чтоб согреться и не думать — шел очень быстро. Хотелось, чтобы всё быстрее шло к своему концу. Вспомнились фразы Кумова:

«Отношение человека к жизни зависит от перемещения в пространстве. Наше, земное пространство ограничено пределами, оскорбительными для нашего духа, но даже и в нем...» Дальше Кумов говорил что-то невразумительное о норманнах в Англии, в России, Сицилии.

Приближаясь бульваром к Арбату, Самгин услышал вправо от себя, далеко, знакомый щелчок выстрела, затем — другой. Выстрелы, прозвучав очень скромно, не удивили,— уж если построены баррикады, так, разумеется, надо стрелять. Но когда перед ним развернулась площадь, он увидел, что немногочисленные прохожие разбегаются во все стороны, прячутся во двор трактира извозчиков, только какой-то высокий старик с палкой в руке, держась за плечо мальчика, медленно и важно шагает посреди площади, направляясь на Арбат. Фигура старика как будто знакома,— если б не мальчик и не эта походка, его можно бы принять за Дьякона, но Дьякон ходил тяжело и нагнув голову, а этот держит ее гордо и прямо, как слепой.

В стороне Поварской кто-то протяжно прокричал неясное слово, и тотчас же из-за церкви встречу Климу бросилась дородная женщина; встряхивая головою, как лошадь, она шипела:

— Ох, господи, ох...

За нею выскочил человек в черном полушубке, матерно ругаясь, схватил ее сзади за наверченную на голове шаль и потащил назад, рыча:

— Встань за церковь, дура, чёрт, в церковь не будут стрелять...

— Р-разойди-ись! — услышал Самгин заунывный крик, бросился за угол церкви и тоже встал у стены ее, рядом с мужчиной и женщиной.

— Молчи,— вполголоса командовал мужчина, притиснув женщину спиною своей к стене.— Не пикни! Надо выждать, куда идут... Эх, дожили,— он еще крепче выругался, голос его прозвучал горячо. Самгин осторожно выглянул за угол; по площади всё еще метались трое людей, мальчик оторвался от старика и бежал к Александровскому училищу, а старик, стоя на одном месте, тыкал палкой в землю и что-то говорил,— тряслась борода. С Поварской вышел высокий солдат, держа в обеих руках винтовку; за ним, разбросанно, шагах в десяти друг от друга, двигались, не торопясь, маленькие солдатики и человек десять штатских с ружьями; в центре отряда ехала пушечка толщиной с водосточную трубу, хобот ее, немножко наклонясь, как будто нюхал булыжник площади, пересыпанный снегом, точно куриные яйца мякиной. Рядом с пушкой лениво качался на рыжей лошади, с белыми, как в чулках, ногами, оловянный офицер, с бородкой, точно у царя Николая. Рукою в белой перчатке он держал плетку и, поднося ее к белому, под черной фуражкой, лицу, дымил папиросой. Солдаты, кроме передового, тоже казались оловянными; все они были потертые, разрозненные, точно карты, собранные из нескольких игр.

За спиною Самгина, толкнув его вперед, хрипло рявкнула женщина, раздалось тихое ругательство, удар по мягкому, а Самгин очарованно смотрел, как передовой солдат и еще двое, приложив ружья к плечам, начали стрелять. Сначала упал, высоко взмахнув ногою, человек, бежавший на Воздвиженку, за ним, подогнув колени, грузно свалился старик и пополз, шлепая палкой по камням, упираясь рукой в мостовую; мохнатая шапка свалилась с него, и Самгин узнал: это — Дьякон.

Солдаты выстрелили восемь раз; было слышно, как одна пуля где-то разбила стекло. Передовой солдат прошел мимо Дьякона, не обращая внимания на его хриплые крики, даже как будто и не заметив его; так же равнодушно прошли и еще многие,— мучительно медленно шли они. Проехала пушка, едва не задев Дьякона колесом. Дьякон всё бил палкой по земле и кричал, но когда пушка проехала, маленький солда-

тик, гнилого, грязно-зеленого цвета, ударил его, точно пестом, прикладом ружья по спине; Дьякон неестественно изогнулся, перекинулся на колени, схватил палку обеими руками и замахал ею; тут человек в пальто, подпоясанном ремнем, подскочив к нему, вскричал жестяным голосом:

— Ах, мерзавец! Вот-т — он...

Нагнулся и сунул штык, точно ухват в печку, в тело Дьякона; старик опрокинулся, палка упала к ногам штатского,— он стоял и выдергивал штык. Всё это совершилось удивительно быстро, а солдаты шли всё так же не спеша, и так же тихонько ехала пушка — в необыкновенной тишине; тишина как будто не принимала в себя, не хотела поглотить дробный и ленивенький шум солдатских шагов, железное погромыхивание пушки, мерные удары подков лошади о булыжник и негромкие крики раненого,— он ползал у забора, стучал кулаком в закрытые ворота извозчичьего двора. Совершенно отчетливо Самгин слышал, как гнилой солдатик сказал:

— Не умеешь.

За спиною Самгина мужчина глухо бормотал:

— Нищего убили, слепого-то, сво-олочи,— глядико!

Тяжело дышала женщина:

— Ой, господи! Пойдем, Христа ради, Егорша! Пушка-то...

Штатский человек, выдернув штык и пошевелив Дьякона, поставил ружье к ноге, вынул из кармана тряпочку или варежку, провел ею по штыку снизу вверх, потом тряпочку спрятал, а ладонью погладил свой зад. Солдатик, подпрыгивая, точно резиновый, совал штыком в воздух и внятно говорил:

— Вот как действуй — ать, два! Теперича отбей,— как отобьешь?

Штатский снял шпаку, перекрестился на церковь, вытер шапкой бородатое лицо.

— Старика этого мы давно знаем, он как раз и есть,— заговорил штатский, но раздалось несколько выстрелов, солдат побежал, штатский, вскинув ружье на плечо, тоже побежал на выстрелы. Прогремело желе-

зо, тронутое пулей, где-то близко посыпалась штукатурка.

— Похоже — в нас? — шёпотом спросил мужчина в полушубке и, схватив Самгина за плечо, дернул его на себя.— На Воздвиженку идут! Айдате, господин, кругом! Скорей!

Толкая женщину в спину, он другою рукой тащил Самгина за церковь, жарко вздыхая:

— А-яй! До чего довели, а?

— Слава те, господи, пушка-то не стреляет,— всхлипывая, ныла женщина.

— Нищих стреляют, а? Средь белого дня? Что же это будет, господин? — строго спросил мужчина и еще более строго добавил: — Вам надо бы знать! Чему учились?

— Вы сами знаете — народ недоволен,— сквозь зубы ответил Самгин, но это не удовлетворило мужчину.

— Народ всегда недоволен, это — известно. Ну, однако, объявили свободу, дескать — собирайтесь, обсудим дела... как я понимаю,— верно?

— Да идем же, Егорша,— просила женщина.

— Постой, сестра, постой! Ушли они...

Сняв шапку, Егорша вытер ею потное лицо, сытое, в мягком, рыжеватом пухе курчавых волос на щеках и подбородке,— вытер и ожидающе заглянул под очки Самгина узкими светленькими глазами.

— Кто же это блудит, а? В запрошлом году у нас, в Сибири, солдаты блудили, ну, а теперь?

Самгин молчал, глядя на площадь, испытывая боязнь перед открытым пространством. Ноги у него отяжелели, даже как будто примерзли к земле. Егорша всё говорил тихо, но возбужденно, помахивая шапкой в лицо свое:

— Это — ни к чему, как шуба летом...

Самгин движением плеча оттолкнулся от стены и пошел на Арбат, сжав зубы, дыша через нос,— шел и слышал, что отяжелевшие ноги его топают излишне гулко. Спина и грудь обильно вспотели, чувствовал он себя пустой бутылкой,— в горлышко ее дует ветер, и она гудит:

«О-у-у...»

Проходя шагах в двадцати от Дьякона, он посмотрел на него из-под очков,— старик, подогнув ноги, лежал на красном изорванном ковре, издали лоскутья ковра казались толстыми, пышными.

«Как много крови в человеке»,— подумал Самгин, и это была единственная ясная мысль за всё время, вплоть до квартиры Гогиных.

В комнате Алексея сидело и стояло человек двадцать, и первое, что услышал Самгин, был голос Кутузова, глухой, осипший голос, но — его. Из-за спин и голов людей Клим не видел его, но четко представил тяжеловатую фигуру, широкое упрямое лицо с насмешливыми глазами, толстый локоть левой руки, лежащей на столе, и уверенно командующие жесты правой.

— Позвольте, товарищ,— слышал Самгин.— Неразумно, не исторично рассматривать частные неудачи рабочего движения...

— Преступные ошибки самозванных вождей! — крикнул сосед Самгина, плотный человек с черной бородкой, в пенсне на горбатом носу.

— Разумнее считать их уроками истории...

Толкая Самгина и людей впереди его, человек в пенсне безуспешно пробивался вперед, но никто не уступал ему, и он кричал через головы:

— Сколько вы погубите рабочих?

— Меньше, чем ежедневно погибает их в борьбе с капиталом,— быстро и как будто небрежно отвечал Кутузов.— Итак, товарищи...

Но голос его заглушил густой и мрачный бас высокого человека с длинной шеей:

— Обе ваши фракции дробят общественное движение, командование, восстанием должна руководить единая партия, это — азбука!

— Идите учить детей этой азбуке,— немедленно отозвался Кутузов.

Прозвучал грубый голос Пояркова:

— К порядку, товарищи!

Но это не укрощало людей, и хотя Самгин был очень

подавлен, но всё же отметил, что кричат ожесточеннее, чем всегда на собраниях.

«Разумеется, он должен быть здесь»,— вяло подумал Самгин о Кутузове, чувствуя необходимость разгрузить себя, рассказать о том, что видел на площади. Он расстегнул пальто, зачем-то снял очки и, сунув их в карман, начал громко выкрикивать:

— Сейчас, на Арбатской площади...— Начал он с уверенностью, что будет говорить долго, заставит всех замолчать и скажет нечто потрясающее, но выкрикнул десятка три слов, и голоса у него не хватило, последнее слово он произнес визгливо и тотчас же услышал свирепый возглас Пояркова:

— Прошу прекратить истерику! Какой там, к чёрту, дьякон? Здесь не панихиды служат. К порядку!

Клим почувствовал, что у него темнеет в глазах, подгибаются ноги. Затем он очутился в углу маленькой комнаты,— перед ним стоял Гогин, держа в одной руке стакан, а другой прикладывая к лицу его очень холодное и мокрое полотенце:

— Что это с вами? У вас кровь из носа идет. Натеко, выпейте... О каком это дьяконе вы кричали?

Ледяная вода, разбавленная чем-то кислым, освежила Клима, несколькими словами он напомнил Алексею, кто такой Дьякон.

— Ага,— помню, старик-аграрник, да-да! Убили? Гм... Не церемонятся. Вчера сестренка попала — поколотили ее.— Гогин говорил торопливо, рассеянно, но вдруг сердито добавил: — И — за дело, не кокетничай храбростью, не дури!..

Присев на диван, он снова заговорил быстро и деловито:

— Ну, как вы? Оправились? Домой идете? Послушайте-ка, там, в ваших краях, баррикады есть и около них должен быть товарищ Яков, эдакий...

Гогин щелкнул пальцами, сморщил лицо.

— Трудно сказать — какой, ну, да вы найдете. Так вот ему записочка. Вы ее в мундштук папиросы спрячьте, а папиросу, закурив, погасите. В случае, если что-нибудь эдакое,— ну, схватят, например,— так вы мундштук откусите и жуйте. Так? Не надо, чтоб

записочка попала в чужие руки,— понятно? Ну вот! Успеха!

Пожав руку Самгина, он исчез.

Самгин вышел на крыльцо, оглянулся, прислушался,— пустынно и тихо, только где-то во дворе колют дрова. День уже догорал, в небе расположились полосы красных облаков, точно гигантская лестница от горизонта к зениту. Это напоминало безлюдную площадь и фигуру Дьякона, в красных лохмотьях крови на мостовой вокруг него.

Шел Самгин осторожно, как ходят весною по хрупкому льду реки, посматривал искоса на запертые двери, ворота, на маленькие онемевшие церкви. Москва стала очень молчалива, бульвары и улицы короче.

«Короче, потому что быстро хожу»,— сообразил он. Думалось о том, что в городе живет свыше миллиона людей, из них — шестьсот тысяч мужчин, расположено несколько полков солдат, а рабочих, кажется, менее ста тысяч, вооружено из них, говорят, не больше пятисот. И эти пять сотен держат весь город в страхе. Горестно думалось о том, что Клим Самгин, человек, которому ничего не нужно, который никому не сделал зла, быстро идет по улице и знает, что его могут убить. В любую минуту. Безнаказанно...

«...Рабочие опустили руки, и — жизнь остановилась. Да, силой, двигающей жизнью, является сила рабочих... В Петербурге часть студентов и еще какие-то люди работают на почте, заменяя бастующих...»

Эти мысли вызывали у Самгина всё более жуткое сознание бессилия государственной власти и тягостное ощущение личной беззащитности.

«Бессилие государства в том, что оно не понимает значения личности...»

Это не было выводом разума из хаоса чувствований Самгина, а явилось само собою, как-то со стороны и не изменило его настроения. Он шел всё быстрей, стремясь обогнать сумерки.

«Сейчас увижу этого, Якова... Я участвую в революции по своей воле, свободно, без надежды что-то выиграть, а не как политик. Я знаю, что времена Ге-

деона — прошли и триста воинов не сокрушат Иерихон капитализма».

Библейский пример еще раз напомнил ему Авраамово жертвоприношение.

«Ну да,— конечно: рабочий класс — Исаак, которого приносят в жертву. Вот почему я не могу решительно встать рядом с теми, кто приносит жертву».

Ему показалось, что наконец он объяснил себе свое поведение, и он пожалел, что эта мысль не пришла к нему утром, когда был Макаров.

«Нет, я не покорнейший слуга!»

Войдя в свою улицу, он почувствовал себя дома, пошел тише, скоро перед ним встал человек с папиросой в зубах, с маузером в руке.

— Это — я, Самгин.

Человек молча посторонился и дважды негромко свистнул в пальцы. Над баррикадой воздух был красноват и струился, как марево, ноздри щекотал запах дыма. По ту сторону баррикады, перед небольшим костром, сидел на ящике товарищ Яков и отчетливо говорил:

— Значит, рабочие наши задачи такие: уничтожить самодержавие — раз! Немедленно освободить всех товарищей из тюрем, из ссылки — два! Организовать свое рабочее правительство — три! — Считая, он шлепал ладонью по ящику и притопывал ногою в валенке по снегу; эти звуки напоминали работу весла — стук его об уключину и мягкий плеск. Слушало Якова человек семь, среди них — двое студентов, Лаврушка и толстолицый Вася,— он слушал нахмуря брови, прищурив глаза и опустив нижнюю губу, так что видны были сжатые зубы.

— Нуте-с: против царя мы — не одни, а со всеми, а дальше — одни и все — против нас. Почему?

Самгин вышел на свет костра, протянул ему папиросу.

— Внутри — записка.

Яков долго и осторожно раскручивал мундштук, записку; долго читал ее, наклонясь к огню, потом, бросив бумажку в огонь, сказал:

— Так.

Сунув руки в теплый воздух и потирая их, хотя они не озябли, Самгин спросил:

— А не боитесь, что по огню стрелять начнут?

— Ночью — не сунутся,— уверенно ответил Яков.— Ночью им не разрешено воевать,— прибавил он, и его мягкий голос прозвучал насмешливо.

Вмешался Лаврушка,— он сказал с гордостью:

— Их сегодня, на Каланчевской, разогнали, как собак...

Присев на выступ баррикады, Самгин рассказал о том, что он видел, о Дьяконе, упомянул фамилию Дунаева.

— Дунаев? — оживленно спросил Яков.— Какой он?

И, выслушав описание Клима, улыбаясь, кивнул головою:

— Этот самый! Он у нас в Чите действовал.

«Не много их, если друг друга знают»,— отметил Самгин.

Снова дважды прозвучал негромкий свист.

— Свои,— сказал Лаврушка.

Явились двое: человек в папахе,— его звали Калитип,— и с ним какой-то усатый, в охотничьих сапогах и коротком полушубке; он сказал негромко, виновато:

— Ушел.

— Эх,— вздохнул Яков и, плюнув в огонь, привлек Лаврушку к себе.— Значит, так: завтра ты скажешь ему, что на открытом месте боишься говорить,— боишься, мы увидим,— так?

— Я знаю.

— И пригласишь его в сторожку. А вы, товарищ Бурундуков и Миша, будете там. Нуте-с, я — в обход. Панфилов и Трепачев — со мной. Возьмите маузера — винтовок не надо!

Студент Панфилов передал винтовку Калитину,— тот взял ее, говоря:

— Винтовочка, рабочий посошок!

Самгин пошел домой,— хотелось есть до колик в желудке. В кухне на столе горела дешевая, жестяная лампа, у стола сидел медник, против него — повар, на полу у печи кто-то спал, в комнате Анфимьевны зву-

чали сдержанно два или три голоса. Медник говорил быстрой скороговоркой, сердито, двигая руками по столу:

— У меня, чучело, медаль да Георгий, а я...

— Дурак,— придушенным голосом сказал повар.

Обычно он, даже пьяный, почтительно кланялся, видя Самгина, но на этот раз — не пошевелился, только уставил на него белые, кошмарно вытаращенные глаза.

Лампа, плохо освещая просторную кухню, искажала формы вещей: медная посуда на полках приобрела сходство с оружием, а белая масса плиты — точно надмогильный памятник. В мутном пузыре света старики сидели так, что их разделял только угол стола. Ногти у медника были зеленоватые, да и весь он казался насквозь пропитанным окисью меди. Повар, в пальто, застегнутом до подбородка, сидел не по-стариковски прямо и гордо; напялив шапку на колено, он прижимал ее рукой, а другою дергал свои реденькие усы.

— Вот, товарищ Самгин, спорю с Иудой,— сказал медник, хлопая ладонями по столу.

— Ты сам — Иуда и собака,— ответил повар и обратился к Самгину: — Прикажите старой дуре выдать мне расчет.

Вскочив на ноги, медник закричал, оскаливая черные обломки зубов:

— Пристрелить тебя — вот тебе расчет! Понимаете,— подскочил он к Самгину,— душегуба защищает, царя! Имеет, дескать, права́ — душить, а?

— Имеет,— сказал повар, глаза его еще более выкатились, подбородок задрожал.

— Я солдат! Понимаешь? — отчаянно закричал медник, ударив себя кулаком в грудь, как в доску, и яростно продолжал: — Служил ему два срока, унтер,— ну? Так я ему... я его...

— Пошел вон! — захрипел повар и, бросив шапку на пол, стал топтать ее.

Самгин молчал, наблюдая стариков. Он хорошо видел комическую сторону сцены, но видел, чувствовал и нечто другое, подавлявшее его. Старики были одного роста, оба — тощие, высушенные долголетним трудом.

Медник дышал с таким хрипом, точно у него вся кожа скрипела. Маленькое, всегда красное лицо повара окрашено в темный, землистый цвет,— его искажали судороги, глаза смотрели безумно, а прищуренные глаза медника изливали ненависть; он стоял против повара, прижав кулаки к сердцу, и, казалось, готовился бить повара.

Самгин встал между ними, говоря как только мог внушительно:

— Прошу прекратить ссору. Вы, Егор, расчет получите. Сегодня же. Где Анфимьевна?

Повар отвернулся от него, сел и, подняв с пола шапку, хлопнув ею по колену, надел на голову. Медник угрюмо ответил:

— Анфимьевна барыне вещи повезла на салазках. Самовар вам приготовлен. И — пища.

— Спасибо,— сказал Самгин.— Но — прошу не шуметь!

— Ладно,— обещал медник усталым голосом.

«Впали в детство»,— определил Самгин, входя в столовую, определил и поморщился,— ссора стариков не укладывалась в эти легкие слова.

«Любаша, конечно, сказала бы: вот как глубоко... и прочее. Что-нибудь в этом роде, о глубине...»

Он стоял среди комнаты, глядя, как из самовара вырывается пар, окутывая чайник на конфорке, на неподвижный огонь лампы, на одинокий стакан и две тарелки, покрытые салфетками, стоял, пропуская мимо себя события и людей этого дня и ожидая от разума какого-нибудь решения, объяснения. Крайне трудно было уложить всё испытанное сегодня в ту или иную систему фраз. Очень хотелось есть, но не хотелось сдвинуться с места. В кухне булькал голос медника, затем послышались мягкие шаги, и, остановясь в двери, медник сказал:

— Вы, товарищ Самгин, не рассчитывайте его. Куда он денется? В такие дни — где стряпают? Стряпать — нечего. Конечно, изувер и даже — идиот, однако — рабочий человек...

— Это он вас просил сказать мне? — тихо осведомился Самгин, глядя на растоптанные валенки старика.

— Он? — иронически воскликнул медник.— Он — попросит, эдакий... сволочь! Он — издохнет, а не сдаст. Я с ним бьюсь сколько времени! Нет, это — медь, ее не пережуешь!

— Хорошо,— сказал Самгин, чувствуя, что старик может еще долго рассказывать о несокрушимой твердости своего врага. Валенки медника, зашаркав по полу, исчезли, Самгин, осторожно подняв голову, взглянул на его изогнутую спину. Потом он ел холодную, безвкусную телятину, пил перепаренный, горьковатый чай и старался вспомнить слова летописца Пимена: «Недаром... свидетелем господь меня поставил» — и не мог вспомнить: свидетелем чего? Как там сказано? Сходить в кабинет за книгой мешала лень, вызванная усталостью, теплом и необыкновенной тишиной, она как будто всасывалась во все поры тела и сегодня была доступна не только слуху, но и вкусу — терпкая, горьковатая. Он долго сидел в этой тишине, сидел неподвижно, опасаясь спугнуть дремоту разума, осторожно наблюдая, как погружаются в нее все впечатления дня; она тихонько покрывала день, как покрывает снег вспаханное поле, кочковатую дорогу. Но два полуумных старика мешали работе ее. Самгин, взяв лампу, пошел в спальню и, раздеваясь, подумал, что он создан для холостой жизни, а его связь с Варварой — ошибка, неприятнейший случай.

«Весьма вероятно, что если б не это — я был бы литератором. Я много и отлично вижу. Но — плохо формирую, у меня мало слов. Кто это сказал: „Дикари и художники мыслят образами“? Вот бы написать этих стариков...»

Старики беспокоили. Самгин пошел в кабинет, взял на ощупь книгу, воротился, лег. Оказалось, что он ошибся, книга — не Пушкин, а «История Наполеона». Он стал рассматривать рисунки Ораса Верне, но перед глазами стояли, ругаясь, два старика.

«Моя неспособность к сильным чувствам — естественна, это — свойство культурного человека»,— возразил кому-то Самгин, бросил книгу на постель Варвары и, погасив лампу, спрятал голову под одеяло.

Его разбудили дергающие звуки выстрелов где-то

до того близко, что на каждый выстрел стекла окон отзывались противненькой, ноющей дрожью, и эта дрожь отдавалась в коже спины, в ногах Самгина. Он вскочил, схватил брюки, подбежал к ледяному окну,— на улице в косых лучах утреннего солнца прыгали какие-то серые фигуры.

«Забыли закрыть ставни»,— с негодованием отметил Самгин. Он тоже запрыгал на одной ноге, стараясь сунуть другую в испуганные брюки, они вырывались из рук, а за окном щелкало и трещало. Сквозь ледяной узор на окне видно было, что на мостовой лежали, вытянув ружья, четверо, похожие на огромных стерлядей; сзади одного из них стрелял, с колена, пятый, и после каждого выстрела штыки ружей, подпрыгивая, как будто нюхали воздух и следили, куда летит пуля. Самгин в одной штанине бросился к постели, выхватил из ночного столика браунинг, но, бросив его на постель, надел брюки, туфли, пиджак, снова подбежал к окну; солдат, стрелявший с колена, переваливаясь с боку на бок, катился по мостовой на панель, тот, что был впереди его,— исчез, а трое всё еще лежали, стреляя. Самгин хорошо слышал, что слева стреляют более часто и внушительно, чем справа от баррикады.

«Конечно,— всех перебьют!»

Схватив револьвер, он выбежал в переднюю, сунул ноги в ботики, надел пальто и, выскочив на крыльцо кухни, остановился.

«Прячутся... бегут...»

По двору один за другим, толкаясь, перегоняя друг друга, бежали в сарай Калитин, Панфилов и еще трое; у калитки ворот стоял дворник Николай с железным ломом в руках, глядя в щель на улицу, а среди двора — Анфимьевна крестилась в пестрое небо.

— Что? — подбежав к Николаю, тихонько спросил Самгин.

— Сейчас... Сзади заходят,— шёпотом ответил Николай.

Здесь, на воздухе, выстрелы трещали громко, и после каждого хотелось тряхнуть головою, чтобы выбросить из уха сухой, надсадный звук. Было слышно и визгливое нытье летящих пуль. Самгин оглянулся на-

зад — двери сарая были открыты, задняя его стена разобрана; пред широкой дырою на фоне голубоватого неба стояло голое дерево,— в сарае никого не было.

— Во-от,— приглушенно вскричал дворник и, распахнув калитку, выскочил на улицу,— там, недалеко, разноголосо кричали:

— Ур-ра-а!

Самгина тоже выбросило на улицу, точно он был веревкой привязан к дворнику. Он видел, как Николай, размахнувшись ломом, бросил его под ноги ближайшего солдата, очутился рядом с ним и, схватив ружье, заорал:

— Отдай, сукин сын!

Самгину показалось, что Николай приподнял солдата от земли и стряхнул его с ружья, а когда солдат повернулся к нему спиною, он, ударив его прикладом, опрокинул, крича:

— Пули давай!

Солдат упал вниз лицом, повернулся на бок и стал судорожно щупать свой живот.

Напротив, наискось, стоял у ворот такой же маленький зеленоватый солдатик, размешивал штыком воздух, щелкая затвором, но ружье его не стреляло. Николай, замахнувшись ружьем, как палкой, побежал на него, солдат, выставив вперед левую ногу, вытянул ружье, стал еще меньше и крикнул:

— Уйди!

Ругаясь, Николай вышиб ружье из его рук, схватил его и, высоко подняв оба ружья, заорал:

— Е-есть! Давай пули!

Солдатик, разинув рот, медленно съехал по воротам на землю, сел и, закрыв лицо рукавом шинели, тоже стал что-то шарить на животе у себя. Николай пнул его ногой и пошел к баррикаде; из-за нее, встречу ему, выскакивали люди, впереди мчался Лаврушка и кричал:

— Патроны отнимай!

Самгин видел, как он подскочил к солдату у ворот, что-то закричал ему, солдат схватил его за ногу, дернул,— Лаврушка упал на него, но солдат тотчас очутился сверху; Лаврушка отчаянно взвизгнул:

— Дядя Микол...

Швырнув одно ружье на землю, дворник прыжками бросился к нему. Самгин закрыл глаза...

Он не слышал, когда прекратилась стрельба,— в памяти слуха всё еще звучали сухие, сердитые щелчки, но он понимал, что всё уже кончено. Из переулка и от бульвара к баррикаде бежали ее защитники, было очень шумно и весело, все говорили сразу.

— Неплохо вышло, товарищи!

— Научимся понемножку...

— Яков рассчитал верно!

Студент Панфилов и медник провели на двор солдата, он всхлипывал, медник сердито говорил ему:

— Это, брат, тебе — наука! Не лезь куда не надо!

Солдатик у ворот лежал вверх спиной, свернув голову набок, в лужу крови,— от нее поднимался легкий парок. Прихрамывая, нагибаясь, потирая колено, из-за баррикады вышел Яков и резко закричал:

— Прошу угомониться, товарищи! Солдата и Васю уберите в сад! Живо...

Пьяным смехом смеялся дворник; Клим никогда не слыхал, чтоб он смеялся, и не слыхал никогда такого истерически визгливого смеха мужчины.

— Два ружья отбил,— выкрикивал он.— Ловко, братцы, а?

Он приставал ко всем, назойливо выкрикивая то — братцы, то — товарищи.

«Как будто спрашивает: товарищи ли, братцы ли?»

Поведение дворника особенно удивляло Самгина: каждую субботу и по воскресеньям человек этот ходил в церковь, и вот радуется, что мог безнаказанно убить. Николая похваливали, хлопали по плечу, он ухмылялся и взвизгивал:

— Кабы не я — парнишке каюк!

Из ворот осторожно выглядывали обыватели, некоторые из них разговаривали с защитниками баррикады,— это Самгин видел впервые, и ему казалось, что они улыбаются с такой же неопределимой, смущающей радостью, какая тревожит и ласкает его.

Рядом с ним встал Яков, вынул из его руки браунинг, поднес его близко к лицу, точно нюхая, и сказал:

— Их надо разбирать и чистить керосином. Этот — в сырости держали.

Он опустил револьвер в карман пальто Самгина и замолчал, посматривая на товарищей, шевеля усиками.

— Вы — ранены?

— Колено ушиб,— ответил Яков и, усмехаясь, схватил за плечо Лаврушку: — Жив, сукин кот? Однако — я тебе уши обрежу, чтоб ты меня слушался...

— Товарищ Яков! — умоляюще заговорил Лаврушка,— дайте же мне винтовочку, у Николая — две! Мне же учиться надо. Я бы — не по людям, а по фонарям на бульваре, вечером, когда стемнеет.

Яков, молча надвинув ему шапку на глаза, оттолкнул его и строго крикнул:

— Товарищи — спокойно! Плясать — рано! По местам!

Мимо Самгина пронесли во двор убитого солдата, за руки держал его человек с ватой в ухе, за ноги — студент Панфилов.

— Ночью на бульвар вынесете. И Васю — тоже,— сказал, пропуская их мимо себя, Яков,— сказал негромко, в нос, и ушел во двор.

Самгин вынул из кармана брюк часы, они показывали тридцать две минуты двенадцатого. Приятно было ощущать на ладони вескую теплоту часов. И вообще всё было как-то необыкновенно, приятно-тревожно. В небе тает мохнатенькое солнце медового цвета. На улицу вышел фельдшер Винокуров с железным измятым ведром, со скребком, посыпал лужу крови золою, соскреб ее снова в ведро. Сделал он это так же быстро и просто, как просто и быстро разыгралось всё необыкновенное и страшное на этом куске улицы.

Вздрогнув, Самгин прошел во двор. На крыльце кухни сидел тощий солдатик, с желтым, старческим лицом, с темненькими глазками из одних зрачков; покачивая маленькой головой, он криво усмехался тонкими губами и негромко, насмешливым тенорком говорил Калитину и водопроводчику:

— Что я — лезервного батальёну, это разницы не составляет, всё одно: в солдата стрелять нельзя...

— А тебе в меня — можно? — глухо спросил угрюмый водопроводчик.

Яков сидел рядом с крыльцом на поленьях дров и, глядя в сторону, к воротам, молча курил.

— Мне тебя — можно, я солдат, присягу принял против внутреных врагов...

Водопроводчик перекинул винтовку в левую руку, ладонью правой толкнул пленника в лоб:

— А если я тоже — солдат?

— Ну — это врешь.

— Вру?

— Оставь, Тимофеев, не тронь,— сказал Калитин, рассматривая пленника.

Но Тимофеев отскочил и начал делать ружейные приемы, свирепо спрашивая после каждого:

— Видал? Видал, сволочь? Видал?

А, сделав выпад штыком против солдата, закричал в лицо ему:

— Тенгинского полка, четвертой роты, Захар...

Яков быстро встал и оттолкнул его плечом, говоря:

— И адрес дайте ему свой.— Он обратился к солдату: — На таких вот дураках, как ты, всё зло держится...

Отрицательно покачивая головою и вздохнув, тот сказал:

— Солдат дураком не бывает. А вы — царю-отечеству изменники, и доля вам...

Водопроводчик замахнулся на него левой рукой, но Яков подбил руку под локоть, отвел удар:

— Однако, товарищ, нужна дисциплина.

Солдат поднял из-под козырька фуражки темные глаза на Якова и уже проще, без задора, даже снисходительно сказал:

— Ружейный прием и штацки ловко делают. Вон этот,— он показал рукою за плечо свое,— которого в дом завели, так он — как хочешь!

— Штатский? — спросил Калитин, сдвигая папаху на лоб.

— Ну да.

— Охотник? — спокойно спросил Яков.

— Приказчик, грибами торгует.

— Я спрашиваю: в отряде — охотник?

— Мы все — охотники,— понял солдат и, снова вздохнув, прибавил: — По вызову — кто желает.

Трое одновременно подвинулись ближе к солдату.

«Убьют»,— решил Самгин и, в два приема перешагнув через пять ступенек крыльца, вошел в кухню.

Там у стола сидел парень в клетчатом пиджаке и полосатых брюках; тугие щеки его обросли густой желтой шерстью, из больших светло-серых глаз текли слезы, смачивая шерсть, одною рукой он держался за стол, другой — за сиденье стула; левая нога его, голая и забинтованная полотенцем выше колена, лежала на деревянном стуле.

— Вот, барин, ногу испортили мне,— плачевно сказал он Самгину.

— Плачет и плачет! — удивленно, весело воскликнул Николай, строгая ножом длинную палку.— Баба даже не способна столько плакать!

— Я вас прошу, барин, заступитесь! — рыдающим голосом взывал парень.— Вы, адвокат...

— Он копчену рыбу носил нам,— вмешался Николай и торопливо начал говорить еще что-то, но Самгин не слушал его.

«Знает меня! Когда всё кончится, а он уцелеет...»

Не требуя больше слов, догадка вызвала очень тягостное чувство.

Из комнаты Анфимьевны вышли студент Панфилов с бинтом в руках и горничная Настя с тазом воды; студент встал на колени, развязывая ногу парня, а тот, крепко зажмурив глаза, начал выть.

— У-у-х! Господин адвокат, будьте свидетелем... Я в суд подам...

— Вот болван! — вскричал студент и засмеялся.— И чего орет? Кость не тронута. Перестань, дубина! Через неделю плясать будешь...

Но парень неутомимо выл, визжал, кухня наполнилась окриками студента, сердитыми возгласами Насти, непрерывной болтовней дворника,— Самгин стоял, крепко прислонясь к стене, и смотрел на винтовку; она лежала на плите, а штык высунулся за плиту и потел

в пару самовара под ним,— с конца штыка падали светлые капли.

— Дайте палку,— сказал студент Николаю, а парню скомандовал: — Вставай! Ну, держись за меня, бери палку! Стоишь? Ну вот! А — орал!

Парень стоял, искривив рот, и бормотал:

— Ах ты, господи...

Открылась дверь со двора, один за другим вошли Яков, солдат, водопроводчик; солдат осмотрел кухню и сказал:

— Винтовку отдайте мне,— вот она!

Яков подошел к парню и, указав на солдата, спросил очень мягко:

— Он командовал отрядом вашим?

— Он,— сказал парень, щупая ногу.

— Один?

— Старшой был, тот — убежал.

— Вы, господа, никак не судьи мне,— серьезно сказал солдат.— Вы со мной ничего не можете исделать, как я сполнял приказ...

— Нуте-с, товарищ,— обратился Яков к водопроводчику.

Самгин ушел в столовую.

«Я должен сказать Якову, что этот идиот знает меня, потому что...»

Но оснований для сообщения Якову он не находил.

«Как всё это... глупо! — решил он, присаживаясь у окна.— Безнадежно, неисправимо глупо».

Лаврушка внес самовар, с разбегу грохнул его на стол и, растянув рот до ушей, уставился на Самгина, чего-то ожидая. Самгин исподлобья, через очки, наблюдал за ним. Не дождавшись ничего, Лаврушка тихо сказал:

— Обязательно застрелят солдата, ей-богу!

— Одного? — вполне равнодушно спросил Самгин.

— Я бы — обоих! Какого чёрта? Их — много, а нас горсточка...

— Да,— неопределенно откликнулся Самгин.

Лаврушка побежал к двери, но обернулся и с восторгом сообщил:

— Одна пуля отщепила доску, а доска ка-ак бабах-

нет Якова-товарища по ноге, он так и завертелся! А я башкой хватил по сундуку, когда Васю убило. Это я со страха. Косарев-то как стонал, когда ранило его, студент...

Он исчез. Самгин, заваривая чай и глядя, как льется из крана струя кипятка, чувствовал, что под кожей его струится холод.

«Мальчик — прав, борьба должна быть беспощадной...»

Из кухни доносился странно внятный голос Якова.

Самгин нерешительно встал, вышел в полутемную комнатку пред кухней, достал из кармана пальто револьвер и выглянул в кухню,— там Яков говорил Насте:

— Так что мучается рабочий народ тоже и по своей глупости...

— Не хотите ли чаю? — предложил Самгин.

— Спасибо, некогда.

Тогда Самгин показал ему револьвер.

— А не научите меня, как надо чистить?

Яков взял браунинг, сунул его в карман пальто.

— Тут у нас есть мастер по этой части, он сделает.

Самгин хотел притворить дверь, но Яков, подставив ногу, спросил его:

— Сказали мне — раненый знает вашу личность.

— Да, представьте...

Завязывая концы башлыка на груди, Яков сказал вдумчиво:

— Могут быть неприятности для вас...

— Возможно. Если, конечно, восстание будет неудачно,— сказал Самгин и подумал, что, кажется, он придал этим словам смысл и тон вопроса. Яков взглянул на него, усмехнулся и, двигаясь к двери на двор, четко выговорил:

— Не в этот раз, так — в другой...

Возвратясь в столовую, Клим уныло подошел к окну. В красноватом небе летала стая галок. На улице — пусто. Пробежал студент с винтовкой в руке. Кошка вылезла из подворотни. Белая с черным. Самгин сел к столу, налил стакан чаю. Где-то внутри себя, очень глубоко, он ощущал как бы опухоль: не болезнен-

ная, но тяжелая, она росла и росла. Вскрывать ее словами — не хотелось.

«Солдат этот, конечно,— глуп, но — верный слуга. Как повар. Анфимьевна. Таня Куликова. И — Любаша тоже. В сущности, общество держится именно такими. Бескорыстно отдают всю жизнь, все силы. Никакая организация невозможна без таких людей. Николай — другого типа... И тот, раненый, торговец копченой рыбой...»

Именно об этом человеке не хотелось думать, потому что думать о нем — унизительно. Опухоль заболела, вызывая ощущение, похожее на позыв к тошноте. Клим Самгин, облокотясь на стол, сжал виски руками.

«Как бессмысленна жизнь...»

Вошла Анфимьевна и, не выпуская из руки ручку двери, опустилась на стул.

— Егор пропал,— сказала она придушенно, не своим голосом и, приподняв синеватые веки, уставила на Клима тусклые, стеклянные зрачки в сетке кровавых жилок.— Пропал,— повторила она.

«Страшные глаза!» — отметил Самгин и тихонько спросил: — Как же решили с этими... солдатами?

Анфимьевна тяжело поднялась, подошла к буфету и там, гремя посудой, тоже спросила:

— А как быть? — И, подходя к столу с чашкой в руке, она пробормотала: — Ночью отведут куда подальше да и застрелят.

Самгин выпрямился на стуле, ожидая, что еще скажет она, а старуха, тяжело дыша, посапывая носом, долго наливала чай в чашку,— руки ее дрожали, пальцы не сразу могли схватить кусок сахара.

— Всякому — себя жалко,— сказала она, садясь к столу.— Тем живем.

Самгин устал ждать и решительно, даже строго, спросил:

— И того и другого?

Раскалывая сахар на мелкие кусочки, Анфимьевна, не торопясь, ворчливо и равнодушно начала рассказывать:

— Я говорю Якову-то, товарищу,— отпустили бы солдата, он — разве злой? Дурак он, а — что убивать-

то, дураков-то? Михайло — другое дело, он тут кругом всех знает — и Винокурова, и Лизаветы Константиновны племянника, и Затёсовых, — всех! Он ведь покойника Митрия Петровича сын,— помните, чай, лысоватый, во флигере у Распоповых жил, Борисов — фамилия? Пьяный человек был, а умница, добряк.

Говоря, она прихлебывала чай, а выпив, постучала ногтем по чашке.

— Ну вот — трещина, а севриз — новый! Ох, Настасья, медвежьи лапы...

Самгин слушал ее тяжелые слова, и в нем росло, вскипало, грея его, чувство уважения, благодарности к этому человеку; наслаждаясь этим чувством, он даже не находил слов выразить его.

— К тому же Михайло-то и раненый, говорю. Хороший человек товарищ этот, Яков. Строгий. Всё понимает. Всё. Егора все ругают, а он и с Егором говорит просто... Куда же это Егор ушел? Ума не приложу...

— Вы так часто ссорились с ним,— ласково напомнил Самгин.

Всё еще рассматривая чашку, постукивая по ней синим ногтем, Анфимьевна сказала:

— Муж.

— Как? — спросил Самгин, уверенный, что она оговорилась, но старуха, вздохнув, повторила то же слово:

— Муж. Судьба моя.

Зрачки ее как будто вспыхнули, посветлели на секунду и тут же замутились серой слезой, растаяли. Ослепшими глазами глядя на стол, щупая его дрожащей рукой, она поставила чашку мимо блюдца.

— Одиннадцать лет жила с ним. Венчаны. Тридцать семь не живу. Встретимся где-нибудь — чужой. Перед последней встречей девять лет не видала. Думала — умер. А он, на Сухаревке, жуликов пирогами кормит. Эдакий-то... мастер, э-эх!

Вытирая глаза концом передника, она всхлипнула и простонала, как молодая.

Самгин встал и, волнуясь, совершенно искренно заговорил:

— Вы, Анфимьевна,— замечательная женщина! Вы, в сущности, великий человек! Жизнь держится кроткой и неистощимой силою таких людей, как вы! Да, это — так...

Ему захотелось назвать ее по имени и отчеству, но имени ее он не знал. А старуха, пользуясь паузой, сказала:

— Ну, что уж... Вот, Варюша-то... Я ее как дочь люблю, монахини на бога не работают, как я на нее, а она меня за худые простыни воровкой сочла. Кричит, ногами топала, там — у черной сотни, у быка этого. Каково мне? Простыни-то для раненых. Прислуга бастовала, а я — работала, милый! Думаешь — не стыдно было мне? Опять же и ты,— ты вот здесь, тут — смерти ходят, а она ушла, да-а!

Самгину уже не хотелось говорить, и смотреть на старуху неловко было.

— Ну, ладно,— она встала.— Чем я тебя кормить буду? В доме — ничего нету, взять негде. Ребята тоже голодные. Целые сутки на холоде. Деньги свои я все прокормила. И Настёнка. Ты бы дал денег...

— Конечно! — заторопился Самгин.— Разумеется. Вот...

— Ну, яишницу сделаю. У акушерки куры еще несутся...

Он вздохнул свободнее, когда Анфимьевна ушла. Шагая по комнате, он думал, что живет, точно на качелях: вверх, вниз.

«Удивительно верно это у Сологуба...»

Хотелось придумать свои, никем не сказанные слова, но таких слов не находилось, подвертывались на язык всё старые, давно знакомые.

«Действительно — таинственный народ. Народ, решающий прежде всего проблему морали. Марксисты глубоко ошибаются... Как просто она решила с этим, Михаилом...»

Он снова почувствовал прилив благодарности к старой рабыне. Но теперь к благодарности примешивалось смущение, очень похожее на стыд. Было почему-то неловко оставаться наедине с самим собою. Самгин оделся и вышел на двор.

Николай отворял и затворял калитку ворот,— она пронзительно скрипела; он приподнял ее ломом и стал вбивать обухом топора гвоздь в петлю,— изо рта у него торчали еще два гвоздя. Работал он, как всегда, и о том, что он убил солдата, не хотелось вспоминать, даже как будто не верилось, что это — было. На улице тоже всё обыденно, ново только красноватое пятно под воротами напротив,— фельдшер Винокуров все-таки не совсем соскоблил его. Солнце тоже мутно-красное; летают редкие снежинки, и они красноваты в его лучах, как это нередко бывает зимою в ярких закатах солнца.

На крыльце соседнего дома сидел Лаврушка рядом с чумазым парнем; парень подпоясан зеленым кушаком, на боку у него — маузер в деревянном футляре. Он вкусно курит папиросу, а Лаврушка говорит ему:

— Я люблю бояться; занятно, когда от страха шкурка на спине холодает.

Парень сплюнул, поймал ладонью крупную снежинку, точно муху, открыл ладонь,— в ней ничего не оказалось. Он усмехнулся и заговорил:

— Меня к страху приучил хозяин, я у трубочиста жил, как я — сирота. Бывало, заорет: «Лезь, сволочь, сукиного сына!» В каменную стену полезешь, не то что куда-нибудь. Он и печник был. Ему смешно было, что я боюсь.

— Сердитый?

— Трезвый, так — веселый. Всё спрашивал: «Как дела — башка цела?» Только он редко трезвый был.

У паренька — маленькие, но очень яркие глаза, налитые до глубины синим огнем.

Прошли две женщины,— одна из них, перешагнув через пятно крови, обернулась и сказала другой:

— Смотри,— точно конь нарисован!

Та, не взглянув, плотно закуталась шалью, а когда они остановились у крыльца фельдшера, сказала, оглядываясь:

— По нашей улице из пушки стрелять неудобно,— кривая, в дома пушка будет попадать.

Перед баррикадой гулял, тихонько насвистывая, Калитин, в ногу с ним шагал сухонький, остроглазый,

с бородкой, очень похожей на кисть для бритья,— он говорил:

— Стреляют они — так себе. Вообще — отряды эти охотничьи — балаган! А вот казачишки — эти бьют кого попало. Когда мы на Пресне у фабрики Шмита выступали...

Калитин остановился, вынул из-за пазухи черные часы и крикнул:

— Лаврентий — иди! Пора! Иди, Мокеев.

Самгину хотелось поговорить с Калитиным и вообще ближе познакомиться с этими людями, узнать — в какой мере они понимают то, что делают? Он чувствовал, что студенты почему-то относятся к нему недоброжелательно, даже, кажется, иронически, а все остальные люди той части отряда, которая пользовалась кухней и заботами Анфимьевны, как будто не замечают его. Теперь Клим думал, что, если б его не смущало отношение студентов, он давно бы стоял ближе к рабочим.

Лаврушка и человек с бородкой ушли. Темнело. По ту сторону баррикады возились люди, знакомый угрюмый голос водопроводчика проговорил:

— Тут — недалеко.

— Отец возьмет его?

— Брат.

— Жалко Васю.

Калитин, шагая вдоль баррикады, закуривал на ходу. Самгин пошел рядом с ним, спросив:

— Очень страдал товарищ?

— Не охнул,— сказал Калитин, выдув длинную струю дыма.— В глаз попала пуля.

— Он где работал?

— Булочник.

— Еще кого-нибудь ранили?

— Троих. Не сильно.

Краткие ответы Калитина не очень поддерживали желание беседовать с ним, но все-таки Самгин, помолчав, спросил:

— Чего же вы надеетесь добиться?

Калитин остановился и сказал:

— Ясно-очевидно: свободы рабочему классу!

А вслед за этим сам спросил, как будто с сожалением:

— Вы что же — меньшевичок? За союз с кадетами? По Плеханову: до Твери — вместе?

Не по словам, а по тону Самгин понял, что этот человек знает, чего он хочет. Самгин решил возразить, поспорить и начал:

— Неужели вы думаете...

Но Калитин, остановясь, прислушиваясь, проворчал:

— Подождите-ко...

Было слышно, что вдали по улице быстро идут люди и тащат что-то тяжелое. Предчувствуя новую драму, Самгин пошел к воротам дома Варвары; мимо него мелькнул Лаврушка, радостно и громко шепнув:

— Пымали!

Самгин остановился во впадине калитки, слушая задыхающийся голос:

— Пымали, товарищ Калитин! Как бился-а! Здоровенный! Ему даже варежку в рот сунули...

— Ведите в сарай,— крикнул Калитин.

Клим быстро вошел во двор, встал в угол; двое людей втащили в калитку третьего, он упирался ногами, вспахивая снег, припадал на колени, мычал. Его били, кто-то сквозь зубы шипел:

— Иди-и...

Самгин хотел войти в кухню, но в сарае заговорил, сквозь всхлипывающий смешок, Иван Петрович Митрофанов:

— Ф-фу... Господи Исусе! Ну, напугали, напугали...— неестественно быстро и заикаясь говорил он.

И, всхлипнув так, точно губы ожег кипятком, он еще быстрее забормотал:

— Пож-жалуйста, пож...жалуйста. Я не сопротивляюсь... Ну,— документы... Я — человек тоже рабочий. Часы. Вот деньги. И — всё, поверьте слову...

По двору в сарай прошли Калитин и водопроводчик, там зажгли огонь. Самгин тихо пошел туда, говоря себе, что этого не надо делать. Он встал за неоткрытой половинкой двери сарая, сквозь щель на пальто его легла полоса света и разделила надвое; стирая рукой эту желтую ленту, он смотрел в щель и слушал.

— Ведь это вы несерьезно,— говорил Митрофанов, всё громче и торопливее.— Нельзя же, господа... товарищи... Мы живем в государстве...

— Молчи,— глухо сказали ему.

— Да — нет! Как же можно? Что вы... что... Ну... боже мой...— И вдруг, не своим голосом, он страшно крикнул:

— Караул... Позвольте — что вы? Постойте!

Необычно кратко и глухо хлопнул выстрел, и тотчас погас огонь.

Самгин почувствовал, что это на него упала мягкая тяжесть, приплюснув его к земле так, что подогнулись колени.

Через несколько секунд тишины снова вспыхнул огонь и раздался голос Калитина:

— Это ты — напрасно! Это, товарищ, не дело.

— А — чего? Вот он — документ!..

— Надо было Якова подождать...

Кто-то заговорил так же торопливо, как Митрофанов.

— Лаврушку он спрашивал, кого как зовут, ну? Меня — спрашивал? Про адвоката? Чем он руководит? И как вообще...

— Вынесите его в сад,— сказал Калитин.— Дайка мне книжку и всё...

Самгин встал перед дверью и сказал:

— Он был уголовный сыщик...

Но Мокеев, наскочив на него, закричал густо и свирепо:

— Охранник! Аккуратно, как в аптеке! Не беспокойтесь...

Он говорил еще что-то, но Самгин не слушал его, глядя, как водопроводчик, подхватив Митрофанова под мышки, везет его по полу к пролому в стене. Митрофанов двигался, наклонив голову на грудь, спрятав лицо; пальто, пиджак на нем были расстегнуты, рубаха выбилась из-под брюк, ноги волочились по полу, развернув носки.

Калитин, сидя на корточках перед фонарем, рассматривал какие-то бумажки и ворчал:

— Делов сегодня у нас... Карточка охранного, видать...

— Вот и револьвер его,— вертел Мокеев перед лицом Самгина черный кусок металла.— Он меня едва не пристрелил, а теперь — я его из этого...

Самгин стоял, закрыв глаза.

— Ну, довольно канители! — строго сказал Калитин.— Идем, Мокеев, к Якову. Все-таки это, брат... не дело, если каждый будет...

— Эй, черти, помогите мне! — крикнул водопроводчик из сада.

Но Калитин и Мокеев ушли со двора. Самгин пошел в дом, ощущая противный запах и тянущий приступ тошноты. Расстояние от сарая до столовой невероятно увеличилось; раньше чем он прошел этот путь, он успел вспомнить Митрофанова в трактире, в день похода рабочих в Кремль, к памятнику царя; крестясь мелкими крестиками, человек «здравого смысла» горячо шептал: «Я — готов, всей душой! Честное слово: обманывал из любви и преданности».

«Как просто убивают. Хотя, конечно, шпион, враг...»

О Митрофанове подумалось без жалости, без возмущения, а на его место встал другой враг, хитрый, страшный, без имени и неуловимый.

«Кто всю жизнь ставит меня свидетелем мучительно тяжелых сцен, событий?» — думал он, прислонясь спиною к теплым изразцам печки. И вдруг, точно кто-то подсказал ему:

«Надо уехать за границу. В маленький, тихий городок».

Глядя на двухцветный огонек свечи, он говорил себе:

«Как это раньше не пришло мне в голову? С матерью повидаюсь».

Мать жила под Парижем, писала редко, но многословно и брюзгливо, жалуясь на холод зимою в домах, на различные неудобства жизни, на русских, которые «не умеют жить за границей»; и в ее эгоистической, мелочной болтовне чувствовался смешной патриотизм провинциальной старухи...

Дверь медленно отворилась, и еще медленнее в комнату влезла огромная туша Анфимьевны, тяжело проплыла в сумраке к буфету и, звякая ключами, сказала очень медленно, как-то нараспев:

— Егор-то Васильич удавился...

— Эх, боже мой,— с досадою, близкой к отчаянию, негромко воскликнул Самгин.

— На чердаке висит,— говорила старуха, наливая чего-то из бутылки. Самгин слышал, как булькает в горлышке жидкость.

«Реветь будет».

Но Анфимьевна, гулко кашлянув, продолжала также задумчиво и певуче:

— Пробовала снять, а — сил-то нету. Николай отказался, боится удавленников. А сам, слышь, солдата убил.

— Что же делать? — спросил Самгин.

— Что делать-то? А — вам ничего не надобно делать, я сама... Сама всё сделаю. Медник поможет. Нехорошо, станут спрашивать вас — отчего слуга удавился?

Она замолчала, и снова зазвенело стекло, забулькало в горлышке бутылки.

«Она пьет водку», — сообразил Самгин.

— А — провизии нет,— вздохнула старуха.— Охохо. Не знаю, чем кормить.

— Ничего не надо,— сказал Самгин, едва сдержав желание закричать.— Вы... не беспокойтесь...

— Что уж тут,— отозвалась Анфимьевна, уходя; шла она, точно против сильного ветра.

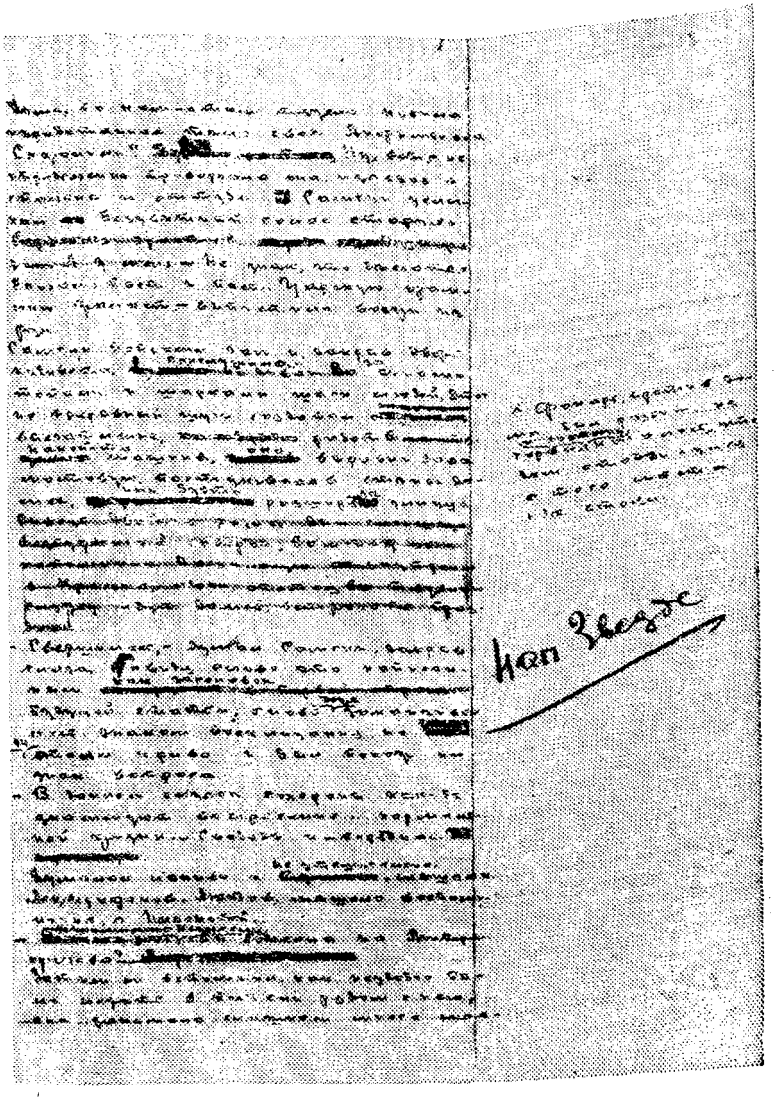
— Ну — сниму, а — куда девать его? — спросила она в дверях...

Самгин закрыл лицо руками. Кафли печи, нагреваясь всё более, жгли спину, это уже было неприятно, но отойти от печи не было сил. После ухода Анфимьевны тишина в комнатах стала тяжелей, гуще, но как бы только для того, чтобы ясно был слышен голос Якова,— он струился из кухни вместе с каким-то едким, горьковатым запахом:

— Когда мы не научимся...

Самгин отметил: «Говорить — не умеет, следовало сказать — если, а не — когда».

— ...действовать организованно, так у нас ни черта не выйдет. Не успел, говоришь? Надо было успеть, товарищ Калитин... Такие неуспехи...



«ЖИЗНЬ КЛИМА САМГИНА», ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ.
Первая страница белового автографа.

Самгин отшатнулся от печки и ушел в кабинет, плотно прикрыв дверь за собою.

Дни потянулись медленнее, хотя каждый из них, как раньше, приносил с собою невероятные слухи, фантастические рассказы. Но люди, очевидно, уже привыкли к тревогам и шуму разрушающейся жизни, так же, как привыкли галки и вороны с утра до вечера летать над городом. Самгин смотрел на них в окно и чувствовал, что его усталость растет, становится тяжелей, погружает в состояние невменяемости. Он уже наблюдал не так внимательно, и всё, что люди делали, говорили, отражалось в нем, как на поверхности зеркала.

Его обслуживала горничная Настя, худенькая девушка с большими глазами; глаза были серые, с золотой искрой в зрачках, а смотрели так, как будто Настя всегда прислушивалась к чему-то, что слышит только она. Еще более, чем Анфимьевна, она заботилась о том, чтобы напоить чаем и накормить защитников баррикады. Она окончательно превратила кухню в трактир.

Анфимьевна простудилась и заболела. Последний раз Самгин видел ее на ногах поздно вечером, на другой день после того, как удавился повар.

В кухне никого не было, почти все люди с баррикад, кроме дежурных, совещались в сарае. Самгина смутила тяжелая возня на чердаке; он взял лампу, вышел на черное крыльцо и увидал, что старуха, обняв повара сзади, под мышки, переставляет его маленькую фигурку со ступени на ступень. Повар, прижав голову к левому плечу и высунув язык, не гнулся, ноги его были плотно сжаты; казалось, что у него одна нога, она стучала по ступеням твердо, как нога живого, и ею он упирался, не желая спуститься вниз. Осветив руки Анфимьевны, вспухшие на груди повара, Самгин осветил и лицо ее, круглое, точно арбуз, окрашенное в лиловый цвет, так же как ее руки, а личико повара было темное и похоже на большую картофелину.

— Куда вы его, куда? — шёпотом спросил Самгин.

Старуха, покрякивая и задыхаясь, ответила:

— Ничего, не беспокойтесь. У меня салазки припасены. Медник отвезет. Он — услужливый...

Сойдя с лестницы, она взяла повара поперек тела,

попыталась поднять его на плечо и — не сладив, положила под ноги себе. Самгин ушел, подумав:

«В другое время я бы помог ей».

Он уже так отупел, что виденное не взволновало его. Теперь Анфимьевна лежала, задыхаясь, в своей комнате, за нею ухаживал небритый, седой фельдшер Винокуров, человек всегда <не?>трезвый, очень болтливый, но уважаемый всею улицей.

— Знаменитая своей справедливостью женщина, замечательнейшая,— сипло говорил он.— Но — не вытянет. Пневмония. Жаль. Старичье — умирает, молодежь — буянит. Ох, нездорова Россия...

Дважды приходили солдаты, но стреляли они издали, немного; постреляют безвредно и уйдут. Баррикада не отвечала им, а медник посмеивался:

— Бесполезно патроны тратят, сукины сыны...

И хвастливо говорил:

— В старое бы время: ребята — в штыки! И успокоились бы душеньки наши в пяток минут..,

Лаврушка нашел, что:

— Пули щелкают, как ложкой по лбу.

Как-то днем, в стороне бульвара началась очень злая и частая пальба. Лаврушку с его чумазым товарищем послали посмотреть: что там? Минут через двадцать чумазый привел его в кухню облитого кровью,— ему прострелили левую руку выше локтя. Голый до пояса, он сидел на табурете, весь бок был в крови,— казалось, что с бока его содрана кожа. По бледному лицу Лаврушки текли слезы, подбородок дрожал, стучали зубы. Студент Панфилов, перевязывая рану, уговаривал его:

— Не дергайся. Стыдно.

Но Лаврушка, вздрагивая, изумленно выкатив глаза, всхлипывал и бормотал:

— Ой, больно! Ну и больно же, ой, господи! Да — не троньте же... Как я буду жить без руки-то? — с ужасом спрашивал он, хватая здоровой рукою плечо студента; гладя, пощипывая плечо и косясь мокрыми глазами на свою руку, бормотал:

— Какой же революционер с одной-то рукой? Товарищ Панфилов — отрежут руку?

Но вечером он с подвязанной рукой сидел за столом, пил чай и жаловался Якову:

— Больно долго не побеждаем, товарищ! Нам бы не ждать, а броситься бы на них всем сразу, сколько тысяч есть, и забрать в плен.

Яков совершенно серьезно говорил ему:

— Так оно и будет. Обязательно бросимся, и — крышка им! Только вот тебе, душечка, руку надо залечить.

Первый раз Клим Самгин видел этого человека без башлыка и был удивлен тем, что Яков оказался лишенным каких-либо особых примет. Обыкновенное лицо,— такие весьма часто встречаются среди кондукторов на пассажирских поездах,— только глаза смотрят как-то особенно пристально. Лица Калитина и многих других рабочих значительно характернее.

«Почему же командует этот?» — подумал Самгин, но ответа на вопрос свой не стал искать. Он чувствовал себя оброшенным и в плену, в нежилом доме.

Теперь, когда Анфимьевна, точно головня, не могла ни вспыхнуть, ни угаснуть, а день и ночь храпела, ворочалась, скрипя деревянной кроватью,— теперь Настя не вовремя давала ему чай, кормила всё хуже, не убирала комнат и постель. Он понимал, что ей некогда служить ему, но всё же было обидно и неудобно.

Становилось холоднее. По вечерам в кухне собиралось греться человек до десяти; они шумно спорили, ссорились, говорили о событиях в провинции, поругивали петербургских рабочих, жаловались на недостаточно ясное руководительство партии. Самгин, не вслушиваясь в их речи, но глядя на лица этих людей, думал, что они заражены верой в невозможное,— верой, которую он мог понять только как безумие. Они продолжали относиться к нему всё так же, как к человеку, который не нужен им, но и не мешает.

Уже давно никто не посещал его,— приятели Варвары, должно быть, боялись ходить в улицу, где баррикада. Любаша Сомова тоже исчезла. Он чувствовал, что с каждым днем тупеет, его изнуряла усталость. Вечерами, поздно, выходил на улицу, вслушивался в необыкновенную, непостижимую тишину,— казалось,

что день ото дня она становится всё более густой, сжимается плотнее и — должна же она взорваться! Иначе — сойдешь с ума. Обе баррикады, и в улице и в переулке, обросли снегом; несмотря на протесты медника, их все-таки облили водой. Теперь они были глыбами льда, а формою похожи на лодки килем вверх. Поливали водой обыватели; в переулке дважды выплеснули на баррикаду помои.

Как-то вечером подошли человек пять людей с ружьями и негромко заговорили, а Лаврушка, послушав, вдруг огорченно закричал:

— Ну уж — нет! Это — наша баррикада, мы не уйдем! Ишь вы какие!

А утром Настя, подавая чай, сказала:

— Анфимьевна — кончилась... скончалась.

Самгин молча развел руками, а горничная спросила:

— Что же делать с ней? Ночью я буду бояться ее, да и нельзя держать в тепле. Позвольте в сарай вынести?

— Очень хорошо,— сказал он. Ему послышалось, что девушка говорит строптиво, но, наклонясь над столом, он услышал тихое всхлипыванье.

— Ну, что же плакать? — не глядя на нее, заговорил он.— Анфимьевна... очень стара! Она была исключительно примерная...

— Клим Иванович,— услышал он горестный возглас,— наши говорят, что из Петербурга гвардию прислали с большими пушками...

Самгин поднял голову. Настя, прикрывая рот передником и всхлипывая, говорила вполголоса, жалобно:

— Перебьют наших из пушек-то. Они спорят: уходить или драться, всю ночь спорили. Товарищ Яков за то, чтоб уходить в другое место, где наших больше... Вы скажите, чтоб уходили. Калитину скажите, Мокееву и... всем!

— Да, конечно, я — скажу! — обещал Самгин очень бодрым тоном, который даже удивил его.— Да, да, против пушек,— если это верно...

— Верно! Вчера на Николаевском вокзале машинистов расстреливали,— жаловалась Настя.

— Н-ну, зачем же машинистов? — раздумчиво сказал Самгин.— О машинистах, разумеется, неверно. Но

отсюда надо уходить. — Вы — идите, я поговорю...

Он быстро выпил стакан чаю, закурил папиросу и прошел в гостиную,— неуютно, не прибрано было в ней. Зеркало мельком показало ему довольно статную фигуру человека за тридцать лет, с бледным лицом, полуседыми висками и негустой острой бородкой. Довольно интересное и даже как будто новое лицо. Самгин оделся, вышел в кухню,— там сидел товарищ Яков, рассматривая синий ноготь на большом пальце голой ноги.

— Лаврушка прикладом ударил нечаянно,— ответил он на вопрос Клима, пощупав ноготь и морщась.— Гости приехали, Семеновский полк,— негромко сообщил он.— Что будем делать — спрашиваете? Драться будем.

— Против пушек,— напомнила Настя, разрезая на столе мерзлый кочан капусты.

— Пушка — инструмент, кто его в руки возьмет, тому он и служит,— поучительно сказал Яков, закусив губу и натягивая на ногу сапог; он встал и, выставив ногу вперед, критически посмотрел на нее.— Значит, против нас двинули царскую гвардию, при-виле-гированное войско,— разломив длинное слово, он усмешливо взглянул на Клима.— Так что...— тут Яков какое-то слово проглотил,— так что, любезный хозяин, спасибо и не беспокойтесь: сегодня мы отсюда уйдем.

— Я не беспокоюсь,— заявил Самгин.

— Н-ну, как же это? Все беспокоятся.

— Куда же вы? — спросил Самгин.

— На Пресню. Оттуда и треснем. Или — сами там треснем.

Закрыв один глаз, другим он задумчиво уставился в затылок Насти. Самгин понял, что он — лишний, и вышел на двор. Там Николай заботливо подметал двор новой метлой; давно уже он не делал этого. На улице было тихо, но в морозном воздухе огорченно звенел голос Лаврушки.

— Я же говорил: пушки-то на Ходынке стоят, туда и надо было идти и всё испортить, а мы тут сидели.

Из ворот соседнего дома вышел Панфилов в полушубке и в шапке, слишком большой для его головы.

— Адрес — помнишь? Ну, вот. И сиди там смирно.

Хозяйка — доктор, она тебе руку живо вылечит. Прощай.

Лаврушка быстро пошел в сторону баррикады и скрылся за нею; студент, поправив шапку, посмотрел вслед ему и, посвистывая, возвратился на двор.

День был серенький, холодный и молчаливый. Серебряные, мохнатые стекла домов смотрели друг на друга слепо прищурясь,— казалось, что все дома имеют физиономии нахмуренно ожидающие. Самгин медленно шагал в сторону бульвара, сдерживая какие-то бесформенные, но тревожные мысли, прерывая их.

«Лаврушку, очевидно, прячут... Странная фигура этот Яков...»

Дойдя до изгиба улицы, он услыхал впереди чей-то бодрый, удовлетворенно звучавший голос:

— Молодец к молодцу. Человек сорок, офицер верхом.

Самгин вернулся домой и, когда подходил к воротам, услышал первый выстрел пушки; он прозвучал глухо и не внушительно, как будто хлопнуло полотнище ворот, закрытое порывом ветра. Самгин даже остановился, сомневаясь — пушка ли? Но вот снова мягко и незнакомо бухнуло. Он приподнял плечи и вошел в кухню. Настя, работая у плиты, вопросительно обернулась к нему, открыв рот.

— Да, стреляют из пушки,— сказал он, проходя в комнаты. В столовой неприятно ныли верхние, не покрытые инеем стекла окон, в трубе печки гудело, далеко над крышами кружились галки и вороны, мелькая, точно осенний лист.

«Косвенное... и невольное мое участие в этом безумии будет истолковано как прямое»,— подумал Самгин, разглядывая черную сеть на облаках и погружаясь в состояние дремоты.

— Расчет дайте мне, Клим Иваныч,— разбудил его знакомо почтительный голос дворника; он стоял у двери прямо, как солдат, на нем был праздничный пиджак, по жилету извивалась двойная серебряная цепочка часов, волосы аккуратно расчесаны и блестели, так же как и ярко начищенные сапоги.

— Куда вы? — сонно спросил Самгин,

— В деревню.

«Усадьбы поджигать»,— равнодушно подумал Самгин, как о деле — обычном для Николая, а тот сказал строгим голосом:

— Народ бьют. Там,— он деревянно протянул руку, показывая пальцем в окно,— прохожему прямо в глаза выстрелили. Невозможное дело.

«Но ведь ты тоже убил»,— хотелось сказать Самгину, однако он промолчал, пристально разглядывая благообразное, прежде сытое, тугое, а теперь осунувшееся лицо Николая; волосы небогатой, но раньше волнистой бороды его странно обвисли и как-то выпрямились. И всё тем же строгим голосом он говорил:

— Анфимьевну-то вам бы скорее на кладбище, а то — крысы ее портят. Щеки выели, даже смотреть страшно. Сыщика из сада товарищи давно вывезли, а Егор Васильич в сарае же. Стену в сарае поправил я. Так что всё в порядке. Никаких следов.

Получив документ и деньги, он ушел, коротко, с поклоном, сказав:

— Прощайте.

«Страшный человек»,— думал Самгин, снова стоя у окна и прислушиваясь. В стекла точно невидимой подушкой били. Он совершенно твердо знал, что в этот час тысячи людей стоят так же, как он, у окошек и слушают, ждут конца. Иначе не может быть. Стоят и ждут. В доме долгое время было непривычно тихо. Дом как будто пошатывался от мягких толчков воздуха, а на крыше точно снег шуршал, как шуршит он весною, подтаяв и скатываясь по железу.

Пушки стреляли не часто, не торопясь и, должно быть, в разных концах города. Паузы между выстрелами были тягостнее самих выстрелов, и хотелось, чтоб стреляли чаще, непрерывней, не мучили бы людей, которые ждут конца. Самгин, уставая, садился к столу, пил чай, неприятно теплый, ходил по комнате, потом снова вставал на дежурство у окна. Как-то вдруг в комнату точно с потолка упала Любаша Сомова, и тревожно, возмущенно зазвучал ее голос, посыпались путаные слова:

— Что же у вас делается? Как это вы допустили? Почему не взорваны мосты на Николаевской? — спраши-

вала она. Лицо у нее было чужое, старенькое, серое, губы тоже серые, под глазами густые тени,— она ослепленно мигала.

— С баррикад уходят? Это Исполнительный комитет приказал, да? Не знаешь?

Самгину было немножко жаль эту замученную девицу, в чужой шубке, слишком длинной для нее, в тяжелых серых ботиках,— из-под платка на голове ее выбивались растрепанные и, видимо, давно не мытые пряди волос.

— Ой, если б ты знал, что делается в провинции! Я была в шести городах. В Туле... Сказали — там семьсот винтовок, патроны, а... ничего нет! В Коломне меня едва не... едва успела убежать... Туда приехали какие-то солдаты... ужас! Дай мне кусок чего-нибудь...

Она взяла хлеб, откусила немножко и, бросив кусок на стол, закрыла глаза, мотая головой.

— Все-таки... Не может быть! Победим! Голубчик, мне совершенно необходимо видеть кого-нибудь из комитета... И нужно сейчас же в два места. В одно сходи ты,— к Гогиным, хорошо?

Самгин не мог отказать и кивнул головою, а она, пережевывая хлеб, бормотала:

— В Миусах стреляют из пушки. Ужасно мало людей на улицах! Меня остановили тут на углу,— какие-то болваны, изругали. Мы выйдем вместе, ладно?

— Боишься? — спросил Самгин ее и себя.

— У меня маленький браунинг,— сказала она,— стрелять научилась, но патронов осталось только три. У тебя есть браунинг?

— Нет,— отдал чистить...

— Идем, Климуша, темнеет...

Да, стекла в окнах стали парчовыми. На улице Любаша, посмотрев в небо, послушав, снова заговорила:

— Не стреляют. Может быть... Ах, как мало оружия у нас! Но все-таки рабочие победят, Клим, вот увидишь! Какие люди!.. Ты Кутузова не встречал?

Подняв голову, глядя под очки Самгина, она сказала, улыбаясь так, что, тотчас помолодев, снова стала прежней, розовощекой Любашей:

— Знаешь, я с ним... мы, вероятно...

Договорить она не успела. Из-за угла вышли трое, впереди — высокий, в черном пальто, с палкой в руке; он схватил Самгина за ворот и негромко сказал:

— Обыскивайте.

Немного выше своих глаз Самгин видел черноусое толстощекое лицо, сильно изрытое оспой, и на нем уродливо маленькие черные глазки, круглые и блестящие, как пуговицы. Видел, как Любаша, крикнув, подскочила и ударила кулаком в стекло окна, разбив его.

— Держи девку,— скомандовал черноусый, встряхивая Клима.

Самгин задыхался, хрипел; ловкие руки расстегнули его пальто, пиджак, шарили по карманам, сорвали очки, и тяжелая ладонь, с размаха ударив его по уху, оглушила.

— Оружья — нет,— сказал веселый и чем-то довольный тенористый голос, а третий, хриплый, испуганно и яростно крикнул:

— Брось, подлая! Саша!

Рябой, оттолкнув Самгина, ударил его головою о стену, размахнулся палкой и еще дважды быстро ударил по руке, по плечу. Самгин упал, почти теряя сознание, но слышал выстрел и глухой возглас:

— Са-аша, бей!

Кто-то охнул, странным звуком, точно рыгая,— рябой дико выругался, пнул Самгина в бок ногою и побежал; за ним, как тень его, бросился еще кто-то.

Открыв глаза, Самгин видел сквозь туман, что к тумбе прислонился, прячась, как зверушка, серый ботик Любаши, а опираясь спиной о тумбу, сидит, держась за живот руками, прижимая к нему шапку, двигая черной валяной ногою, коротенький человек, в мохнатом пальто, с мохнатым лицом; лицо у него тряслось, вертелось кругами, он четко и грустно говорил:

— Убила, дура... Пропал...

Опрокинулся на бок и, всё прижимая одною рукой шапку к животу, схватился другою за тумбу, встал и пошел, взывая:

— Саш-ша! Василь...— И пронзительно женским голосом взвизгнул:

— Эх, господи!..

Когда он обогнул угол зеленого одноэтажного дома, дом покачнулся, из него на улицу выпали люди. Самгин снова закрыл глаза. Как вода из водосточной трубы, потекли голоса:

— Напрасно ты, Лиза, суешься...

— Молчите! До утра она полежит у нас.

— Вы ранены?

— Должна же ты знать, как теперь опасно...

— Вы можете встать?

Самгин не знал — может ли, но сказал:

— Хорошо.

Он легко, к своему удивлению, встал на ноги; пошатываясь, держась за стены, пошел прочь от людей, и ему казалось, что зеленый одноэтажный домик в четыре окна всё время двигается пред ним, преграждая ему дорогу. Не помня, как он дошел, Самгин очнулся у себя в кабинете на диване; пред ним стоял фельдшер Винокуров, отжимая полотенце в эмалированный таз.

— На что жалуетесь? — спросил он; голос его донесся издали, глухо; Самгин не ответил, соображая: «Неужели я — оглох?»

— Разрешите взглянуть — какие повреждения,— сказал фельдшер, присаживаясь на диван, и начал щупать грудь, бока; пальцы у него были нестерпимо холодные, жесткие, как железо, и острые.

— Падение или, так сказать, нападение ближних?

— Оставьте меня в покое,— попросил Самгин, но фельдшер, продолжая щупать голову, бормотал:

— Ох, уж эти ближние... Больно?

Крепко стиснув зубы, Самгин молчал,— ему хотелось ударить фельдшера ногой в живот, но тот встал, сказав:

— Как будто — всё в порядке.

— Оставьте меня,— попросил Самгин.

— Правильно,— согласился фельдшер.— Вам нужен покой. Горничную я послал за вашей супругой.

Он ушел, и комната налилась тишиной. У стены, на курительном столике горела свеча, освещая портрет Щедрина в пледе; суровое бородатое лицо сердито морщилось, двигались брови, да и всё, все вещи в комнате

бесшумно двигались, качались. Самгин чувствовал себя так, как будто он быстро бежит, а в нем всё плещется, как вода в сосуде,— плещется и, толкая изнутри, еще больше раскачивает его.

«Сомова должна была выстрелить в рябого,— соображал он.— Страшно этот, мохнатый, позвал бога, не докричавшись до людей. А рябой мог убить меня».

На диване было неудобно, жестко, болел бок, ныли кости плеча. Самгин решил перебраться в спальню, осторожно попробовал встать,— резкая боль рванула плечо, ноги подогнулись. Держась за косяк двери, он подождал, пока боль притихла, прошел в спальню, посмотрел в зеркало: левая щека отвратительно опухла, прикрыв глаз, лицо казалось пьяным и, потеряв какую-то свою черту, стало обидно похоже на лицо регистратора в окружном суде, человека, которого часто одолевали флюсы.

Пришла Настя, сказала:

— Барыня будут завтра утром.— И другим голосом добавила:

— Ой, как изуродовали вас...

И, должно быть, желая утешить, прибавила:

— Всех начали бить.

— Ванну сделайте,— сердито приказал Самгин.

Через час, сидя в теплой, ласковой воде, он вспоминал: кричала Любаша или нет? Но вспомнил только, что она разбила стекло в окне зеленого дома. Вероятно, люди из этого дома и помогли ей.

«Если б она выстрелила в рябого,— ничего бы не было. Рябой, конечно, не хулиган, не вор, а — мститель».

Мелкие мысли налетели, точно стая галок.

На другой день он проснулся рано и долго лежал в постели, куря папиросы, мечтая о поездке за границу. Боль уже не так сильна, может быть, потому, что привычна, а тишина в кухне и на улице непривычна, беспокоит. Но скоро ее начали раскачивать толчки с улицы в розовые стекла окон, и за каждым толчком следовал глухой, мощный гул, не похожий на гром. Можно было подумать, что на небо, вместо облаков, туго натяну-

ли кожу и по коже бьют, как по барабану, огромнейшим кулаком.

— «Это — очень большие пушки»,— сообразил Самгин и протестующе, вполголоса сказал: — Это — гадость!

Он соскочил на пол, едва не закричав от боли, начал одеваться, но снова лег, закутался до подбородка.

«Это безумие и трусость — стрелять из пушек, разрушать дома, город. Сотни тысяч людей не ответственны за действия десятков».

Гневные мысли возбуждали в нем странную бодрость, и бодрость удивляла его. Думать мешали выстрелы, боль в плече и боку, хотелось есть. Он звонил Насте несколько раз, прежде чем она сердито крикнула из столовой:

— Да подаю же!

Когда он вышел в столовую, Настя резала хлеб на доске буфета с такой яростью, как однажды Анфимьевна — курицу: нож был тупой, курица, не желая умирать, хрипела, билась.

«А, господь с тобой»,— крикнула Анфимьевна и отрубила курице голову.

— Где стреляют? — спросил Самгин.

— На Пресне.

Ответила Настя крикливо, лицо у нее было опухшее, глаза красные.

— Там людей убивают, а они — улицу метут... Как перед праздником, всё одно,— сказала она, уходя и громко топая каблуками.

Самгин еще в спальне слышал какой-то скрежет,— теперь, взглянув в окно, он увидал, что фельдшер Винокуров, повязав уши синим шарфом, чистит железным скребком панель, а мальчик в фуражке гимназиста сметает снег метлою в кучки; влево от них, ближе к баррикаде, работает еще кто-то. Работали так, как будто им не слышно охающих выстрелов. Но вот выстрелы прекратились, а скрежет на улице стал слышнее, и сильнее заныли кости плеча.

«Неужели — всё?»

Часы в столовой показывали полдень. Бухнуло еще два раза, но не так мощно и где-то в другом месте.

«Винокуров и вообще эти... свиньи, конечно, укажут на соседей, которые... у которых грелись рабочие».

Точно резиновый мяч, брошенный в ручей, в памяти плыл, вращаясь, клубок спутанных мыслей и слов.

«Пули щелкают, как ложкой по лбу»,— говорил Лаврушка. «Не в этот, так в другой раз»,— обещал Яков, а Любаша утверждала: «Мы победим».

У ворот своего дома стоял бывший чиновник казенной палаты Ивков, тайный ростовщик и сутяга,— стоял и смотрел в небо, как бы нюхая воздух. Ворон и галок в небе сегодня значительно больше. Ивков, указывая пальцем на баррикаду, кричит что-то и смеется,— кричит он штабс-капитану Затёсову, который наблюдает, как дворник его, сутулый старичок, прилаживает к забору оторванную доску.

«Уверены, что всё уже кончено».

Пушки молчали, но тишина казалась подозрительной, вызывала такое дергающее ощущение, точно назревал нарыв. И было непривычно, что в кухне тихо.

Самгин почти обрадовался, когда под вечер пришла румяная, оживленная Варвара. Она умеренно и необидно ужаснулась, посмотрев на его лицо, и, торопливо расспрашивая, перекрестилась.

— О боже мой... Вот ужас! Ты посылал спросить, как чувствует себя Сомова?

— Некого посылать.

— Попросил бы фельдшера. Ну, всё равно. Я сама. Ах, милый Клим... какие дни!

Вела она себя так, как будто между ними не было ссоры, и даже приласкалась к нему, нежно и порывисто, но тотчас вскочила и, быстро расхаживая по комнате, заглядывая во все углы, брезгливо морщась, забормотала:

— Боже, какой беспорядок, пыль, грязь! Впрочем, у Ряхиных — тоже...

Покраснев, щупая пальцами пуговицы кофты и некрасиво широко раскрыв зеленые глаза, она подошла к Самгину.

— У них — чёрт знает что! Все, вдруг, до того распоясались, одичали — ужас! Тебе известно, что я не сентиментальна, и эта... эта...

Передохнув, понизив голос, договорила:

— Революция мне чужда, но они — слишком! Ведь еще не известно, на чьей стороне сила, а они уже кричат: бить, расстреливать, в каторгу! Такие, знаешь... мстители! А этот Стратонов — нахал, грубиян, совершенно невозможная фигура! Бык...

Она вспотела от возбуждения, бросилась на диван и, обмахивая лицо платком, закрыла глаза. Пошловатость ее слов Самгин понимал, в искренность ее возмущения не верил, но слушал внимательно.

— А этот Прейс — помнишь, маленький еврей?

— Да, да,— сказал Клим.

— Ах, эти евреи! — грозя пальцем, воскликнула она.— Вот кому я не верю! Мстительный народ, совершенно не могут забыть о погромах! Между прочим, он все-таки замечательно страстно говорит, этот Прейс, отличный оратор! «Мы, говорит, должны быть благодарны власти за то, что она штыками охраняет нас от ярости народной»,— понимаешь? Потом, еще Тагильский, товарищ прокурора, кажется, циник и, должно быть, венерический больной, страшно надушен, но все-таки пахнет йодоформом... «Нечто среднее между клоуном и палачом»,— сказала про него сестра Ряхина, младшая, дурнушка такая...

Порывшись в кармане, она достала маленькую книжку.

— Вот, я даже записала два, три его парадокса, например: «Торжество социальной справедливости будет началом духовной смерти людей». Как тебе нравится? Или: «Начало и конец жизни — в личности, а так как личность неповторима, история — не повторяется». Тебе скучно? — вдруг спросила она.

— Нет, напротив,— ответил Клим.

Но она уже снова забегала по комнате:

— Ужасающе запущено всё! Бедная Анфимьевна! Все-таки умерла. Хотя это — лучше для нее. Она такая дряхлая стала. И упрямая. Было бы тяжело держать ее дома, а отправлять в больницу — неловко. Пойду взглянуть на нее.

Ушла. Несмотря на боль в плече, Самгин тряхнул головою, точно вытряхивая из нее пыль.

«Нет, она — невозможна! Не могу я с ней».

Варвара возвратилась через несколько минут, бледная, с болезненной гримасой на длинном лице.

— Как ее объели крысы... ух! — сказала она, опускаясь на диван.— Ты — видел? Ты — посмотри! Ужас!

Вздрогнув, она затрясла головой.

— На улице что-то такое кричат...

И, подвинувшись к Самгину, положила руку на колено его:

— Знаешь, я хочу съездить за границу. Я так устала, Клим, так устала!

— Неплохая мысль,— сказал он, прислушиваясь и думая: «Какая она все-таки жалкая! И — лживая. Нежничает, потому что за границу едет, наверное, с любовником».

— Я уже немолода,— созналась Варвара, вздохнув.

— Подожди-ка!

Самгин встал, подошел к окну, по улице шли, вразброд, солдаты; передний что-то кричал, размахивая ружьем. Самгин вслушался — и понял:

— Закрывай двери, ворота, форточки, эй, вы! Закрывай — стрелять будем!

Клим отодвинулся за косяк. Солдат было человек двадцать, среди них шли тесной группой пожарные, трое — черные, в касках, человек десять серых — в фуражках, с топорами за поясом. Ехала зеленая телега, мотали головами толстые лошади.

— Куда они идут? — шёпотом спросила Варвара, прижимаясь к Самгину; он посторонился, глядя, как пожарные, сняв с телеги ломá, пошли на баррикаду. Застучали частые удары, затрещало, заскрипело дерево.

— Ах, вот что! — вскричала Варвара.

Самгин видел, как отскакивали куски льда, обнажая остов баррикады, как двое пожарных, отломив спинку дивана, начали вырывать из нее мочальную набивку, бросая комки ее третьему, а он, стоя на коленях, зажигал спички о рукав куртки; спички гасли, но вот одна из них расцвела, пожарный сунул ее в мочало, и быстро, кудряво побежали во все стороны хитрень-

кие огоньки, исчезли и вдруг собрались в красный султан; тогда один пожарный поднял над огнем бочку, вытряхнул из нее солому, щепки; густо заклубился серый дым,— пожарный поставил в него бочку, дым стал еще более густ, и затем из бочки взметнулось густо-красное пламя. На улице стало весело и шумно, дом напротив разрумянился, помолодел, пожарные и солдаты тоже помолодели, сделались тоньше, стройней. Залоснились, точно маслом облитые, бронзовые кони с красными глазами. Удивительно легко выламывали из ледяного холма и бросали в огонь кресло, сундук, какую-то дверь, сани извозчика, большой отрезок телеграфного столба. Человек пять солдат, передав винтовки товарищам, тоже ломали и дробили отжившие вещи,— остальные солдаты подвигались всё ближе к огню; в воздухе, окрашенном в два цвета, дымно-синеватый и багряный, штыки блестели, точно удлиненные огни свеч, и так же струились вверх. Некоторые солдаты держали в руках по два ружья,— у одного красноватые штыки торчали как будто из головы, а другой, очень крупный, прыгал перед огнем, размахивая руками, и кричал.

Пожарные в касках и черных куртках стояли у ворот дома Винокурова, не принимая участия в работе; их медные головы точно плавились, и было что-то очень важное в черных неподвижных фигурах, с головами римских легионеров.

— Красиво,— тихо отметил Самгин.

Варвара, толкнув его плечом, спросила:

— Да?

И, тотчас отшатнувшись, оскорбленно сказала:

— С подоконника течет,— фу!

Самгин отошел прочь, усмехаясь, думая, что вот она часто упрекала его в равнодушии ко всему красивому, а сама не видит, как великолепна эта картина. Он чувствовал себя растроганным, он как будто жалел баррикаду и в то же время был благодарен кому-то за что-то. Прошел в кабинет к себе, там тоже долго стоял у окна, бездумно глядя, как горит костер, а вокруг него и над ним сгущается вечерний сумрак, сливаясь с тяжелым, серым дымом, как из-под огня по мостовой плывут черные, точно деготь, ручьи. Костер стал гореть не

очень ярко; тогда пожарные, входя во дворы, приносили оттуда поленья дров, подкладывали их в огонь, на минуту дым становился туще, а затем огонь яростно взрывал его, и отблески пламени заставляли дома дрожать, ежиться. Потом дома потемнели, застыли раскаленные штыки и каски, высокий пожарный разбежался и перепрыгнул через груду углей в темноту.

С утра равномерно начали стрелять пушки. Удары казались еще более мощными, точно в мерзлую землю вгоняли чугунной бабой с копра огромную сваю...

«Сомнительный способ укрепления власти царя»,— весьма спокойно подумал Самгин, одеваясь, и сам удивился тому, что думает спокойно. В столовой энергично стучала посудой Варвара.

— Невероятно! — воскликнула она встречу ему.— Чёрт знает что! Перебита масса посуды.

В белом платке на голове, в переднике, с измятым лицом, она стала похожа на горничную.

— Ах, Анфимьевна,— вздыхала она, убегая в кухню, возвращаясь.

Она точно не слышала испуганного нытья стекол в окнах, толчков воздуха в стены, приглушенных, тяжелых вздохов в трубе печи. С необыкновенной поспешностью, как бы ожидая знатных и придирчивых гостей, она стирала пыль, считала посуду, зачем-то щупала мебель. Самгин подумал, что, может быть, в этой шумной деятельности она прячет сознание своей вины перед ним. Но о ее вине и вообще о ней не хотелось думать,— он совершенно ясно представлял себе тысячи хозяек, которые, наверное, вот так же суетятся сегодня.

— Настасьи нет и нет!— возмущалась Варвара.— Рассчитаю. Почему ты отпустил этого болвана, дворника? У нас, Клим, неправильное отношение к прислуге, мы позволяем ей фамильярничать и распускаться. Я — не против демократизма, но все-таки необходимо, чтоб люди чувствовали над собой властную и крепкую руку...

«И это сегодня говорят тысячи»,— отметил Самгин, поглаживая больное плечо.

К вечеру она ухитрилась найти какого-то старичка,

который взялся устроить похороны Анфимьевны. Старичок был неестественно живенький, легкий, с розовой остренькой мордочкой, в рамке седой, аккуратно подстриженной бородки, с мышиными глазками и птичьим носом. Руки его разлетались во все стороны, всё трогали, щупали: двери, стены, сани, сбрую старой, унылой лошади. Старичок казался загримированным подростком, было в нем нечто отталкивающее, фальшивое.

— Из пушек уговаривают,— вопросительно сказал он Самгину фразу, как будто уже знакомую,— сказал и подмигнул в небо, как будто стреляли оттуда.

Пушки били особенно упрямо. Казалось, что бухающие удары распространяют в туманном воздухе гнилой запах, точно лопались огромнейшие протухшие яйца.

— Ты проводи ее до церкви,— попросила Варвара, глядя на широкий гроб в санях, отирая щеки платком.

— Не думаю, чтоб она в этом нуждалась,— пробормотал он и пошел.

Варвара взяла его под руку; он видел слезы на ее глазах, видел, что она шевелит губами, покусывая их, и не верил ей. Старичок шел сбоку саней, поглаживал желтый больничный гроб синей ладонью и говорил извозчику:

— Все умрем, дядя... как птицы!

Сзади Самгиных шагал фельдшер Винокуров, он раза два напомнил себе вслух:

— Справедливая была старуха... Замечательная!

Старичок остановился, подождал, когда фельдшер дошел до него, и заговорил торопливо, вполголоса, шагая мелкими шагами цыпленка:

— Что ты будешь делать? Не хочет народ ничего, не желает! Сам царь поклонился ему, дескать — прости, войну действительно проиграл я мелкой нации,— стыжусь! А народ не сочувствует...

— Вы кто такой? — строго спросил фельдшер.

— Я? Церковный сторож. А что?

— Невежественно говоришь, вот что! — басом ответил фельдшер.

— Ну, все-таки я говорю — верно,— сказал старичок, размахивая руками, и повторил фразу, которая, видимо, нравилась ему:

— Вот — из пушек уговаривают народ,— живи смирно! Было это когда-нибудь в Москве? Чтобы из пушек в Москве, где цари венчаются, а? — изумленно воскликнул он, взмахнув рукою с шапкой в ней, и, помолчав, сказал: — Это надо понять!

Самгин обернулся, взглянул в розовое личико,— оно сияло восторгом.

— Извините,— сказал старичок, кивнув желтым черепом в клочьях волос, похожих на вату.— Болтаю, конечно, от испуга души.

— Дальше я не пойду,— шепнул Самгин, дойдя до угла, за которым его побили. Варвара пошла дальше, а он остановился, послушал, как скрипят полозья саней по обнаженным камням, подумал, что надо бы зайти в зеленый домик, справиться о Любаше, но пошел домой.

«Варвара спросит».

Пушки замолчали. Серенькое небо украсилось двумя заревами, одно — там, где спускалось солнце, другое — в стороне Пресни. Как всегда под вечер, кружилась стая галок и ворон. Из переулка вырвалась лошадь,— в санках сидел согнувшись Лютов.

— Стой! — взвизгнул он и раньше, чем кучер остановил коня, легко выпрыгнул на мостовую, подбежал к Самгину и окутал его ноги полою распахнувшейся шубы.

— Однако как тебя перевернуло! — воскликнул он, очень странно, как бы даже с уважением.— А рука — что?

Выслушав краткий рассказ Клима, он замолчал и только в прихожей, сбросив шубу, спросил:

— Ловко бьем домашних японцев?

Самгин тоже спросил:

— Это ирония или торжество?

Ему приятно было видеть Лютова, но он не хотел, чтоб Лютов понял это, да и сам не понимал: почему приятно? А Лютов, потирая руки, говорил:

— Сваи бьем в российское болото, мостишко строим для нового пути...

Он казался необычно солидным, даже благообразным — в строгом сюртуке, с бриллиантом в черном гал-

стуке, подстриженный, приглаженный. Даже суетливые глаза его стали спокойнее и как будто больше.

— Сегодня я слышал... хорошую фразу: «Из пушек уговаривают»,— сказал Самгин.

— Неплохо! — согласился Лютов, пристально рассматривая его.

— Ты что так... смотришь?

— Не узнаю,— ответил Лютов и, шумно вздохнув, поправился, сел покрепче на стуле.— Я, брат, из градоначальства, вызывался по делу об устройстве в доме моем приемного покоя для битых, раненых. Это, разумеется, Алина, она, брат...

Лютов надел на кулак бобровую шапку свою и стал вертеть ее.

— Там у меня действительно чёрт знает что! Анархиста какого-то Алина приобрела... Монахов, Иноков, такой зверь,— не ходи мимо!

— Если — Иноков, я его знаю,— равнодушно сказал Самгин.

— Старый знакомый ее. Потом, этот еще, Судаков,— его тоже подстрелили.

Он снова вздохнул, мотая головой.

— Ф-фа!

— Ну, что же в градоначальстве? — спросил Самгин.

— Спрашивают: «Устроили?» — «Устроил».— «Зачем же?» — «Чтобы пакости ваши прикрывать...»

«Вероятно — врет»,— подумал Самгин.

— Поссорились немножко. Взяли с меня подписку о невыезде, а я хотел Алину за границу сплавить.

Вдруг, как будто над крышей, грохнул выстрел из пушки,— грохнул до того сильно, что оба подскочили, а Лютов, сморщив лицо, уронил шапку на пол и крикнул:

— Эт-та сволочь! Разорвало ее, что ли?

Выстрел повторился. Оба замолчали, ожидая третьего. Самгин раскуривал папиросу, чувствуя, что в нем что-то ноет, так же как стекла в окне. Молчали минуту, две. Лютов надел шапку на колено и продолжал, потише, озабоченно:

— Там, в градоначальстве, есть подлец, который от-

носится ко мне честно, дает кое-какие сведения, всегда верные. Так вот, про тебя известно, что ты баррикады строил...

Он замолчал, вопросительно глядя на Самгина, а Клим, закрыв лицо свое дымом, сказал:

— Чепуха.

— Нет, отнесись к этому серьезно! — посоветовал Лютов.— Тут не церемонятся! К доктору,— забыл фамилию,— Виноградову, кажется,— пришли с обыском, и частный пристав застрелил его. В затылок. Н-да. И похоже, что Костю Макарова зацапали,— он там у нас чинил людей и жил у нас, но вот нет его, третьи сутки. Фабриканта мебели Шмита — знал?

— Встречал.

— Арестовали, расстреляв на глазах его человек двадцать рабочих. Вот как-с! В Коломне — чёрт знает что было, в Люберцах — знаешь? На улицах бьют, как мышей.

Лютов говорил спокойно, каким-то размышляющим тоном и, мигая, всё присматривался к Самгину, чем очень смущал его, заставляя ожидать какой-то нелепой выходки. Так и случилось. Лицо Лютова вдруг вспыхнуло красными пятнами, он хлопнул шапкой о пол и завыл:

— Эт-та безумная, трусливая свинья! К-кочегар... людями шурует, а?

Он начал цинически, бешено ругаться, пристукивая кулаком по ручке дивана, но делал он всё это так, точно бесилась только половина его, потому что Самгин видел: мигая одним глазом, другим Лютов смотрит на него.

— Не было у нас такого подлого царствования! — визжал и шипел он.— Иван Грозный, Петр — у них цели... цель была, а — этот? Этот для чего? Бездарное животное...

— Кричать — бесполезно,— пробормотал Самгин, когда Лютов захлебнулся словами.

— И — аминь! — крикнул Лютов вскочив, надевая шапку.— А ты — удирай! Об этом тебя и Дуняша просит. Уезжай, брат! Пришибут.

Он схватил руку Самгина, замолчал, дергая ее, заг-

лядывая под очки, и вдруг тихонько, ехидно спросил:

— А — вдруг пушки-то у них отняли? Вдруг прохоровские рабочие взяли верх, а? Что будет?

Самгин усмехнулся, говоря:

— Не можешь ты без фокусов!

— Нет, вообрази, что будет, а? — шептал Лютов, надевая шубу.

И, стиснув очень горячей рукою руку Самгина, исчез.

Клим остался с таким ощущением, точно он не мог понять — кипятком или холодной водою облили его? Шагая по комнате, он пытался свести все слова, все крики Лютова к одной фразе. Это — не удавалось, хотя слова «удирай», «уезжай» звучали убедительнее всех других. Он встал у окна, прислонясь лбом к холодному стеклу. На улице было пустынно, только какая-то женщина, согнувшись, ходила по черному кругу на месте костра, собирая угли в корзинку.

Было особенно тихо. Давно уже Самгин не слыхал такой кроткой тишины. И, без слов, он подумал:

«Должно быть — кончено...»

Тишина росла, углублялась, вызывая неприятное ощущение,— точно опускался пол, уходя из-под ног. В кармане жилета замедленно щелкали часы, из кухни доносился острый запах соленой рыбы. Самгин открыл форточку, и, вместе с холодом, в комнату влетела воющая команда:

— Смирно-о!

В тусклом воздухе закачались ледяные сосульки штыков, к мостовой приросла группа солдат; на них не торопясь двигались маленькие, сердитые лошадки казаков; в середине шагал, высоко поднимая передние ноги, оскалив зубы, тяжелый рыжий конь,— на спине его торжественно возвышался толстый усатый воин с красным, туго надутым лицом, с орденами на груди; в кулаке, обтянутом белой перчаткой, он держал нагайку,— держал ее на высоте груди, как священники держат крест. Он проехал, не глядя на солдат, рассеянных по улице,— за ним, подпрыгивая в седлах, снова потянулись казаки; один из последних, бородатый, по-

качнулся в седле, выхватил из-под мышки солдата узелок, и узелок превратился в толстую змею мехового боа; солдат взмахнул винтовкой, но бородатый казак и еще двое заставили лошадей своих прыгать, вертеться,— солдаты рассыпались, прижались к стенам домов. Тяжелыми прыжками подскакал рыжий конь и, еще более оскалив зубы, заржал:

— Эт-то что за ракальи? Кто командует?

Самгин, выглядывая из-за драпировки, даже усмехнулся,— так похоже было, что спрашивает конь, а не всадник.

В столовой закричала Варвара:

— Мерзавцы! И это — защитники!

Самгин видел в дверь, как она бегает по столовой, сбрасывая с плеч шубку, срывая шапочку с головы, натыкаясь на стулья, как слепая.

— Ты — понимаешь? Схватили, обыскали... ты представить не можешь — как! Отняли муфту, боа... Ведь это — грабеж!

Она с разбега бросилась на диван и, рыдая, стала топать ногами, удивительно часто. Самгин искоса взглянул на расстегнутый ворот ее кофты и, вздохнув, пошел за водой.

Удивительно тихо и медленно прошло несколько пустых дней. Самгин имел основания думать, что им уже испытаны все тревоги и что он имеет право на отдых, необходимый ему. Но оказалось, что отдых не так необходим и что есть еще тревога, не испытанная им и обидно раздражающая его своей новизною. Эта новая тревога требовала общения с людями, требовала событий, но люди не являлись, выходить из дома Самгин опасался, да и неловко было гулять с разбитым лицом. События, конечно, совершались, по ночам и даже днем изредка хлопали выстрелы винтовок и револьверов, но было ясно, что это ставятся последние точки. Проезжали мимо окон патрули казаков, проходили небольшие отряды давно не виданных полицейских, сдержанно шумела Варвара, поглядывая на Самгина взглядом, который требовал чего-то.

— Это — не революция, а — мальчишество,— гово-

рила она кому-то в столовой.— С пистолетами против пушек!

Самгин чувствовал, что она хочет спорить, ссориться, и молчал, сидя в кабинете.

Но всё это не заполняло пустоту медленных дней и не могло удовлетворить привычку волноваться, утомительную, но настойчивую привычку. Газеты ворчали что-то неопределенное, старчески брюзгливое; газеты ничего не подсказывали, да и мало их было. Место Анфимьевны заняла тощая, плоскогрудая женщина неопределенного возраста; молчаливая, как тюремный надзиратель, она двигалась деревянно, неприятно прямо смотрела в лицо,— глаза у нее мутновато-стеклянные; когда Варвара приказывала ей что-нибудь, она, с явным усилием размыкая тонкие, всегда плотно сжатые губы, отвечала двумя словами:

— Слушаю. Понимаю.

Самгин с недоумением, с иронией над собою думал, что ему приятно было бы снова видеть в доме и на улице защитников баррикады, слышать четкий, мягкий голос товарища Якова. Не хватало Анфимьевны, и неловко, со стыдом вспоминалось, что доброе лицо ее объели крысы. Вообще — не хватало людей, даже тех, которые раньше казались неприятными, лишними. Дни и ночи по улице, по крышам рыскал не сильный, но неотвязный ветер и воздвигал между домами и людями стены отчуждения; стены были невидимы, но чувствовались в том, как молчаливы стали обыватели, как подозрительно и сумрачно осматривали друг друга и как быстро, при встречах, отскакивали в разные стороны. Раза два, вечерами, Самгин выходил подышать на улицу, и ему показалось, что знакомые обыватели раскланиваются с ним не все, не так почтительно, как раньше, и смотрят на него с такой неприязнью, как будто он жестоко обыграл их в преферанс.

«Если меня арестуют, они, разумеется, не станут молчать»,— соображал Самгин и решил, что лучше не попадаться на глаза этим людям.

Он отказался от этих прогулок и потому, что обыватели с каким-то особенным усердием подметали улицу, скребли железными лопатами панели. Было ясно,

что и Варвару терзает тоска. Варвара целые дни возилась в чуланах, в сарае, топала на чердаке, а за обедом, за чаем говорила, сквозь зубы, жалобно:

— Устроили жизнь! На улицу выйти страшно. Скоро праздники, святки,— воображаю, как весело будет... Если б ты знал, какую анархию развела Анфимьевна в хозяйстве...

Самгин молчал, а когда молчать становилось невежливо, неудобно,— соглашался:

— Да, она вела себя странно...

Он чувствовал, что пустота дней как бы просасывается в него, физически раздувает, делает мысли неуклюжими. С утра, после чая, он запирался в кабинете, пытаясь уложить в простые слова всё пережитое им за эти два месяца. И с досадой убеждался, что слова не показывают ему того, что он хотел бы видеть, не показывают, почему старообразный солдат, честно исполняя свой долг, так же антипатичен, как дворник Николай, а вот товарищ Яков, Калитин не возбуждают антипатии?

«А — должны бы, они тоже убивали...»

Однажды, зачеркивая написанное, он услышал в столовой чужие голоса; протирая очки платком, он вышел и увидал на диване Брагина рядом с Варварой, а у печки стоял, гладя изразцы ладонями, высокий человек в длинном сюртуке и валенках.

— Депсамес,— сказал он, протянув Самгину красную руку.

Обыкновенно люди такого роста говорят басом, а этот говорил почти детским дискантом. На голове у него — встрепанная шапка полуседых волос, левая сторона лица измята глубоким шрамом, шрам оттянул нижнее веко, и от этого левый глаз казался больше правого. Со щек волнисто спускалась двумя прядями седая борода, почти обнажая подбородок и толстую нижнюю губу. Назвав свою фамилию, он пристально, разномерными глазами посмотрел на Клима и снова начал гладить изразцы. Глаза — черные и очень блестящие.

Брагин возмущенно рассказывал Варваре, как его и Депсамеса дважды остановили, обыскали; она тоже возмущалась:

— Ужасные дни! Это непонятное двоедушие власти...

— Тогда я предложил Захару Борисовичу зайти к вам...

Депсамес покачнулся и заговорил с акцентом еврея из анекдота:

— Так это я сказал — зайти, потому что я уже достаточно битый,— благодару вам!

Горбоносое, матово-бледное лицо его покраснело, и, склонив голову к правому плечу, он с добродушной иронией спросил Клима:

— Долго еще будут у вас эти драчливые дни? Не знаете? Ну, а кто знает?

Пальцы его быстро перебирали пряди бороды.

— Ой, вы очень любите погромы!

Помогая Варваре носить посуду и бутылки из буфета на стол, Брагин докторально заметил, что интеллигенция не устраивает погромов.

— Вы говорите — нет? А ваши нигилисты, ваши писаревцы не устраивали погрома Пушкину? Это же всё равно, что плевать на солнце!

— Захар Борисович преувеличенно восхищается Пушкиным,— сообщил Брагин, на этот раз смущенно.

— Ну да, я — преувеличенный! — согласился Депсамес, махнув на Брагина рукой.— Пусть будет так! Но я вам говорю, что мыши любят русскую литературу больше, чем вы. А вы любите пожары, ледоходы, вьюги, вы бежите на каждую улицу, где есть скандал. Это — неверно? Это — верно! Вам нужно, чтобы жить, какое-нибудь смутное время. Вы — самый страшный народ на земле...

Самгину казалось, что этот человек нарочно говорит с резким акцентом и что в нем действительно есть нечто преувеличенное.

— Вы смотрите в театре босяков и думаете найти золото в грязи, а там — нет золота, там — колчедан, из него делают серную кислоту, чтоб ревнивые женщины брызгали ею в глаза своих спорниц...

— Соперниц,— поправил Брагин.

— А ваши большевики, это — не погром, нет?

Он вдруг рассмеялся, негромким, мягким смехом, заставив Самгина подумать:

«Смеяться он должен бы визгливо».

И то, что смех Депсамеса не совпадал с его тонким голосом, усилило недоверие Самгина к нему. А тот подмигнул правым глазом и, улыбаясь, продолжал:

— Большевики — это люди, которые желают бежать на сто верст впереди истории,— так разумные люди не побегут за ними. Что такое разумные? Это люди, которые не хотят революции, они живут для себя, а никто не хочет революции для себя. Ну, а когда уже все-таки нужно сделать немножко революции, он дает немножко денег и говорит: «Пожалуйста, сделайте мне революцию... на сорок пять рублей!»

Прищурив глаза, он засмеялся неожиданно мягко, и это снова не шло к нему.

— Вы — социалист? — спросил Самгин.

— Я — еврей! — сказал Депсамес.— По Ренану, все евреи — социалисты. Ну, это не очень комплимент, потому что и все люди — социалисты; это их портит не больше, чем всё другое.

— Захар Борисович, кажется,— сионист,— вставил Брагин.

— Благодару вам! — откликнулся Депсамес, и было уже совершенно ясно, что он нарочито исказил слова,— и еще раз это не согласовалось с его изуродованным лицом, седыми волосами.— Господин Брагин знает сионизм как милую шутку: сионизм — это когда один еврей посылает другого еврея в Палестину на деньги третьего еврея. Многие любят шутить больше, чем думать...

Варвара пригласила к столу. Сидя напротив еврея, Самгин вспомнил слова Тагильского: «Одно из самых отвратительных явлений нашей жизни — еврей, зараженный русским нигилизмом». Этот — не нигилист. И — не Прейс...

Евреи были антипатичны Самгину, но, зная, что эта антипатия — постыдна, он, как многие, скрывал ее в системе фраз, названной филосемитизмом. Он чувствовал еврея человеком более чужим, чем немец или финн, и подозревал в каждом особенно изощренную про-

ницательность, которая позволяет еврею видеть явные и тайные недостатки его, русского, более тонко и ясно, чем это видят люди других рас. Понимая, как трагична судьба еврейства в России, он подозревал, что психика еврея должна быть заражена и обременена чувством органической вражды к русскому, желанием мести за унижения и страдания. Он ждал, что болтливый, тонкоголосый крикун обнаружит именно это чувство.

— Вы хотели немножко революции? Ну, так вы будете иметь очень много революции, когда поставите мужики на ноги и они побегут до самых крайних крайностей и сломят вам голову и себе тоже.

— Не верю пророчествам,— пробормотал Брагин, а Варвара, поощрительно кивая головой, сказала:

— Нет, это очень, очень верно!

Депсамес обратился к ней; в одной руке у него сверкала вилка, в другой он держал кусок хлеба,— давно уже держал его, не находя времени съесть.

— Каждый еврей немножко пророк, потому что он противник крови, но понимает неизбежность борьбы и крови, да!

Самгин видел, что еврей хочет говорить отечески ласково, уже без иронии,— это видно было по мягкому черному блеску грустных глаз,— но тонкий голос, не поддаваясь чувству, резал уши.

— И очень просто быть пророками в двуглавом вашем государстве. Вы не замечаете, что у вашего орла огромная мужицкая голова смотрит направо, а налево смотрит только маленькая голова революционеров? Ну, так когда вы свернете голову мужика налево, так вы увидите, каким он сделает себя царем над вами!

«Всесветные умники,— думал Самгин, слушая речи, досадно совпадавшие с некоторыми его мыслями.— Критикуют, поучают, по праву чужих... Гейне, Марксы...»

Наткнувшись на слова «право чужих», Самгин перестал слушать.

— Если общество не ценит личность, оно вооружает ее правом враждебного отношения к обществу...

Два слова, развернутые в десять, обнаружили скрытый в них анархизм. Это было неприятно. Депсамес,

размахивая рукой с куском хлеба в ней, говорил Варваре:

— Евреи — это люди, которые работают на всех. Ротшильд, как и Маркс, работает на всех — нет? Но разве Ротшильд, как дворник, не сметает деньги с улицы, в кучу, чтоб они не пылили в глаза? И вы думаете, что если б не было Ротшильда, так все-таки был бы Маркс,— вы это думаете?

Варвара нашла, что это очень остроумно, и засмеялась, а Брагин смотрел на Самгина, смущенно улыбаясь, беспокойно раскачивая на стуле длинное тело свое; он, кажется, даже подмигивал и наконец спросил:

— Можно вас на два слова?

Перешли в кабинет, и там Брагин вполголоса торопливо заговорил:

— Вы простите, что я привел его,— мне нужно было видеть вас, а он боится ходить один. Он, в сущности, весьма интересный и милый человек, но — видите — говорит! На все темы и сколько угодно...

Самгин давно уже не видел Брагина таким самодовольным, причесанным и блестящим.

— Я зашел предупредить вас,— вам следовало бы уехать из Москвы. Это — между нами, я не хочу тревожить Варвару Кирилловну, но — в некоторых кругах вы пользуетесь репутацией...

Он замолчал, как бы ожидая, что Самгин спросит его о чем-то; но Клим, раскуривая папиросу, не спрашивал. Тогда Брагин продолжал, еще более тихо:

— Депсамес — не ошибается: социалисты сыграли в руку крайним правым — это факт!

Депсамес кричал в столовой:

— Ну, так это будет — на одной ноге новый сапог, на другой — старый лапоть...

— Вы не можете себе представить, какое настроение создалось в Москве,— шептал Брагин.— Москва и баррикады... это хоть кого возмутит! Даже простой народ — например, извозчики...

— Я — понимаю,— сказал Самгин, улыбаясь.— Баррикады должны особенно возмущать извозчиков...

— Нет, отнеситесь серьезно,— просил тот, раскачиваясь на ногах.— Люди, которые знают вас, например

Ряхин, Тагильский, Прейс, особенно — Стратонов,— очень сильная личность! —и — поверьте — с большим будущим, политик...

— От них надобно прятаться? — спросил Клим, глядя в глупое и вдруг покрасневшее лицо Брагина,— вздернув плечи, Брагин обиженно и погромче сказал:

— Я счел моим долгом, по симпатии, по уважению...

— Искренно благодарю вас,— торопливо проговорил Самгин, пожимая его руку, а Брагин, схватив его ладонь двумя руками и сильно встряхивая все три, взволнованно шептал:

— Вы представить не можете, как трудно в наши дни жить человеку, который всем хочет только добра... Поверьте,— добавил он еще тише,— они догадываются о вашем значении...

Кивая маленькой головкой ужа, он выскользнул в столовую, а Самгин, глядя в его длинную, гибкую спину, подумал:

«Не знает, с кем идти, кому служить».

Это напомнило Макарова и неприятную беседу с ним. В столовой мягко смеялся Денсамес, а Варвара с увлечением повторяла:

— Удивительно верно, совершенно верно!

Самгин посмотрел в окно,— в небе, проломленном колокольнями церквей, пылало зарево заката и неистово метались птицы, вышивая черным по красному запутанный узор. Самгин, глядя на птиц, пытался составить из их суеты слова неоспоримых фраз. Улицу перешла Варвара под руку с Брагиным, сзади шагал странный еврей.

Когда стемнело, явился Алексей Гогин, в полушубке и валенках; расстегивая полушубок, он проворчал:

— Какая антипатичная прислуга у вас, глазки точно у филера.

Простуженно кашляя, он сел к столу и спросил:

— Нет ли водки?

А выпив рюмку, круто посолил кусок хлеба и налил еще.

«Как в трактире»,— отметил Самгин.

Пережевывая хлеб, Гогин заговорил:

— Просим вас, батенька, съездить в Русьгород и получить деньги там, с одной тети,— к слову скажу: замечательная тетя! Редкой красоты, да и не глупа. Деньги лежат в депозите суда, и есть тут какая-то юридическая канитель. Можете?

— А — подробнее? — спросил Самгин; Алексей развел руками:

— Подробнее — ничего не знаю. Фамилия дамы — Зотова, вот ее адрес. Она, кажется, родня или приятельница Степана Кутузова.

«Хороший случай уехать отсюда,— подумал Самгин.— И пусть это будет последнее поручение».

— Правда, что когда на вас хулиганы напали — Любаша ухлопала одного? — спросил Гогин, когда Клим сказал ему, что едет.

Было неприятно вспомнить о нападении.

— Да, она стреляла,— сухо ответил Самгин.

— Убила?

— Он встал и пошел. А я забыл взять револьвер.

Сказав это, Самгин вспомнил, что револьвер у него был взят Яковом, и рассердился на себя: зачем сказал?

— Ну, вот и поплатились за это,— равнодушно выговорил Гогин.— Любаша — у нас, и в полном расстройстве чувств,— устало продолжал он.— У нее рука переломлена, и вообще она помята. Пришла к нам ночью, совершенно угнетенная своим подвигом, и до сей поры городит чепуху о праве убивать сознательных и бессознательных. Выходит так, что ее, Любашу, убить можно, она — действует сознательно,— сама же она, как таковая, не имеет права убивать нападающую сволочь. Хороший она товарищ, ценный работник, но не может изжить народнической закваски, христианских чувств. Она там с моей сестрицей такие диспуты ведет,— беги вон! Вообще — балаган, как говорит Кутузов.

Он встал, подошел к зеркалу; высунув язык, посмотрел на него и проворчал:

— Заболеваю, чёрт возьми! Температура, башка трещит. Вдруг свалюсь, а?

Он снова подошел к столу, выпил еще рюмку водки и стал застегивать крючки полушубка. Клим спросил:

— Что же теперь будет делать партия?

— То же самое, конечно,— удивленно сказал Гогин.— Московское выступление рабочих показало, что мелкий обыватель идет за силой,— как и следовало ожидать. Пролетариат должен готовиться к новому восстанию. Нужно вооружаться, усилить пропаганду в войсках. Нужны деньги и — оружие, оружие!

Он стал перечислять боевые выступления рабочих в провинции, факты террора, схватки с черной сотней, взрывы аграрного движения; он говорил обо всем этом, как бы напоминая себе самому, и тихонько постукивал кулаком по столу, ставя точки. Самгин хотел спросить: к чему приведет всё это? Но вдруг с полной ясностью почувствовал, что спросил бы равнодушно, только по обязанности здравомыслящего человека. Каких-либо иных оснований для этого вопроса он не находил в себе.

— По форме это, если хотите,— немножко анархия, а по существу — воспитание революционеров, что и требуется. Денег надобно, денег на оружие, вот что,— повторил он, вздыхая, и ушел, а Самгин, проводив его, начал шагать по комнате, посматривая в окна, спрашивая себя:

«Неужели Гогиными, Кутузовыми двигает только власть заученной ими теории? Нет, волей их владеет нечто — явно противоречащее их убеждению в непоколебимости классовой психики. Рабочих — можно понять, Кутузовы — непонятны...»

Фонарь напротив починили, он горел ярко, освещая дом, знакомый до мельчайшей трещины в штукатурке фасада.

«В таких домах живут миллионы людей, готовых подчиниться всякой силе. Этим исчерпывается вся их ценность...»

Через день он снова попал в полосу необыкновенных событий. Началось с того, что ночью в вагоне он сильнейшим толчком был сброшен с дивана, а когда ошеломленно вскочил на ноги, кто-то хрипло крикнул в лицо ему:

— Что? Крушение? — и, толчком плеча снова опрокинув его на диван, заорал:

— Спички... чёрт! Эй, вы, кто тут? Спички!

Вагон встряхивало, качало, шипел паровоз, кричали люди; невидимый в темноте сосед Клима сорвал занавеску с окна, обнажив светло-голубой квадрат неба и две звезды на нем; Самгин зажег спичку и увидел пред собою широкую спину, мясистую шею, жирный затылок; обладатель этих достоинств, прижав лоб свой к стеклу, говорил вызывающим тоном:

— Ну, что же? Стоим у семафора. Ну?

Дверь купе открылась, кондуктор осветил его фонарем, спрашивая:

— Всё благополучно? Никто не ранен?

— М-морды,— сказал человек, выхватив фонарь из рук его, осветил Самгина, несколько секунд пристально посмотрел в лицо его, потом громко отхаркнул, плюнул под столик и сообщил:

— Теперь — не уснуть!

Слабенький и беспокойный огонь фонаря освещал толстое темное лицо с круглыми глазами ночной птицы; под широким, тяжелым носом топырились густые серые усы,— правильно круглый череп густо зарос енотовой шерстью. Человек этот сидел, упираясь руками в диван, спиною в стенку, смотрел в потолок и ритмически сопел носом. На нем — толстая шерстяная фуфайка, шаровары с кантом, на ногах полосатые носки; в углу купе висела серая шинель, сюртук, портупея, офицерская сабля, револьвер и фляжка, оплетенная соломой.

— Какого же дьявола стоим? — спросил он, не шевелясь.— Живы — значит надо ехать дальше. Вы бы сходили, узнали...

— Удобнее сделать это вам, военному,— сказал Самгин.

— Военному! — сердито повторил офицер.— Мне сапоги одевать надо, а у меня нога болит. Надо быть вежливым...

Он снял фляжку, отвинтил пробку и, глотнув чего-то, тяжко вздохнул. Опасаясь, что офицер наговорит ему грубостей, Самгин быстро оделся и вышел из вагона в голубой холод. Ночь была прозрачно светлая,— очень высоко, почти в зените бедного звездами неба, холодно и ярко блестела необыкновенно маленькая

луна, и всё вокруг было невиданно: плотная стена деревьев, вылепленных из снега, толпа мелких, черных людей у паровоза, люди покрупнее тяжело прыгали из вагона в снег, а вдали — мохнатые огоньки станции, похожие на золотых пауков.

Самгин пошел к паровозу,— его обгоняли пассажиры, пробежало человек пять веселых солдат; в центре толпы у паровоза стоял высокий жандарм в очках и двое солдат с винтовками, с тендера наклонился к ним машинист в папахе. Говорили тихо, и хотя слова звучали отчетливо, но Самгин почувствовал, что все чего-то боятся.

— Дотащишь до станции? — спросил жандарм.

— Нельзя,— сказал машинист.

Кто-то вздохнул.

— Черти! Убьют — и не охнешь.

Самгин тихонько спросил солдата:

— Что случилось?

— В паровозе что-то,— неохотно ответил солдат, но другой возразил ему:

— Да нет! Рельса на стрелке лопнула.

Коренастый солдат вывернулся из-за спины Самгина, заглянул в лицо ему и сказал довольно громко:

— Это нас, усмиряющих, хотели сковырнуть некоторые злодеи...

И, сделав паузу, он прибавил:

— В очках.

Первый солдат миролюбиво вмешался:

— Ничего неизвестно.

Но коренастый не уступал:

— Жандарм сказал: покушение...

Коренастый солдат говорил всё громче, голос у него немножко гнусавил и звучал едко.

«Такие голоса подстрекают на скандалы»,— решил Самгин и пошел прочь, к станции, по тропе, рядом с рельсами, под навесом елей, тяжело нагруженных снегом.

Впереди тяжело шагал человек в шубе с лисьим воротником, в меховой шапке с наушниками, по шпалам тоже шли пассажиры; человек в шапке сдержанно говорил:

— Мало у нас порядка осталось.

— Смятение умов,— поддержал его голос за спиною Самгина.

— Никто никого не боится,— сказал человек в шубе, обернулся, взглянул в лицо Клима и, уступая ему дорогу, перешагнул на шпалы.

У паровоза сердито кричали:

— Где у вас командир?

— Не твое дело. Ты нам не начальство.

— Смотри у меня!

Гнусавый голос взвизгнул:

— А что на тебя смотреть, ты — девка? Наплевать мне в твои очки!

«Это он жандарму»,— сообразил Самгин и, сняв очки, сунул их в карман пальто.

— Маловато порядка,— сказал человек в лисьей шубе и протяжно зевнул.

Чувствуя себя, как во сне, Самгин смотрел вдаль, где, среди голубоватых холмов снега, видны были черные бугорки изб, горел костер, освещая белую стену церкви, красные пятна окон и раскачивая золотую луковицу колокольни. На перроне станции толпилось десятка два пассажиров, окружая троих солдат с винтовками, тихонько спрашивая их:

— Ну и — пороли?

— А — как же?

— Прикажут — и вас выпорем...

— А — баб — не приходилось? — спросил человек в шапке с наушниками и поучительно, уверенно заговорил, не ожидая ответа: — Баб следует особенно стращать, баба на чужое жаднее мужика...

К перрону подошла еще группа пассажиров; впереди, прихрамывая, шагал офицер,— в походной форме он стал еще толще и круглее.

— Ну, в чем дело? — резко крикнул он; человек в шапке, запахнув шубу, выпрямился, угодливо заговорил:

— Подозревается — крушение хотели устроить...

— Я спрашиваю не вас,— свирепо рявкнул офицер.— Где начальник станции?

Подбежал жандарм в очках, растолкал людей и,

задыхаясь, доложил, что начальник разъезда телеграфирует о повреждении пути, требует рабочих.

— Предполагаю злоумышление, ваше благородие, рельсы на стрелке...

— А ты чего смотрел, морда? — спросил офицер и, одною рукой разглаживая усы, другой коснулся револьвера на боку,— люди отодвинулись от него, несколько человек быстро пошли назад к поезду; жандарм обиженно говорил:

— Я, ваше благородие, вчера командирован сюда...

— Командирован, ну и — не зевай!

Офицер повернулся спиной к нему:

— Это что за солдаты?

— Бузулукского лезервного батальону из отряда, расквартированного в бунтущей деревне,— скороговоркой рапортовал рослый солдат с мягким бабьим лицом.

— Бунтующей, дурак! Пошел прочь...

Офицер вынул из кармана коробку папирос, посмотрел вслед солдатам и крикнул:

— Ходите, как индюки...— Закончив матерщиной, он оглянулся и пошел на Самгина, говоря: — Разрешите...

А закурив от папиросы Клима, назвал себя:

— Поручик Трифонов.

— Самгин.

— Учитель?

— Юрист.

— Адвокат,— подумав, сказал поручик и кивнул головой.— Из мелких,— продолжал он, усмехаясь.— Крупные — толстые, а вы — из таких, которые раздувают революции, конституции,— верно?

Самгин попробовал отойти, но поручик взял его под руку и повел за собой, шагая неудобно широко, прихрамывая на левую ногу, загребая ею. Говорил он сиповато, часто и тяжело отдувался, выдувая длинные струи пара, пропитанного запахами вина и табака.

— Из неудачников,— говорил он, толкая Самгина.— Ни-и черта у вас, батя, не выйдет, перещелкаем мы вас, эдаких, раскокаем, как яйца...

«Животное»,— мысленно обругал его Самгин и сердито спросил: — Почему вы думаете, что я...

— Я — не думаю, а — шучу,— сказал поручик и плюнул. Его догнал начальник разъезда:

— Вы звали меня?

Поручик приостановился, взглянул на него, помолчал и махнул рукой.

— Не надо.

Крепко прижимая локтем руку Самгина, он продолжал ворчливо, мятыми словами, не доканчивая их:

— Я сам — неудачник. Трижды ранен, крест имею, а жить — нечем. Живу на квартире у храпоидола... в лисьей шубе. Он с меня полтораста целковых взыскивает судом. На вокзале у меня украли золотой портсигар, подарок товарищей...

Подошли к поезду,— офицер остановился у подножки вагона и, пристально разглядывая лицо Самгина, пробормотал:

— Впрочем, я его заложил в ломбарде, портсигар. Сестре скажу — украли!

Выпученные, рачьи глаза его делали туго надутое лицо карикатурным. Схватив рукою в перчатке медный поручень, он спросил:

— Хотите коньяку? Французский...

Самгин отказался. Поручик Трифонов застыл, поставив ногу на ступень вагона. Было очень тихо, только снег скрипел под ногами людей, гудела проволока телеграфа и сопел поручик. Вдруг тишину всколыхнул, разрезал высокий, сочный голос, четко выписав на ней отчаянные слова:

Последний, нонешний денечек...
Гуляю с вами я, друзья.

— Денисов, сукин сын,— сказал поручик, закрыв глаза.— Хорист из оперетки. Солдат — никуда! Лодырь, пьяница. Ну, а поет — слышите?

Пели два голоса, второй звучал басовито и мрачно, но первый взмывал всё выше.

— Ну, нет! Его не покроешь,— пробормотал поручик, исчезая.

В небе, недалеко от луны, сверкала, точно падая на землю, крупная звезда. Самгин, медленно идя в конец поезда, впервые ощущал с такой остротою терзаю-

щую тоску простенькой русской песни. Она воспринималась им как нечто совершенно естественное в голубоватой холодной тишине, глубокой, какая бывает только в сновидениях. Его обогнал жандарм, но и он и черная тень его — всё было сказочно, так же как деревья, вылепленные из снега, луна, величиною в чайное блюдечко, большая звезда около нее и синеватое, точно лед, небо, высоко над белыми холмами, над красным пятном костра в селе у церкви; не верилось, что там живут бунтовщики.

Но песня вдруг оборвалась, и тотчас же несколько голосов сразу громко заспорили, резко прозвучал начальственный окрик:

— А ты — кто такой?

Раздался дружный, громкий смех и сквозь него — сердитый возглас:

— Вот ка-ак?

Кто-то громко свистнул, издали ответил глухой свисток локомотива. Самгин остановился, вслушиваясь, но там, впереди, смеялись, свистели всё громче и кто-то вскрикивал:

— Валяй, тащи его, тащи всех...

Отделился и пошел встречу Самгину жандарм, блестели его очки; в одной руке он держал какие-то бумаги, пальцы другой дергали на груди шнур револьвера, а сбоку жандарма и на шаг впереди его, ближе к вагонам, шагал Судаков, натягивая обеими руками картуз на лохматую голову; луна хорошо освещала его сухое, дерзкое лицо и медную пряжку ремня на животе; Самгин слышал его угрюмые слова:

— Ты бы не дурил, старик!

— Иди, иди! — строго крикнул жандарм.

Самгин, не желая, чтоб Судаков узнал его, вскочил на подножку вагона, искоса, через плечо взглянул на подходившего Судакова, а тот обеими руками быстро коснулся плеча и бока жандарма, толкнул его; жандарм отскочил, громко охнул, но крик его был заглушен свистком и шипением паровоза,— он тяжело вкатился на соседние рельсы и двумя пучками красноватых лучей отрезал жандарма от Судакова, который, вскочив на подножку, ткнул Самгина в бок чем-то твердым.

Не устояв на ногах, Самгин спрыгнул в узкий коридор между вагонами и паровозом и попал в толпу рабочих; они тоже, прыгая с паровоза и тендера, толкали Самгина, а на той стороне паровоза кричал жандарм, кричали молодые голоса:

— Не мешай, дядя!

— Не бунтуй, старик, не велят!

— Кто убежал?

Шипел паровоз, двигаясь задним ходом, сеял на путь горящие угли, звонко стучал молоток по бандажам колес, гремело железо сцеплений; Самгин, потирая бок, медленно шел к своему вагону, вспоминая Судакова, каким видел его в Москве, на вокзале: там он стоял, прислонясь к стене, наклонив голову и считая на ладони серебряные монеты; на нем черное пальто, подпоясанное ремнем с медной пряжкой, под мышкой — маленький узелок, картуз на голове не мог прикрыть его волос, они торчали во все стороны и свешивались по щекам, точно стружки.

«Неотесанная башка»,— подумал тогда Самгин, а теперь он думал о звериной ловкости парня: «Толкни он жандарма на несколько секунд позже,— жандарм попал бы под колеса паровоза...»

— Эй, барин, ходи веселей! — крикнули за его спиной. Не оглядываясь, Самгин почти побежал. На разъезде было очень шумно, однако казалось, что железный шум торопится исчезнуть в холодной, всепоглощающей тишине. В коридоре вагона стояли обер-кондуктор и жандарм, дверь в купе заткнул собою поручик Трифонов.

— Штатский? — вполголоса, изумленно и сипло спрашивал он.— Срезал револьвер?

— Так точно,— тихо ответил жандарм; он стоял не так, как следовало стоять перед офицером, а — сутуло и наклонив голову, но руки висели по швам.

— Обезоружил? И — удрал?

— Так точно. Должен быть в поезде.

— Солдаты ищут,— вставил обер.

Поручик трижды, негромко и раздельно хохотнул:

— Хо-хо-хо! Эт-то — номер! — сказал он, хлопая ресницами по глазам, чмокнув губами.— Ах ты, м-мор-

да! Ну — и влетит тебе! И — заслужил! Ну,— что же ты хочешь, а?

— Ваше благородие...

— Чтобы моих людей гонять? Нет, будь здоров! Скажи спасибо, что тебе пулю в морду не вкатили... Хо-хо-о! И — ступай! Марш!..

Жандарм тяжело поднял руку, отдавая честь, и пошел прочь, покачиваясь, обер тоже отправился за ним, а поручик, схватив Самгина за руку, втащил его в купе, толкнул на диван и, закрыв дверь, похохатывая, сел против Клима — колено в колено.

— Понимаете,— жулик у жандарма револьвер срезал и удрал, а? Нет,— вы поймите: привилегированная часть, охрана порядка, мать... Мышей ловить, а не революционеров! Это же — комедия! Ох...

Он захлебнулся смехом, засипел, круглые глаза его выкатились еще больше, лицо, побагровев, надулось, кулаком одной руки он бил себя по колену, другой схватил фляжку, глотнул из нее и сунул в руки Самгина. Клим, чувствуя себя озябшим, тоже с удовольствием выпил.

— Замечательный анекдот! Р-революция, знаете, а? Жулик продаст револьвер, а то ухлопает кого-нибудь... из любопытства может хлопнуть. Ей-богу! Интересно пальнуть по человеку...

«Напилéя»,— отметил Самгин, присматриваясь к поручику сквозь очки, а тот заговорил тише, почти шёпотом и очень быстро:

— Еду охранять поместье, завод какого-то сенатора, администратора, вообще — лица с весом! Четвертый раз в этом году. Мелкая сошка, ну и суют, куда другого не сунешь. Семеновцы — Мин, Риман, вообще — немцы, за укрощение России получат на чаишко... здорово получат! А я, наверное, получу колом по башке. Или — кирпичом... Пейте, французский...

Шумно вздохнув, он опустил на глаза тяжелые, синеватые веки и потряс головою.

— Бессонница! Месяца полтора. В голове — дробь насыпана, знаете — почти вижу: шарики катаются, ей-богу! Вы что молчите? Вы — не бойтесь, я — смирный! Всё — ясно! Вы — раздражаете, я — усмиряю.

«Жизнь для жизни нам дана»,— как сказал какой-то Макарий, поэт. Не люблю я поэтов, писателей и всю вашу братию,— не люблю!

Он снова глотнул из фляжки и, зажав уши ладонями, долго полоскал коньяком рот. Потом, выкатив глаза, держа руки на затылке, стал говорить громче:

— Я — усмиряю, и меня — тоже усмиряют. Стоит предо мной эдакий великолепный старичище, морда — умная, честная морда — орел! Схватил я его за бороду, наган — в нос. «Понимаешь?», говорю. «Так точно, ваше благородие, понимаю, говорит, сам — солдат турецкой войны, крест, медали имею, на усмирение хаживал, мужиков порол, стреляйте меня,— достоин! Только, говорит, это делу не поможет, ваше благородие, жить мужикам — невозможно, бунтовать они будут, всех не перестреляете». Н-да... Вот — морда, а?

Рассказывая, он всё время встряхивал головой, точно у него по енотовым волосам муха ползала. Замолчав и пристально глядя в лицо Самгина, он одною рукой искал на диване фляжку, другою поглаживал шею, а схватив фляжку, бросил ее на колени Самгина.

— Пейте, какого чёрта!..

«Возможно, что он ненормален»,— соображал Самгин, глотнул коньяку и, положив фляжку рядом с собою, покосился на револьвер в углу дивана.

— Отличный старик! Староста. Гренадер. Догадал меня чёрт выпить у него в избе кринку молока, ну — понятно: жара, устал! Унтер, сукин сын, наболтал чего-то адъютанту; адъютант — Фогель, командир полка — барон Цилле,— вот она где у меня села, эта кринка!

Поручик Трифонов пошлепал себя ладонью по шее. Вагон рвануло, поручик покачнулся и крикнул:

— Сволочи! Давайте — выпьем! Вы что же молчите?

— Думаю о вашей драме,— сказал Самгин.

— Драма,— повторил поручик, раскачивая фляжку на ремне.— Тут — не драма, а — служба! Я театров не выношу. Цирк — другое дело, там ловкость, сила. Вы думаете — я не понимаю, что такое — революционер? — неожиданно спросил он, ударив кулаком по колену, и лицо его даже посинело от натуги.— Подите

вы все к чёрту, довольно я вам служил, вот что значит революционер,— понимаете? За-ба-стовщик...

— Конечно,— миролюбиво сказал Самгин, но это не успокоило поручика; он вцепился пальцами в колено Клима и хрипло шептал:

— Вы, штатский, думаете, что это просто: выпорол человек... семнадцать или девять, четыре — всё равно! — и кончено — лег спать, и спи до следующей командировки, да? Нет, извините, это не так просто. Перед этим надобно выпить, а после этого — пить! И — долго, много! Для Мина, Римана, Ренненкампфа — просто, они — как там? — преторианцы, они служат Нерону и вообще — Наплевону, а нам, пехоте... Капитан Татарников — читали? — перестрелял мужиков, отрапортовался и тут же себе пулю вляпал. Это называется — скандал! Подняли вопрос: с музыкой хоронить или без? А он, в японскую, батальоном командовал, получил двух Георгиев, умница, весельчак, на биллиарде божественно играл...

Вагон снова тряхнуло, поручик тяжело опрокинулся на бок и спросил:

— Поехали?

А когда поезд проходил мимо станции, он, взглянув в окно, сказал с явным удовольствием:

— Жандарм-то, стоит, морда! Взгреют его за револьвер.

Теперь, в железном шуме поезда, сиплый голос его звучал еще тише, слова стали невнятны. Он закурил папиросу, лег на спину, его круглый живот рыхло подпрыгивал, и казалось, что слова булькают в животе:

— Пехота... чернорабочая сила, она вам когда-нибудь покажет та-а-кую Испанию, та-а-кое пр-ронунциаменто...

Самгин не слушал, находя, что больше того, что сказано, поручик не скажет.

«Опора самодержавия»,— думал он сквозь дремоту, наблюдая, как в правом глазе поручика отражается огонь свечи, делая глаз похожим на крыло жука.

«Наверное, он — не один таков. И, конечно, будет пороть, расстреливать. Так вот большинство людей исполняют обязанности, не веря в их смысл».

Это была очень неприятная мысль. Самгин закутался пледом и отдал тело свое успокоительной инерции толчков и покачиваний. Разбудил его кондуктор, открыв дверь:

— Русьгород.

Поручика в купе уже не было, о нем напоминал запах коньяка, медный изогнутый прут и занавеска под столиком.

В окно смотрело серебряное солнце, небо — такое же холодно голубое, каким оно было ночью, да и всё вокруг так же успокоительно грустно, как вчера, только светлее раскрашено. Вдали на пригорке, пышно окутанном серебряной парчой, курились розоватым дымом трубы домов, по снегу на крышах ползли тени дыма, сверкали в небе кресты и главы церквей, по белому полю тянулся обоз, темные маленькие лошади качали головами, шли толстые мужики в тулупах,— всё было игрушечно мелкое и приятное глазам.

Бойкая рыжая лошаденка быстро и легко довезла Самгина с вокзала в город; люди на улицах, тоже толстенькие и немые, шли навстречу друг другу спешной зимней походкой, дома, придавленные пуховиками снега, связанные заборами, прочно смерзлись, стояли крепко, на заборах, с розовых афиш, лезли в глаза черные слова: «Горе от ума», белые афиши тоже черными словами извещали о втором концерте Евдокии Стрешневой.

Имя это ничего не сказало Самгину, но, когда он шел коридором гостиницы, распахнулась дверь одного из номеров, и маленькая женщина в шубке колоколом, в меховой шапочке, радостно, но не громко вскричала:

— Боженька! Вы? Здесь?

Самгин отступил на шаг и увидал острую лисью мордочку Дуняши, ее неуловимые, подкрашенные глаза, блеск мелких зубов; она стояла пред ним, опустив руки, держа их так, точно готовилась взмахнуть ими, обнять. Самгин поторопился поцеловать руку ее, она его чмокнула в лоб, смешно промычав:

— М-мил...

И торопливо, радостно проговорила:

— Значит, правда, что видеть во сне птиц — неожиданная встреча! Я вернусь скоро...

Самгин был очень польщен тем, что Дуняша встретила его как любовника, которого давно и жадно ждала. Через час сидели пред самоваром, и она, разливая чай, поспешно говорила:

— Стрешнева — почему? Так это моя девичья фамилия, отец — Павел Стрешнев, театральный плотник. С благоверным супругом моим — разошлась. Это — не человек, а какой-то вероучитель, и не адвокат, а — лекарь, всё — о здоровье, даже по ночам — о здоровье, тоска! Я чудесно могу жить своим горлом...

Самгин смотрел на нее с удовольствием и аппетитом, улыбаясь так добродушно, как только мог. Она — в бархатном платье цвета пепла, кругленькая, мягкая. Ее рыжие, гладко причесанные волосы блестели, точно красноватое, червонное золото; нарумяненные морозом щеки, маленькие розовые уши, яркие, подкрашенные глаза и ловкие, легкие движения — всё это делало ее задорной девчонкой, которая очень нравится сама себе, искренно рада встрече с мужчиной.

— Знаешь, Климчик, у меня — успех! Успех и успех! — с удивлением и как будто даже со страхом повторила она.— И всё — Алина, дай ей бог счастья, она ставит меня на ноги! Многому она и Лютов научили меня. «Ну, говорит, довольно, Дунька, поезжай в провинцию за хорошими рецензиями». Сама она — не талантливая, но — всё понимает, всё до последней тютельки,— как одеться и раздеться. Любит талант, за талантливость и с Лютовым живет.

В чистеньком номере было тепло, уютно, благосклонно ворчал самовар, вкусный запах чая и Дуняшиных духов приятно щекотал ноздри. Говоря, Дуняша грызла бисквиты, прихлебывала портвейн из тяжелой зеленой рюмки.

— Тут у меня есть знакомая купчиха,— тоже очень помогла мне; вот красавица, Клим,— красивее Алины! В нее весь город влюблен.

Подняв руки, сжав кулачки, она потрясла ими над своей золотою головой:

— Эх, мне бы красоту! Вот уж наигралась бы...

И, перескочив на колени Клима, обняв его за шею, спросила:

— Мы с тобой поживем тут, да?

— Разумеется,— великодушно сказал Самгин.

В дверь постучали.

— Наверное, газетчик,— с досадой шепнула Дуняша и, приотворив дверь, сердито спросила: — Кто? Ах,— иду...

Послав Климу воздушный поцелуй, она исчезла, а он встал, сунув руки в карманы, прошелся по комнате, посмотрел на себя в зеркале, закурил и усмехнулся, подумав, как легко эта женщина помогла ему забыть кошмарного офицера. О поручике Трифонове напомнила бронзовая фигура царя Александра Второго — она возвышалась за окном, в центре маленькой площади,— фуражку, усы и плечи царя припудрил снег, слева его освещало солнце, неприятно блестел замороженный, выпуклый глаз. Монумент окружали связанные цепями пушки, воткнутые в землю, как тумбы, и невысокие, однообразно подстриженные деревья, похожие на букеты белых цветов.

— Что, дедушка? — вполголоса спросил Самгин и, вздрогнув, удивленный не свойственной ему выходкой, перестал смотреть в мертвый глаз царя.

«Нервы...»

В коридоре зашумели, дверь открылась, вошла с Дуняшей большая женщина в черном и, остановясь против солнца, сказала Дуняше густо и сочно:

— Не узнаёт.

Но Клим узнал, это — Марина Премирова, такая же монументальная, какой была в девицах; теперь она стала выше, стройнее.

— Постарел, больше, чем надо,— говорила она, растягивая слова певуче, лениво; потом, крепко стиснув руку Самгина горячими пальцами в кольцах и отодвинув его от себя, осмотрев с головы до ног, сказала: — Ну — всё же мужчина в порядке! Сколько лет не видались? Ох, уж лучше не считать!

Улыбалась она не так плотоядно и устрашающе широко, как в Петербурге, двигалась мягко и бесшумно, с той грацией, которую дает только сила.

«Типичная купчиха»,— торопился определить Самгин, отвечая на ее вопросы.

— Ну, а — Дмитрий? — спрашивала Марина.— Не знаешь? Вот как. Да, да, Туробоева застрелили. Довертелся,— равнодушно прибавила она.— Нехаева-то помнишь?

Ресницы красиво вздрогнули, придав глазам выражение сосредоточенно думающее. Самгин чувствовал, что она измеряет и взвешивает его. Вздохнув, она сказала:

— Кто еще наши знакомые?

— Кутузов,— напомнил Клим.

— Этого я, изредка, вижу. Ты что молчишь? — спросила Марина Дуняшу, гладя ее туго причесанные волосы,— Дуняша прижалась к ней, точно подросток дочь к матери. Марина снова начала допрашивать:

— С братом-то на политике разошелся?

Самгину не нравилось, что она говорит с ним на ты; он суховато ответил:

— Нет, просто так... Далеко живем друг от друга, редко видимся.

— Ты что же — социал-демократ?

— Да.

— Неужто — большевик?

— Я — не в партии.

— Ну, это уж лучше. Женат?

— Был,— не сразу откликнулся Самгин.— А ты— как живешь?

— Вдовею четвертый год.

Сдвинув густые брови, она сказала, точно деревенская баба:

— Супруг мой детей не оставил мне, только печаль по себе оставил...

Наклонив голову, подумав, она встала.

— Ну, прошу ко мне, часам к пяти, чайку попьем, потолкуем.

Женщины ушли, Стрешнева — впереди, Марина — за нею, совершенно скрывая ее своей фигурой.

Расхаживая по комнате с папиросой в зубах, протирая очки, Самгин стал обдумывать Марину. Движения дородного ее тела, красивые колебания голоса,

мягкий, но тяжеловатый взгляд золотистых глаз — всё в ней было хорошо слажено, казалось естественным.

«Внушает уважение к себе... Наверное, внушает».

Но Клим Самгин привык и даже как бы считал себя обязанным искать противоречий, это было уже потребностью его разнузданной мысли. Ему хотелось найти в Марипе что-нибудь наигранное, фальшивенькое.

«О политике спрашивала. С Кутузовым встречается»,— подсчитывал он.

Кутузов все мысли Самгина отводил в определенное русло, и с Кутузовым всегда нужно было молча спорить.

«Упрощенный, ограниченный человек, как все люди его умонастроения. Это они раскололи политически мыслящие силы страны сразу на десяток партий. Допустим, что только они действуют, опираясь не на свой инстинкт самозащиты, а на классовый инстинкт рабочей массы. Но социалисты Европы заставляют сомневаться, что такой инстинкт существует. Классовым самосознанием обладает только верхний слой буржуазии... У нас, может быть, пятьсот или тысяча таких людей, как этот товарищ Яков... Разумеется, это — сила разрушительная... Но — чего я жалею?» — вдруг спросил он себя, оттолкнув эти мысли, продуманные не один десяток раз,— и вспомнил, что с той высоты, на которой он привык видеть себя, он, за последнее время всё чаще, невольно сползает к этому вопросу.

«Я ни с чем и ни с кем не связан,— напомнил он себе.— Действительность мне враждебна. Я хожу над нею, как по канату».

Сравнение себя с канатоходцем было и неожиданно и обидно.

«Жалеть — нечего»,— полувопросительно повторил он, рассматривая свои мысли как бы издали, со стороны и глазами какой-то новой мысли, не оформленной словом. И то, что за всеми его старыми мыслями живет и наблюдает еще одна, хотя и неясная, но, может быть, самая сильная, возбудило в Самгине приятное сознание своей сложности, оригинальности, ощущение своего внутреннего богатства. Стоя среди комнаты, он курил, смотрел под ноги себе, в розоватое пятно света, и вдруг вспомнил восточную притчу о человеке, который, сидя

под солнцем на скрещении двух дорог, горько плакал, а когда прохожий спросил: о чем он льет слезы? — ответил: «От меня скрылась моя тень, а только она знала, куда мне идти». Слезливый человек в притче был назван глупцом. Самгин, швырнув окурок в угол, взглянул на часы — они показывали четыре. Заходило солнце, снег на памятнике царя сверкал рубинами, быстро шли гимназистки и гимназисты с коньками в руках; проехали сани, запряженные парой серых лошадей; лошади были покрыты голубой сеткой, в санях сидел большой военный человек, два полицейских скакали за ним, черные кони блестели, точно начищенные ваксой. Сквозь двойные рамы с улицы не доносилось ни звука, и казалось, что всё на площади живет не в действительности, а только в памяти.

Вбежала Дуняша и заторопила:

— Идем, идем. Зотова дожидается...

— Зотова? — спросил Самгин. Дуняша, смазывая губы карандашом, утвердительно кивнула головой, а он нахмурился: очевидно, Марина и есть та женщина, которую назвал ему Гогин. Этим упрощалось поручение, но было в этом что-то неприятное.

«Неужели эта купчиха забавляется конспирациями?»

На улицах всё было с детства знакомо, спокойно и тоже как будто существовало не на самом деле, а возникало из памяти о прошлом.

Дуняша, плотно прижимаясь к его боку, говорила:

— Здесь всё кончилось, спорят только о том, кому в Думе сидеть. Здесь очень хорошие люди, принимают меня — вот увидишь как! Бисирую раза по три. Соскучились о песнях...

Остановились перед витриной ярко освещенного магазина. За стеклом, среди Евангелий, в золоченых переплетах с эмалью и самоцветами, на черном бархате возвышалась митра, покрытая стеклянным колпаком, лежали напрестольные кресты, стояли дикирии и трикирии.

— Это — ее! — сказала Дуняша.— Очень богатая,— шепнула она, отворяя тяжелую дверь в магазин, тесно набитый церковной утварью. Ослепительно сверкало серебро подсвечников, сияли золоченые дарохра-

нильницы за стеклами шкафа, с потолка свешивались кадила; в белом и желтом блеске стояла большая женщина, туго затянутая в черный шёлк.

— Сюда пожалуйте,— говорила она, ловко извиваясь среди подсвечников и крестильных купелей.— Запри магазин и ступай домой! — приказала она ленообразному, русокудрому отроку, который напомнил Самгину Диомидова.

За магазином, в небольшой комнатке горели две лампы, наполняя ее розоватым сумраком, толстый ковер лежал на полу, стены тоже были завешаны коврами, высоко на стене — портрет в черной раме, украшенный серебряными листьями; в углу помещался широкий, изогнутый полукругом диван, пред ним на столе кипел самовар красной меди, мягко блестело стекло, фарфор. Казалось, что магазин, грубо сверкающий серебром и золотом, далеко отсюда.

— Я здесь с утра до вечера, а нередко и ночую; в доме у меня — пустовато, да и грусти много,— говорила Марина тоном старого доверчивого друга, но Самгин, помня, какой грубой, напористой была она,— не верил ей.

— Ну, рассказывай,— как жил, чем живешь? — предложила она; Клим ответил:

— Повесть длинная и неинтересная.

— Не скромничай, кое-что я знаю про тебя. Слышала, что ты как был неподатлив людям, таким и остался. На портрет смотришь? Супруг мой.

Марина, сняв абажур с лампы, подняла ее к портрету.

Неплохой мастер широкими мазками написал большую лысоватую голову на несоразмерно узких плечах, желтое, носатое лицо, ярко-синие глаза, толстые красные губы,— лицо человека нездорового и, должно быть, с тяжелым характером.

— Интересное лицо,— сказал Самгин, но, чувствуя, что этого мало, прибавил: — весьма оригинальное лицо.

— Он из семьи Лордугина,— сказала Марина и усмехнулась.— Не слыхал такой фамилии? Ну, конечно! С кем был в родстве любой литератор, славянофил, декабрист — это вы, интеллигенты, досконально зна-

ете, а духовные вожди, которых сам народ выдвигал мимо университетов,— они вам не известны.

— Лордугин? — переспросил Клим, заинтересованный ее иронией.

— Не вспоминай чего не знаешь,— ответила она и обратилась к Дуняше:

— Скучно, Дуня?

Та, сидя в кресле деревянно прямо, точно бедная родственница, смотрела в угол, где шубы на вешалке казались безголовыми стражами.

— Ну, что ты,— встрепенулась она.— Я скучать не умею...

— Ничего, поскучай маленько,— разрешила Марина, поглаживая ее, точно кошку.— Димитрия-то, наверно, совсем книги съели? — спросила она, показав крупные белые зубы.— Очень помню, как ухаживал он за мной. Теперь — смешно, а тогда — досадно было; девица — горит, замуж хочет, а он ей всё о каких-то неведомых людях, тиверцах да угличах, да о влиянии Востока на западноевропейский эпос! Иногда хотелось стукнуть его по лбу, между глаз...

Она произносила слова вкусной русской речи с таким удовольствием, что Самгин заподозрил: слова для нее приятны независимо от смысла, и она любит играть ими. Ей нравится роль купчихи, сытой, здоровой бабы. Конечно, у нее есть любовники, наверное, она часто меняет их.

А Марина, крепко обняв Дуняшу, говорила:

— В ту нору мужчина качался предо мною страшновато и двуестественно, то — плоть, то — дух. Говорила я, как все,— обыкновенное, а думала необыкновенно и выразить словами настоящие думы мои не могла...

«Врет,— отметил Самгин, питаясь удивительно вкусными лепешками и вспомнив сцену Марины с Кутузовым.— И торопится показать себя оригинальной».

В сумраке, среди ковров и мягкой мебели, Марина напоминала одалиску, изображенную жирной кистью какого-то француза. И запах вокруг нее — восточный: кипарисом, ладаном, коврами.

— Помнишь Лизу Спивак? Такая спокойная, бескрылая душа. Она посоветовала мне учиться петь.

Вижу — во всех песнях бабы жалуются на природу свою...

— На природу все жалуются, и музыка об этом,— сказала Дуняша, вздохнув, но тотчас же усмехнулась.— Впрочем, мужчины любят петь: «Там за далью непогоды есть блаженная страна...»

Марина, тоже улыбаясь, проговорила лениво:

— Это — политики поют, такие вот, как Самгин. Они, как староверы, «Опоньское царство» выдумали себе, со страха жизни.

— Как ты странно говоришь,— заметил Самгин, глядя на нее с любопытством.— Кажется, мы живем во дни достаточно бесстрашные, то есть — достаточно бесстрашно живем.

Марина, точно отгоняя комара, махнула рукой.

— Свойственник мужа моего по первой жене два Георгия получил за японскую войну, пьяница, но — очень умный мужик. Так он говорит: «За трусость дали, боялся назад бежать — расстреляют, ну и лез вперед!»

Прихлебнув из рюмки глоток вина, запив его чаем, она, не спеша и облизывая губы кончиком языка, продолжала:

— Вот и вы, интеллигенты, отщепенцы, тоже от страха в политику бросаетесь. Будто народ спасать хотите, а — что народ? Народ вам — очень дальний родственник, он вас, маленьких, и не видит. И как вы его ни спасайте, а на атеизме обязательно срежетесь. Народничество должно быть религиозным. Земля — землей, землю он и сам отвоюет, но, кроме того, он хочет чуда на земле, взыскует пресветлого града Сиона...

Она сказала всё это негромко, не глядя на Самгина, обмахивая маленьким платком ярко разгоревшееся лицо. Клим чувствовал: она не надеется, что слова ее будут поняты. Он заметил, что Дуняша смотрит из-за плеча Марины упрашивающим взглядом, ей — скучно.

— Вот как думаешь ты,— сказал он, улыбаясь.— А Кутузов знает эти мысли?

— Для этих мыслей Степан не открыт,— ответила Марина лениво, немножко сдвинув брови.— Но он к ним ближе других. Ему конституции не надо.

Она замолчала. Самгин тоже не чувствовал желания

говорить. В поучениях Марины он подозревал иронию, намерение раздразнить его, заставить разговориться. Говорить с нею о поручении Гогина при Дуняше он не считал возможным. Через полчаса он шел под руку с Дуняшей по широкой улице, ярко освещенной луною, и слушал торопливый говорок Дуняши.

— Я ее — не люблю, но, знаешь,— тянет меня к ней, как с холода в тепло или — в тень, когда жарко. Странно, не правда ли? В ней есть что-то мужское, тебе не кажется?

— Она пошлости говорит,— сердито сказал Самгин.— Это ей муж, купец, набил голову глупостями.— Где ты познакомилась с нею?

Дуняша сказала, что ее муж вел какое-то дело Марины в судебной палате и она нередко бывала у него в Москве.

— Он очень восхищался ею и всё, знаешь, эдак подпрыгивал петухом вокруг нее...

Впереди засмеялись, нестройно прокричали ура; из ворот дома вышла группа людей, и мягкий баритон запел:

Царь, подобно Муцию...

Муцию Сцеволе,

— довольно стройно дополнил хор и пропел:

Дал нам конституцию...
По собственной воле.

— А — для чего?— спросил баритон,— хор ответил:

Для того, чтобы народ
Дружно двинулся вперед!

— Славно поют,— сказала Дуняша, замедляя шаг.

Власть свою убавил,

— запел баритон,— хор подхватил:

Не пищите только!
А себе оставил
Моно-монополькy.

— А — д-для чего? — снова спросил баритон,— хор ответил:

Пусть великий наш народ
Свой последний грош пропьет!

— Ой, как интересно! — тихонько вскричала Дуняша, замедляя шаг, а баритон снова запевал:

По этому случаю

Наши алкоголики

— продолжал хор:

Соберутся кучею,
Сядут все за столики.

— А — зачем?

Чтобы выпить за народ,
За святой девиз «вперед!»

Дуняша смеялась. Люди тесно шли по панели, впереди шагал высокий студент в бараньей шапке, рядом с ним приплясывал, прыгал мячиком толстенький маленький человечек; когда он поравнялся с Дуняшей и Климом, он запел козлиным голосом, дергая пальцами свой кадык:

Любви все возрасты покорны...

Несколько мужских и женских голосов сразу начали кричать:

— Уймите его!

— Мишка, не скандаль!

— Что за безобразие!

А толстенькая девица в шапочке на курчавых волосах радостно и даже как будто с испугом объявила:

— Господа, это — Стрешнева, честное слово!

Высокий студент, сняв шапку, извинялся:

— Это — хороший малый, вы его простите...

Хороший малый лежал вверх носом у ног Дуняши, колотил себя кулаками в грудь и бормотал:

— Так сражен Михайло Крылов собственным негодяйством.

Барышни предлагали Дуняше проводить ее,— она, ласково посмеиваясь, отказывалась; девушка, с длинной и толстой косой, крикнула:

— Граждане! Предлагаю поумнеть!

Дуняша, выскользнув из кольца молодежи, увлекая за собою Клима, оглядываясь, радостно говорила:

— Какие милые, а? Как остроумно сказала черноглазая,— ты слышал? «Предлагаю поумнеть!»?

— Своевременное предложение,— ворчливо откликнулся Самгин.

Высокий студент снова запел:

По причине этой

Либералы наши

— дружно подхватил хор.

Песня эта напомнила Самгину пение молодежью на похоронный мотив стихов: «Долой бесправие! Да здравствует свобода!»

— Я так рада, что меня любит молодежь,— за простенькие мои песенки. Знаешь, жизнь моя была...

— Играют в революцию и сами же высмеивают ее,— пробормотал Самгин.

— Тогда мне жилось очень тяжело, но проще, чем теперь, и грусть и радость были проще.

— Не говори, простудишь горло,— посоветовал Самгин Дуняше, прислушиваясь к песне.

Но полезней, на их взгляд,
Чтоб народ пошел назад...

— Наши журналисты...

— запел баритон, но хлопнула дверь гостиницы и обрубила песню.

Дуняша предложила пройти в ресторан, поужинать; он согласился, но, чувствуя себя отравленным лепешками Марины, ел мало и вызвал этим тревожный вопрос женщины:

— Тебе — нездоровится?

После ужина она пришла к нему — и через час горячо шептала:

— Я люблю тебя за то, что ты всё знаешь, но молчишь.

Самгин вспомнил, что она не первая говорит эти слова, Варвара тоже говорила нечто в этом роде. Он лежал в постели, а Дуняша, полураздетая, склонилась над ним, гладя лоб и щеки его легкой, теплой ладонью. В квадрате верхнего стекла окна светилось стертое лицо луны,— желтая кисточка огня свечи на столе как будто замерзла.

— Как много и безжалостно говорят все образованные,— говорила Дуняша.—Бога—нет, царя— не надо, люди — враги друг другу, всё — не так! Но — что же есть, и что — так?

Самгин, утомленный, посмеивался — женщина забавляла его своей болтовней, хотя и мешала ему отдохнуть.

— Что же настоящее? — спрашивала она.

— Для женщины — дети,— сказал он лениво и только для того, чтоб сказать что-нибудь.

— Дети? — испуганно повторила Дуняша.— Вот уж не могу вообразить, что у меня — дети! Ужасно неловко было бы мне с ними. Я очень хорошо помню, какая была маленькой. Стыдно было бы мне... даже совсем нельзя рассказать про себя детям, а они ведь спросят!

«И эта философствует»,— равнодушно отметил Самгин.

А она продолжала, переменив позу так, что лунный свет упал ей на голову, на лицо, зажег в ее неуловимых глазах золотые искры и сделал их похожими на глаза Марины:

— Нет, дети — тяжело и страшно! Это — не для меня. Я — ненадолго! Со мной что-нибудь случится, какая-нибудь глупость... страшная!

Самгин закрыл глаза, спрашивая себя: что такое Марина?

— По-моему, всё — настоящее, что нравится, что любишь. И бог, и царь, и всё. Сегодня — одно, завтра — другое. Ты хочешь уснуть? Ну, спи!

Поцеловав его, она соскочила с кровати и, погасив свечу, исчезла. После нее остался запах духов и на

ночном столике браслет с красными камешками. Столкнув браслет пальцем в ящик столика, Самгин закурил папиросу, начал приводить в порядок впечатления дня и тотчас убедился, что Дуняша, среди них, занимает ничтожно малое место. Было даже неловко убедиться в этом,— он почувствовал необходимость объясниться с самим собою.

«Каприз пустой и взбалмошной бабенки...»

Давно уже и незаметно для себя он сделал из опыта своего, из прочитанных им романов умозаключение, не лестное для женщин: везде, кроме спальни, они мешают жить, да и в спальне приятны ненадолго. Он читал Шопенгауэра, Ницше, Вейнингера и знал, что соглашаться с их взглядами на женщину — не принято. Макаров называл отношение этих немцев к женщине «одним из наиболее тяжелых уродств индогерманского пессимизма». Но по «системе фраз» самого Макарова женщина смотрит на мужчину, как на приказчика в магазине модных вещей,— он должен показывать ей самые лучшие чувства и мысли, а она за всё платит ему всегда одним и тем же — детями.

В эту ночь, в пошленькой комнате гостиницы незнакомого города, Самгин почувствовал, что его небывало настойчиво тяготят мысли о женщинах. Он встал, подошел к двери, повернул ключ в замке, посмотрел на луну,— ярко освещая комнату, она была совершенно лишней, хотелось погасить ее. Полураздетый, он стал раздеваться на ночь с тем чувством, которое однажды испытал в кабинете доктора, опасаясь, что доктор найдет у него серьезную болезнь. Переложил подушки так, чтоб не видеть нахально светлое лицо луны, закурил папиросу и погрузился в сизый дым догадок, самооправданий, противоречий, упреков.

«Макаров утверждает, что отношения с женщиной требуют неограниченной искренности со стороны мужчины»,— думал он, отвернувшись к стене, закрыв глаза, и не мог представить себе, как это можно быть неограниченно искренним с Дуняшей, Варварой. Единственная женщина, с которой он был более откровенным, чем с другими, это — Никонова, но это потому, что она никогда ни о чем не выспрашивала.

«Ее служба в охранке — это, конечно, вынуждено, это насилие над нею. Жандармы всем предлагают служить у них, предлагали и мне».

Он очень живо, всей кожей вспомнил Никонову, сравнил ее с Дуняшей и нашел, что та была удобнее, а эта — лучше всех знает искусство наслаждения телом.

«Я несколько испорчен»,— сознался он.

Признавая себя человеком чувственным, он, в минуты полной откровенности с самим собою, подозревал даже, что у него немало холодного полового любопытства. Это нужно было как-то объяснить, и он убеждал себя, что это все-таки чистоплотнее, интеллектуальней животно-обнаженного тяготения к самке. В эту ночь Самгин нашел иное, менее фальшивое и более грустное объяснение.

«Возраст охлаждает чувство. Я слишком много истратил сил на борьбу против чужих мыслей, против шаблонов»,— думал он, зажигая спичку, чтоб закурить новую папиросу. Последнее время он всё чаще замечал, что почти каждая его мысль имеет свою тень, свое эхо, но и та и другое как будто враждебны ему. Так случилось и в этот раз.

«Думать о мыслях легче и проще, чем о фактах».

Эта неприятная поправка требовала объяснения,— Самгин тотчас нашел его:

«Таково свойство интеллигенции вообще. Вернее — это качество интеллекта... не омраченного, не подавленного впечатлениями бытия».

А вместе с этим он думал:

«Устал я и бездарно путаюсь в каких-то мелочах. Какое значение для меня могут иметь случайные встречи с пьяным офицером, Дуняшей, Мариной?»

Монументальная фигура Марины круто изменила ход его размышлений:

«Неужели эта баба религиозна? Не верю, чтоб такое мощное тело искренно нуждалось в боге».

Явилась настоятельная потребность ограничить Марину. Он долго, сосредоточенно рассматривал ее, сравнивал с петербургской девушкой и вдруг вспомнил героя Лескова Ахилла Десницына и его рев:

«Уязвлен, уязвлен...»

Неуместное воспоминание раздражило Самгина.

«В старости она будет такая же страшная, как Анфимьевна... И жалкая такая же...»

Этим он не уничтожил хозяйку магазина церковной утвари. В блеске золота и серебра, среди множества подсвечников, кадил и купелей, как будто ожил древний золотоглазый идол. И около нее — херувимоподобный отрок, похожий на Диомидова, как его сын.

«Самый странный и нелепый маскарад изо всех, какие видел я»,— попытался успокоить себя Самгин, но в памяти истерически закричал Диомидов:

«Ничему не верите, а — чего ради не верите? Боитесь верить, страха ради не верите! Осмеяли всё, оголились, оборвались, как пьяные нищие...»

Этот ночной парад воспоминаний превратился в тяжелый кошмар. С бурною быстротой, возможной только в сновидениях, Самгин увидел себя на безлюдной, избитой дороге среди двух рядов старых берез,— рядом с ним шагал еще один Клим Самгин. День был солнечный, солнце жарко грело спину, но ни сам Клим, ни двойник его, ни деревья не имели тени, и это было очень тревожно. Двойник молчал, толкая Самгина плечом в ямы и рытвины дороги, толкая на деревья,— он так мешал идти, что Клим тоже толкнул его; тогда он свалился под ноги Клима, обнял их и дико закричал. Чувствуя, что он тоже падает, Самгин схватил спутника, поднял его и почувствовал, что он, как тень, не имеет веса. Но он был одет совершенно так же, как настоящий, живой Самгин и поэтому должен, должен был иметь какой-нибудь вес! Самгин высоко поднял его и швырнул прочь, на землю,— он разбился на куски, и тотчас вокруг Самгина размножились десятки фигур, совершенно подобных ему; они окружили его, стремительно побежали вместе с ним, и хотя все были невесомы, проницаемы, как тени, но страшно теснили его, толкали, сбивая с дороги, гнали вперед,— их становилось всё больше, все они были горячие, и Самгин задыхался в их безмолвной, бесшумной толпе. Он отбрасывал их от себя, мял, разрывал руками, люди лопались в его руках, как мыльные пузыри; на секунду Самгин видел себя победителем, а в следующую — двойники его

бесчисленно увеличивались, снова окружали его и гнали по пространству, лишенному теней, к дымчатому небу; оно опиралось на землю плотной темно-синей массой облаков, а в центре их пылало другое солнце, без лучей, огромное, неправильной, сплющенной формы, похожее на жерло печи,— на этом солнце прыгали черненькие шарики.

Когда назойливый стук в дверь разбудил Самгина, черные шарики всё еще мелькали в глазах его, комнату наполнял холодный, невыносимо яркий свет зимнего дня,— света было так много, что он как будто расширил окно и раздвинул стены. Накинув одеяло на плечи, Самгин открыл дверь и, в ответ на приветствие Дуняши, сказал:

— Кажется, я заболеваю...

— Я стучу уже третий раз... Что с тобой?

— Проснулся в испарине.

Она спрашивала, не позвать ли доктора; Самгин отвечал ей отрывисто, небрежно, как привык говорить с Варварой. Он чувствовал себя физически измятым борьбою против толпы своих двойников; у него тупо болела поясница и пыли мускулы ног, как будто он в самом деле долго бежал. Дуняша ушла за аспирином, а он подошел к зеркалу и долго рассматривал в нем почти незнакомое, сухое, длинное лицо с желтоватой кожей, с мутными глазами,— в них застыло нехорошее, неопределенное выражение не то растерянности, не то испуга. Пощупал пальцем седоватые волосы на висках, потрогал тени в глазницах, прочитал вырезанное алмазом на стекле двустишие:

Иннокентий Каблуков
Пожил здесь и — был таков.

«Инокентий пишется с одним *н*. А может быть — с двумя? Всё равно — пошлость».

За окном ослепительно сверкали миллионы снежных искр, где-то близко ухала и гремела музыка военного оркестра, туда шли и ехали обыватели, бежали мальчишки, обгоняя друг друга, и всё это было чуждо, ненужно, не нужна была и Дуняша. Она влетела в комнату птицей, заставила его принять аспирин, натаскала из

своей комнаты закусок, вина, конфект, цветов, красиво убрала стол и, сидя против Самгина, в пестром кимоно, покачивая туго причесанной головою, передергивая плечами, говорила вполголоса очень бойко, с неожиданными и забавными интонациями:

— Сегодня — пою! Ой, Клим, страшно! Ты придешь? Ты — речи народу говорил? Это тоже страшно? Это должно быть страшнее, чем петь! Я ног под собою не слышу, выходя на нублику, холод в спине, под ложечкой — тоска! Глаза, глаза, глаза,— говорила она, тыкая пальцем в воздух.— Женщины — злые, кажется, что они проклинают меня, ждут, чтоб я сорвала голос, запела петухом,— это они потому, что каждый мужчина хочет изнасиловать меня, а им — завидно!

Она тихонько, нервозно засмеялась:

— Глупости говорю?

— Глупости,— подтвердил Самгин, глядя на ее вызывающе пышный бюст и жадные губы.

— Трудно поумнеть,— вздохнула Дуняша.— Раньше, хористкой, я была умнее, честное слово! Это я от мужа поглупела. Невозможный! Ему скажешь три слова, а он тебе — триста сорок! Один раз, ночью, до того заговорил, что я его по-матерному обругала...

Покраснев, Дуняша расхохоталась так заразительно, что Самгин, скупой на смех, тоже немножко посмеялся, представив, как, должно быть, изумлен был муж ее.

— Нет, ей-богу, ты подумай,— лежит мужчина в постели с женой и упрекает ее, зачем она французской революцией не интересуется! Там была какая-то мадам, которая интересовалась, так ей за это голову отрубили,— хорошенькая карьера, а? Тогда такая парижская мода была — головы рубить, а он все их сосчитал и рассказывает, рассказывает... Мне казалось, что он меня хочет запугать этой... головорубкой, как ее?

— Гильотина,— подсказал Клим.

— И выходило у него так, как будто революция началась потому, что француженки вели себя нескромно.

Швырнув на стол салфетку, она вскочила на ноги и, склонив голову на правое плечо, спрятав руки за

спиною, шагая солдатским шагом и пофыркивая носом, заговорила тягучим, печальным голосом:

— «Теперь тебе должно быть ясно, насколько Мария Антуанетта способствовала гибели монархии...»

Она была очень забавна, ее веселое озорство развлекало Самгина, распахнувшееся кимоно показывало стройные ноги в черных чулках, голубую коротенькую рубашку, которая почти открывала груди. Всё это вызвало у Самгина великодушное желание поблагодарить Дуняшу, но, когда он привлек ее к себе, она ловко выскользнула из его рук.

— Перед концертом — не могу,— твердо сказала она.— Там, пред публикой, я должна быть — как стеклышко!

— Какая чепуха,— возразил Самгин, не сердясь, но удивляясь.

— Не могу,— повторила она, разведя руками.— Видишь ли что...

Она подумала, глядя в потолок.

— Надутые женщины, наглые мужчины, это — правда, но это — первые ряды. Им, может быть, даже обидно, что они должны слушать какую-то фитюльку, чёрт ее возьми. Но всегда есть другие люди, и пред ними уж надобно петь хорошо, честно. Понимаешь?

— Не совсем,— сказал Самгин.— Что значит: честно петь?

Она снова задумалась, поглаживая щеки ладонями, потом быстро рассказала:

— Отец мой несчастливо в карты играл и когда, бывало, проиграется, приказывает маме разбавлять молоко водой,— у нас было две коровы. Мама продавала молоко, она была честная, ее все любили, верили ей. Если б ты знал, как она мучилась, плакала, когда ей приходилось молоко разбавлять. Ну, вот, и мне тоже стыдно, когда я плохо пою,— понял?

Самгин одобрительно похлопал ее по спине и даже сказал:

— Это очень по-детски вышло у тебя...

— Да,— глупенькая, глупенькая,— торопливо согласилась она, целуя его в лоб.— Увидимся после концерта, да?

Она немножко развлекла его, но, как только скрылась за дверью, Самгин забыл о ней, прислушиваясь к себе и ощущая нарастание неясной тревоги.

«Устал. Заболеваю».

Взяв газету, он прилег на диван. Передовая статья газеты «Наше слово» крупным, но сбитым шрифтом, со множеством знаков вопроса и восклицания, сердито кричала о людях, у которых «нет чувства ответственности пред страной, пред историей».

«Мы — искренние демократы, это доказано нашей долголетней, неутомимой борьбой против абсолютизма, доказано культурной работой нашей. Мы — против замаскированной проповеди анархии, против безумия „прыжков из царства необходимости в царство свободы", мы — за культурную эволюцию! И как можно, не впадая в непримиримое противоречие, отрицать свободу воли и в то же время учить темных людей — прыгайте!»

«В провинции думают всегда более упрощенно; это нередко может быть смешно для нас, но для провинциалов нужно писать именно так,— отметил Самгин, затем спросил: — Для кого — для нас?» — и заглушил этот вопрос шелестом бумаги. На обороте страницы был напечатан некролог человека, носившего странную фамилию: Уповаев. О нем было сказано: «Человек глубоко культурный, Иван Каллистратович обладал объективизмом истинного гуманиста, тем редким чувством проникновения в суть противоречий жизни, которое давало ему силу примирять противоречия, казалось бы — непримиримые».

В отделе «Театр» некто Идрон писал:

«Сегодня мы еще раз услышим идеальное исполнение народных песен Е. В. Стрешневой. Снова она будет щедро бросать в зал купеческого клуба радужные цветы звуков, снова взволнует нас лирическими стонами и удалыми выкриками, которые чутко подслушала у неисчерпаемого источника подлинно народного творчества».

Самгин швырнул газету на пол, закрыл глаза, и тотчас перед ним возникла картина ночного кошмара, закружился хоровод его двойников, но теперь это были уже не тени, а люди, одетые так же, как он,— кружились они медленно и не задевая его; было очень неприятно

видеть, что они — без лиц, на месте лица у каждого было что-то, похожее на ладонь,— они казались троерукими. Этот полусон испугал его,— открыв глаза, он встал, оглянулся:

«Воображение у меня разыгрывается болезненно».

Решив освежиться, он вышел на улицу; издали, встречу ему, двигалась похоронная процессия.

«Вероятно, Уповаева хоронят»,— сообразил он, свернул в переулок и пошел куда-то вниз, где переулок замыкала горбатая зеленая крыша церкви с тремя главами над нею. К ней спускались два ряда приземистых, пузатых домиков, накрытых толстыми шапками снега. Самгин нашел, что они имеют некоторое сходство с людями в шубах, а окна и двери домов похожи на карманы. Толстый слой серой, холодной скуки висел над городом. Издали доплывало унылое пение церковного хора.

«Как всё это знакомо, однообразно. И — надолго. Прочно вросло в землю».

Так же равнодушно он подумал о том, что, если б он решил занять себя литературным трудом, он писал бы о тихом торжестве злой скуки жизни не хуже Чехова и, конечно, более остро, чем Леонид Андреев.

За церковью, в углу небольшой площади, над крыльцом одноэтажного дома, изогнулась желто-зеленая вывеска: «Ресторан Пекин». Он зашел в маленькую теплую комнату, сел у двери, в угол, под огромным старым фикусом; зеркало показывало ему семерых людей,— они сидели за двумя столами у буфета, и до него донеслись слова:

— Ты бы, Иван Васильев, по — тово, похрабрее разоблачал штукарей этих, а то они, тово, обскачут нас на выборах-то!

Голос был жирный, ворчливый; одновременно с ним звучал голосок тонкий и сердитый:

— Какой он, к чёрту, эсер, если смолоду, всю жизнь лимонами торгует?

— Они тут все пролетариями переодеваются,— сказал третий.

Рассматривая в зеркале тусклые отражения этих людей, Самгин увидел среди них ушастую голову Ивана

Дронова. Он хотел встать и уйти, но слуга принес кофе; Самгин согнулся над чашкой и слушал.

— Жили-жили и вдруг все оказались эсерами, нате-ко!

— Иезуит был покойник Уповаев, а хорошо чистил им зубы! Помните, в городском саду, а?

— Ну, как же! «Не довольно ли света? Не пора ли вам, господа, погасить костры культурных усадьб? Всё — ясно! Все видят сокрушительную работу стихийных сил жадности, зависти, ненависти,— работу сил, разбуженных вами!»

— Экая память у тебя, Гриша!

— На хорошее слово...

— А ведь жулябия был покойник!

— Все под богом ходим.

Компания дружно рассмеялась, а Самгин под этот смех зазвенел ложкой о блюдечко, торопясь уйти, не желая встречи с Дроновым. Но Дронов сказал:

— Ну-с, мне пора в редакцию,— и мелкими шагами коротеньких ног он подошел к столу Самгина, в то время как слуга отсчитывал сдачу.

— Б-ба! Откуда?

Руки Самгину он не подал, должно быть, потому, что был выпивши. Опираясь обеими руками о стол, прищурив глаза, он бесцеремонно рассматривал Клима, дышал носом и звонко расспрашивал, рассказывал:

— Живешь в «Волге»? Зайду. Там — Стрешнева, певица — удивительная! А я, брат, тут замещаю редактора в «Нашем слове». «Наш край», «Наше слово»,— всё, брат, наше!

Весь в новеньком, он был похож на приказчика из магазина готового платья. Потолстел, сытое лицо его лоснилось, маленький носик расплылся по румяным щекам, ноздри стали шире.

— Приехал агитировать, да? За эсдеков?

Самгин сухо сказал, что у него дело в суде, но Дронов усмехнулся, подмигнул и отскочил прочь, повторив:

— Зайду.

Глядя вслед ему через очки и болезненно морщась, Самгин подумал:

«Как часты ненужные и неприятные встречи с прошлым...»

Он пошел в концерт пешком, опоздал к началу и должен был стоять в дверях у входа в зал. Длинный зал, стесненный двумя рядами толстых колонн, был туго наполнен публикой; плотная масса ее как бы сплющивалась, вытягиваясь к эстраде под напором людей, которые тесно стояли за колоннами, сзади стульев и даже на подоконниках окон, огромных, как двери. С хор гроздьями свешивались головы молодежи,— лица, освещенные снизу огнями канделябров на колоннах, были необыкновенно глазасты. Дуняша качалась на эстраде, точно в воздухе,— сзади ее возвышался в золотой раме царь Александр Второй, упираясь бритым подбородком в золотую Дуняшину голову. За роялем сидел толстый лысоватый человек, медленно и скупо выгоняя из-под клавиш негромкие аккорды.

В скромном черном платье с кружевным воротником, с красной розой у пояса, маленькая, точно подросток, Дуняша наполняла зал словами такими же простенькими, как она сама. Ее не сильный, но гибкий и прозрачный голосок звучал неистощимо и создавал напряженную тишину. Самгин, не вслушиваясь в однообразные переливы песни, чувствовал в этой тишине что-то приятное, поискал — что это? И легко нашел: несколько сотен людей молча и даже, пожалуй, благодарно слушают голос женщины, которой он владеет, как хочет. Он усмехнулся, снял очки и, протирая их, подумал не без гордости, что Дуняша — талантлива. Тишину вдруг взорвали и уничтожили дружные рукоплескания, крики,— особенно буйно кричала молодежь с хор, а где-то близко густейший бас сказал, хвастаясь своей силою:

— Спа-си-бо!

Смешно раскачиваясь, Дуняша взмахивала руками, кивала медно-красной головою, пестренькое лицо ее светилось радостью; сжав пальцы обеих рук, она потрясла кулачком пред лицом своим и, поцеловав кулачок, развела руки, разбросила поцелуй в публику. Этот жест вызвал еще более неистовые крики, веселый смех в зале и на хорах. Самгин тоже усмехался, посматривая на людей рядом с ним, особенно на толстяка в мундире

министерства путей,— он смотрел на Дуняшу в бинокль и громко говорил, причмокивая:

— До чего мила, котенок! Гибельно мила...

Ей долго не давали петь, потом она что-то сказала публике и снова удивительно легко запела в тишине. Самгин вдруг почувствовал, что всё это оскорбляет его. Он даже отошел от публики на площадку между двух мраморных лестниц, исключил себя из этих сотен людей. Он живо вспомнил Дуняшу в постели, голой, с растрепанными волосами, жадно оскалившей зубы. И вот эта чувственная, разнузданная бабенка заставляет слушать се, восхищаться ею сотни людей только потому, что она умеет петь глупые песни, обладает способностью воспроизводить вой баб и девок, тоску самок о самцах.

«Есть люди, которые живут, неустанно, как жернова — зерна, перемалывая разнородно тяжелые впечатления бытия, чтобы открыть в них что-то или превратить в ничто. Такие люди для этой толпы идиотов не существуют. Она — существует».

Размышляя, Самгин слушал затейливую мелодию невеселой песни и всё более ожесточался против Дуняши, а когда тишину снова взорвало, он, вздрогнув, повторил:

«Идиоты!»

В зале как будто хлопали крыльями сотни куриц, с хор кто-то кричал:

— Украиньску-у!

На лестницу вбежали двое молодых людей с корзиной цветов, навстречу им двигалась публика,— человек с широкой седой бородою, одетый в поддевку, говорил:

— Обаятельно! Вот это — наше! Это — Русь!

К Самгину подошла Марина в темно-красном платье, с пестрой шалью на груди:

— Пойдем вниз, там чаю можно выпить,— предложила она и, спускаясь с лестницы, шумно вздохнула:

— До чего прелестно украшается она песнями, и какая чистота голоса, вот уж, можно сказать,— светоносный голосок!

У нее дрожали брови, когда она говорила,— она величественно кивала головою в ответ на почтительные поклоны ей.

— Я плохой ценитель народных песен,— сухо выговорил Самгин.

— Одно дело — песня, другое — пение.

Идти рядом с Мариной Самгину было неловко,— горожане щупали его бесцеремонно любопытными взглядами, поталкивали, не извиняясь. Внизу в большой комнате они толпились, точно на вокзале, плотной массой шли к буфету; он сверкал разноцветным стеклом бутылок, а среди бутылок, над маленькой дверью, между двух шкафов, возвышался тяжелый киот, с золотыми виноградами, в нем — темноликая икона; пред иконой, в хрустальной лампаде, трепетал огонек, и это придавало буфету странное сходство с иконостасом часовни. А когда люди поднимали рюмки — казалось, что они крестятся. Где-то близко щелкали шары биллиарда, как бы ставя точки поучительным словам бородатого человека в поддевке:

— Напомнить в наши дни о старинной, милой красоте — это заслуга!

Налево, за открытыми дверями, солидные люди играли в карты на трех столах. Может быть, они говорили между собою, но шум заглушал их голоса, а движения рук были так однообразны, как будто все двенадцать фигур были автоматами.

Марина, расхваливая певицу вполголоса и задумчиво, села в угол, к столику, и, спросив чаю, коснулась пальцами локтя Самгина.

— Что такой хмурый?

— Смотрю, слушаю.

— Ага — этого? Здешний донжуан...

В двух шагах от Клима, спиною к нему, стоял тонкий, стройный человек во фраке и, сам себе дирижируя рукою в широком обшлаге, звучно говорил двум толстякам:

— Да, революция — кончена! Но — не будем жаловаться на нее,— нам, интеллигенции, она принесла большую пользу. Она счистила, сбросила с нас всё то лишнее, книжное, что мешало нам жить, как ракушки и водоросли на киле судна мешают ему плавать...

— Отслужил и — разоблачается,— тихонько усмехаясь, вставила Марина.

— Теперь перед нами живое практическое дело...

— Сынок уездного предводителя дворянства,— шептала Марина.

— Благоустройство государства...

— Молчать! — рявкнул сиповатый голос. Самгин, вздрогнув, привстал, все головы повернулись к буфету, разноголосый говор притих, звучнее защелкали шары биллиарда, а когда стало совсем тихо, кто-то сказал уныло:

— Ну, что же? Играем трефы.

У буфета стоял поручик Трифонов, держась правой рукою за эфес шашки, а левой схватив за ворот лысого человека, который был на голову выше его; он дергал лысого на себя, отталкивал его и сипел:

— Защищать такую шваль, а она...

Лысый, покачиваясь, держа руки по швам, мычал.

— Позовите дежурного старшину! — крикнул человек во фраке и убежал в комнату картежников.

— Личико-то какое — ух! — довольно равнодушно сказала Марина.

Самгин, не отрываясь, смотрел на багровое, уродливо вспухшее лицо и на грудь поручика; дышал поручик так бурно и часто, что беленький крест на груди его подскакивал. Публика быстро исчезала,— широкими шагами подошел к поручику человек в поддевке и, спрятав за спину руку с папиросой, спросил:

— Простите,— в чем дело?

— Пошел прочь,— устало сказал поручик, оттолкнув лысого, попытался взять рюмку с подноса, опрокинул ее и, ударив кулаком по стойке, засипел.

— А ты что, нарядился мужиком, болван? — закричал он на человека в поддевке.— Я мужиков — порю! Понимаешь? Песенки слушаете, картеж, биллиарды, а у меня люди обморожены, чёрт вас возьми! И мне — отвечать за них.

Поручик, широко размахнув рукою, ударил себя в грудь и непечатно выругался...

— Позвоните коменданту,— крикнул бородатый человек и, схватив стул, отгородился им от поручика,— он, дергая эфес шашки, не придерживал ножны левой рукою.

— Ну — пойдем,— предложила Марина. Самгин отрицательно качнул головою, но она взяла его под руку и повела прочь. Из биллиардной выскочил, отирая руки платком, высокий, тонконогий офицер,— он побежал к буфету такими мелкими шагами, что Марина заметила:

— Бежит, а — не торопится.

— Делают революцию, потом орут, негодяи,— защищай! — кричал поручик; офицер подошел вплотную к нему и грозно высморкался, точно желая заглушить бешеный крик.

— У тебя ужасное лицо, что ты? — шептала Марина в ухо Самгину,— он пробормотал:

— Я в одном купе с ним ехал. Он — на усмирение. Он — ненормален...

— Ой, нехорош ты, нехорош,— сказала Марина, входя на лестницу.

Дробно звонил колокольчик, кто-то отчаянно взывал:

— Господа! Начинается второе отделение концерта...

На лестнице Марина выпустила руку Самгина,— он тотчас же сошел вниз в гардеробную, оделся и пошел домой. Густо падали хлопья снега, тихонько шуршал ветер, уплотняя тишину.

«Чего я испугался? — соображал Самгин, медленно шагая.— Нехорош, сказала она... Что это значит? Равнодушная корова»,— обругал он Марину, но тотчас же почувствовал, что его раздражение не касается этой женщины.

«Поручик пьян или сошел с ума, но он — прав! Возможно, что я тоже закричу. Каждый разумный человек должен кричать: „Не смейте насиловать меня!“»

Вместе с пьяным ревом поручика в памяти звучали слова о старинной, милой красоте, о ракушках и водорослях на киле судна, о том, что революция кончена.

«Ложь! — мысленно кричал Самгин.— Не кончена. Не может быть кончена, пока не перестанут пытать мое я...»

Он видел грубоватую наивность своих мыслей, и это еще более расстраивало, оскорбляло его. В этом настроении обиды за себя и на людей, в настроении озлобленной скорби, которую размышление не могло ни ис-

черпать, ни погасить, он пришел домой, зажег лампу, сел в угол в кресло подальше от нее и долго сидел в сумраке, готовясь к чему-то. Сидел и привычно вспоминал всё, мимо чего он прошел и что — так или иначе, но всегда враждебно — задевало его. Напомнил себе, что таких обреченных одиночеству людей, вероятно, тысячи и тысячи и, быть может, он, среди них,— тот, кто страдает наиболее глубоко. Время, тяжело нагруженное воспоминаниями, тянулось крайне медленно; часы давно уже отметили полночь, и Самгин мельком подумал:

«Поклонники милой старины кормят ее в каком-нибудь трактире».

Неприятно было сознаться, что он ждет Дуняшу.

«Я жду не ее. Я — не влюбленный. Не слуга».

Но когда в коридоре зашуршало, точно ветер пролетел, и вбежала Дуняша, схватила его холодными лапками за щеки, поцеловала в лоб,— Самгин почувствовал маленькую радость.

— Ждешь? — быстрым шепотком спрашивала она.— Милый! Я так и думала: наверно — ждет! Скорей,— идем ко мне. Рядом с тобой поселился какой-то противненький и, кажется, знакомый. Не спит, сейчас высунулся в дверь,— шептала она, увлекая его за собою; он шел и чувствовал, что странная, горьковато холодная радость растет в нем.

— Не топай,— попросила Дуняша в коридоре.— Они, конечно, повезли меня ужинать, это уж — всегда! Очень любезные, ну и вообще... А все-таки — сволочь,— сказала она, вздохнув, входя в свою комнату и сбрасывая с себя верхнее платье.— Я ведь чувствую: для них певица, сестра милосердия, горничная — всё равно прислуга.

— Вчера ты говорила иначе,— напомнил Самгин.

— Разве надо каждый день говорить одно и то же? Так и себе и людям опротивеешь.

На столе кипел самовар, коптила неуклюжая лампа,— Самгин деловито убавил огонь.

— Ах, она такая подлая,— сказала Дуняша, махнув рукой на лампу.— Ну, скажи: как я пою? Нет, подожди — вымою руки,— нацеловали, измазали, черти...

Скрылась за ширмой и загремела там железом умывальника, ругаясь:

— У, чёрт...

Лампа снова коптила. Самгин зажег две свечи, а лампу погасил.

— Так — уютнее,— согласилась Дуняша, выходя из-за ширмы в капотике, обшитом мехом; косу она расплела, рыжие волосы богато рассыпались по спине, по плечам, лицо ее стало острее и приобрело в глазах Клима сходство с мордочкой лисы. Хотя Дуняша не улыбалась, но неуловимые, изменчивые глаза ее горели радостью и как будто увеличились вдвое. Она села на диван, прижав голову к плечу Самгина.

— Милый, я — рада! Так рада, что — как пьяная и даже плакать хочется! Ой, Клим, как это удивительно, когда чувствуешь, что можешь хорошо делать свое дело! Подумай,— ну, что я такое? Хористка, мать — коровница, отец — плотник, и вдруг — могу! Какие-то морды, животы перед глазами, а я — пою, и вот, сейчас — сердце разорвется, умру! Это... замечательно!

Вином от нее не пахло, только духами. Ее восторг напомнил Климу ожесточение, с которым он думал о ней и о себе в концерте. Восторг ее был неприятен. А она пересела на колени к нему, сняла очки и, бросив их на стол, заглянула в глаза.

— Ну, скажи: понравилось тебе?

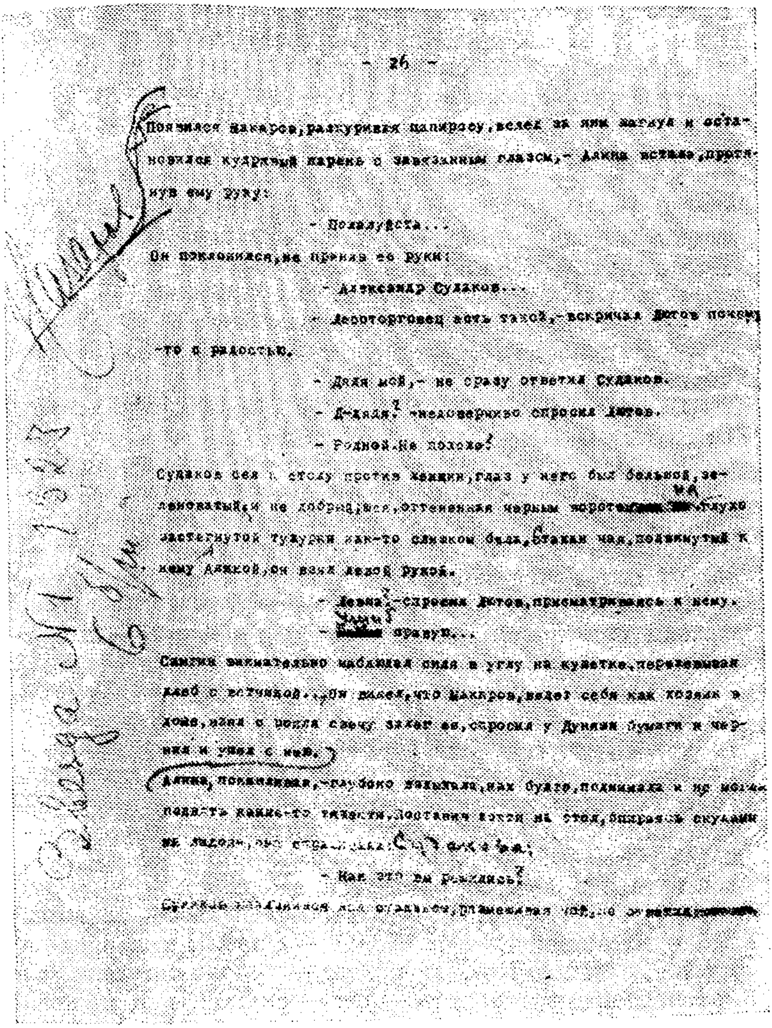
Протянув руку за очками, Самгин наклонился так, что она съехала с его колен; тогда он встал и, шагая по комнате со стаканом вина в руке, заговорил, еще не зная, что скажет:

— Я опоздал, пришлось стоять у двери, там плохо слышно, а в перерыв...

Он стал подробно рассказывать о своем невольном знакомстве с поручиком, о том, как жестко отнесся поручик к старику-жандарму. Но Дуняшу несчастье жандарма не тронуло, а когда Самгин рассказал, как хулиган сорвал револьвер,— он слышал, что Дуняша прошептала:

— Вот молодец...

Самгин с досадой покосился на нее, говоря о бунте поручика в клубе. Дуняша слушала, приоткрыв по-дет-


- 26 -

Появился Макаров, раскуривая папиросу, вслед за ним шагнул и остановился кудрявый парень с завязанным глазом, — Алина встала, протянув ему руку:

— Пожалуйста...

Он поклонился, не приняв ее руки:

— Александр Судаков...

— Лесоторговец хоть такой, — вскричал Дитов почему-то с радостью.

— Дядя мой, — не сразу ответил Судаков.

— Д-дядя? — недоверчиво спросил Дитов.

— Родной. Не похоже?

Судаков сел к столу против женщин, глаз у него был большой, зеленоватый, и не добрый, все, оттененная черным воротом глухо застегнутой тужурки как-то слишком бело. Стакан чая, подвинутый к нему Алиной, он взял левой рукой.

— Левша? — спросил Дитов, присматриваясь к нему.

— [illegible] правую...

Самгин внимательно наблюдал сидя в углу на кушетке, перелистывая [illegible] с [illegible]... Он видел, что Макаров ведет себя как хозяин в доме, [illegible] свечу зажег ее, спросил у Дуняши бумаги и чернил и ушел с ним.

Алина, поднимаясь, глубоко вздыхала, как будто, поднимала и не могла поднять какие-то тяжести. Поставив локти на стол, опираясь скулами на ладони, [illegible]:

— Как это вы ранились?

Судаков [illegible]

«ЖИЗНЬ КЛИМА САМГИНА», ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ.
Машинописная страница с правкой М. Горького.

ски рот, мигая, и медленно гладила щеки свои волосами, забрав их в горсти.

— После скандала я ушел и задумался о тебе,— вполголоса говорил Самгин, глядя на дымок папиросы, рисуя ею восьмерки в воздухе.— Ты, наверху, поешь, воображая, что твой голос облагораживает скотов, а скоты, внизу...

— Почему же офицер — скот? — нахмурив брови, удивленно спросила Дуняша.— Он просто — глупый и нерешительный. Он бы пошел к революционерам и сказал: я — с вами! Вот и всё.

Налив себе рюмку мадеры, она сказала:

— А я вовсе ничего не воображаю.

— Разумеется, поручик меня не интересует, а вот твое будущее...

И, остановясь против Дуняши, он стал изображать ее будущее.

— Голос у тебя небольшой и его ненадолго хватит. Среда артистов — это среда людей, избалованных публикой, невежественных, с упрощенной моралью, разнузданных. Кое-что от них — например, от Алины — может быть, уже заразило и тебя.

Он видел, что лицо Дуняши вытягивается, теряет краски оживления, становится пестреньким,— выступили веснушки, и она прищурила глаза.

— Общественные шуты, они живут для забавы сытых...

— Ах, боже мой! — вскричала Дуняша, удивленно всплеснув руками,— вот не ожидала! Ты говоришь совсем, как муж мой...

— Если он так говорил, он говорил не глупо,— сказал Самгин, отходя от нее, а она, покраснев до плеч, закидывая волосы на спину, продолжала:

— Нет — глупо! Он — пустой. В нем всё — законы, всё — из книжек, а в сердце — ничего, совершенно пустое сердце! Нет, подожди! — вскричала она, не давая Самгину говорить.— Он — скупой, как нищий. Он никого не любит, ни людей, ни собак, ни кошек, только телячьи мозги. А я живу так: есть у тебя что-нибудь для радости? Отдай, поделись! Я хочу жить для радости... Я знаю, что это — умею!

Но тут из глаз ее покатились слезы, и Самгин подумал, что плакать она — не умеет: глаза открыты и ярко сверкают, рот улыбается, она колотит себя кулаками по коленям и вся воинственно оживлена. Слезы ее — не настоящие, не нужны, это — не слезы боли, обиды. Она говорила низким голосом:

— Он — дурак. Всегда — дурак: стоя, сидя, лежа. Вот эдаких надобно пороть... даже расстреливать надобно,— не дыми, не воняй, дурак!

Самгин слушал и чувствовал, что злится. Погасив папиросу о ломтик лимона, он сказал сквозь зубы:

— Подожди, не бесись...

Она — не ждала. Откинувшись на спинку дивана, упираясь руками в сиденье и разглядывая Самгина удивленно, она говорила:

— Совершенно не понимаю, как ты можешь петь по его нотам? Ты даже и не знаком с ним. И вдруг ты, такой умный... чёрт знает что это!

Самгин пожал плечами, говоря:

— Ты поешь сладкие песенки, а идиоты убеждаются, что всё благополучно.

Он понимал, что говорит плохо и что слова его не доходят до нее. Ему хотелось крикнуть, топнуть, вообще — испугать эту маленькую женщину, чтоб она заплакала другими слезами. Враждебное чувство к ней, опьяняя его, возбуждало чувственность, вызывало мстительное желание. Он шагал мимо нее, рисуя пред собою картину циничесной расправы с нею, готовясь схватить ее, мять, причинить ей боль, заставить плакать, стонать; он уже не слышал, что говорит Дуняша, а смотрел на ее почти открытые груди и знал, что вот сейчас...

Но она сама, схватив его за руку, заставила сесть рядом с собою и, крепко обняв голову его, спросила быстрым, тревожным шёпотом:

— Что с тобой, милый? Кто тебя обидел? Ну, скажи мне! Боже мой, у тебя такие сумасшедшие, такие жалкие глаза...

Это было глупо, смешно и унизительно. Этого он не мог ожидать, даже не мог бы вообразить, что Дуняша или какая-то другая женщина заговорит с ним в таком

тоне. Оглушенный, точно его ударили по голове чем-то мягким, но тяжелым, он попытался освободиться из ее крепких рук, но она, сопротивляясь, прижала его еще сильней и горячо шептала в ухо ему:

— Я знаю, что тебе трудно, но ведь это — ненадолго, революция — будет, будет!

— Позволь,— пробормотал он, собираясь сказать ей что-то сердитое, ироническое, убийственное, но сказал только: — Мне — неудобно.

В самом деле было неудобно: Дуняша покачивала голову его, жесткий воротник рубашки щипал кожу на шее, кольцо Дуняши больно давило ухо.

— Ты — умница,— шептала она.— Я ведь много знаю про тебя, слышала, как рассказывала Алина Лютову, и Макаров говорил тоже, и сам Лютов тоже говорил хорошо...

Выдернув, наконец, голову, оправляя волосы, Клим вскочил на ноги.

— Лютов не мог хорошо говорить обо мне и вообще о ком-нибудь.

Он чувствовал, что говорит — не то, ведет себя — не так и, должно быть, смешон.

— Нет, нет, это неверно,— торопливо и убедительно восклицала Дуняша.— Он сказал Макарову при мне: «Самгин смотрит на улицу с чердака и ждет своего дня, копит силы, а дождется, выйдет на свет — тут все мы и ахнем!» Только они говорят, что ты очень самолюбив и скрытен.

Она стояла пред ним, положив руки на плечи его,— руки были тяжелые, а глаза ее блестели ослепляюще.

«Пошлейшая сцена»,— убеждал себя Самгин, но слушал.

— Лютов — замечательный! Он — точно Аким Александрович Никитин,— знаешь, директор цирка? — который насквозь видит всех артистов, зверей и людей.

Он обнимал талию женщины, но руки ее становились как будто всё тяжелее и уничтожали его жестокие намерения, охлаждали мстительно возбужденную чувственность. Но все-таки нужно было поставить женщину на ее место.

— Ну, довольно! — сказал он и, намеренно крепко,

грубо схватив ее, приподнял, но она вырвалась из его рук, отскочила за стол.

— Нет, подожди! Ты думаешь, я — блаженненькая, вроде уличной дурочки? Думаешь — не знаю я людей? Вчера здешний газетчик, такой курносенький, жирный поросенок... Ну,— не стоит говорить!

И, запахнув капот на груди, она громко сказала:

— Делиться надобно не пакостью, а радостью...

— Довольно,— повторил Самгин, подходя к ней.

— Оставь, расстроил ты меня и... устала я!

Вздохнув, она скучно взглянула за плечо его, мимо лица.

— Надеялась,— попраздную с тобою! А — не вышло... Ты — иди. Уж очень я... не в духе! И — поздно уже. Иди, пожалуйста!

Самгин ушел, не сказав ни слова, надеясь, что этим обидит ее или заставит понять, что он — обижен. Он действительно обиделся на себя за то, что сыграл в этой странной сцене глупую роль.

«Чёрт меня дернул говорить с нею! Она вовсе не для бесед. Очень пошлая бабенка»,— сердито думал он, раздеваясь, и лег в постель с твердым намерением завтра переговорить с Мариной по делу о деньгах и завтра же уехать в Крым.

Но утром, когда он пил чай, явился Дронов.

Всем существом своим он изображал радость, широко улыбался, показывая чиненные золотом зубы, быстро катал шарики глаз своих по лицу и фигуре Самгина, сучил ногами, точно муха, и потирал руки так крепко, что скрипела кожа. Стертое лицо его напоминало Климу людей сновидения, у которых вместо лица — ладони.

— Постарел ты, Самгин, седеешь, и волос редковат,— отметил он и добавил с дружеским упреком: — Рановато! Хотя время такое, что даже позеленеть можно.

Самгин предложил ему чаю, но Дронов попросил вина.

— Тут есть беленькое, «Грав»,— очень легкое и милое! Сырку спроси, а потом — кофеишко закажем,— бойко внушал он.— Ты — извини, но я почти не спал ночью, после концерта — ужин, а затем — драма:

офицер с ума спятил, изрубил шашкой полицейского, ранил извозчика и ночного сторожа и вообще — навоевал!

— Весело рассказываешь,— отметил Самгин, усмехаясь; Дронов покосился на него прищуренным глазом и, почесывая бритый подбородок, сказал очень просто:

— Я, брат, циником становлюсь. Жизнь всего успешнее обучает цинизму.

И, потянув носом, он добавил, тоже усмехаясь:

— Теперь, когда ее взболтали, она — гнильем пахнет. Не чувствуешь?

— Нет,— ответил Самгин, думая, что, если рассказать ему, как вел себя, что говорил поручик в поезде,— Дронов напишет об этом и всё опошлит.

— Не чувствуешь? — повторил Дронов и, приятельски заказав слуге вино, сыр, кофе,— позевнул.

— А знаешь,— здесь Лидия Варавка живет, дом купила. Оказывается — она замужем была, овдовела и — можешь представить? — ханжой стала. Занимается религиозно-нравственным возрождением народа, это — дочь цыганки и Варавки! Анекдот, брат,— верно? Богатая дама. Ее тут обрабатывает купчиха Зотова, торговка церковной утварью, тоже, говорят, сектантка, но — красивейшая бабища...

Самгину неприятно было узнать, что Лидия живет в этом городе, и захотелось расспросить о Марине.

— В каком смысле — обрабатывает,— в сектантском?

— Чёрт ее знает! Вот — заставила Лидию купить у нее дом,— неохотно, снова позевнув, сказал Дронов, вытянул ноги, сунул руки в карманы брюк и стремительно начал спрашивать:

— Ну, что у вас там, в центре? По газетам не поймешь: не то — всё еще революция, не то — уже реакция? Я, конечно, не о том, что говорят и пишут, а — что думают? От того, что пишут, только глупеешь. Одни командуют: раздувай огонь, другие — гаси его! А третьи предлагают гасить огонь соломой...

— А сам ты как думаешь? — спросил Клим; он не хотел говорить о политике и старался догадаться —

почему Марина, перечисляя знакомых, не упомянула о Лидии?

— Как думаю я? — переспросил Дронов, налил вина, выпил, быстро вытер губы платком, и все признаки радости исчезли с его плоского лица; исподлобья глядя на Клима, он жевал губами и делал глотательные движения горлом, как будто его тошнило. Самгин воспользовался паузой.

— Все-таки: что же такое — эта Зотова?

— А... зачем она тебе?

Клим сказал, что приехал он по делу своего доверителя с Зотовой.

— Угу,— отозвался Дронов.— Нашел время судиться доверитель твой! Чокнемся!

Сладостно прикрыв глаза, Дронов высосал вино и вздохнул:

— Зотова? Красива, богата, говорят — умна и якобы недоступна вожделениям плоти, пользуется в городе почетом, а в общем — темная баба! Муж у нее, говорят, был каким-то доморощенным философом, сектантом и ростовщиком, разорил кого-то вдребезги, тот — застрелился. Ты про нее Лидию спроси,— сказал он, пожимаясь, точно ему стало холодно.— Она Лидию, наверно, обирает. Лидия ведь богата — у-у! Я у нее денег просил на издательство,— мечта моя — книги издавать! Согласилась, обещала, но эта, Зотова, видимо, запретила ей. Ну — чёрт с ними! Денег я достану. Нет, ты мне скажи: будет у нас конституция?

— Будет,— обещал Самгин, не глядя на него.

— Так...

Дронов приподнялся, подогнул под себя ногу, сел на нее и несколько секунд присматривался к лицу Самгина, покусывая губы, играя цепочкой часов; потом — спросил:

— А тебе она — нужна? Конституция?

— Странный вопрос.

— Нет,— серьезно?

— Шаг вперед,— нехотя сказал Самгин, пожимая плечами.

— И — далеко вперед? — назойливо добивался Дронов.

Клим, разливая вино по стаканам, ответил не сразу:

— Увидим.

— Осторожно сказано,— вздохнул Дронов.— А я, брат, что-то не верю в благополучие. Россия — страна не-бла-го-по-лу-чная,— произнес он, напомнив тургеневского Пигасова.— Насквозь неблагополучная. И правят в ней не Романовы, а Карамазовы. Бесы правят. «Закружились бесы разны».

«Пьянеет»,— отметил Самгин.

Лицо Дронова расплылось, он сопел, трепетали ноздри, уши налились кровью и вспухли.

— Томилина помнишь? Вещий человек. Приезжал сюда читать лекцию «Идеал, действительность и „Бесы" Достоевского». Был единодушно освистан. А в Туле или в Орле его даже бить хотели. Ты что гримасничаешь?

— Голова болит.

— Бек или мек?

— Я перестал заниматься политикой.

Ответ Самгина или равнодушие ответа как будто отрезвили Дронова,— он вынул золотые часы и, глядя на них, сказал очень просто и трезво:

— Да, ты — не из тех рыб, которые ловятся на блесну! Я — тоже не из них. Томилин, разумеется, каталог книг, которые никто не читает, и самодовольный идиот. Пророчествует—со страха, как все пророки. Ну и — к чёрту его!

Раскачивая часы на цепочке и задумчиво глядя в лицо Самгина, он продолжал:

— Однако — в какой струе плыть? Вот мой вопрос, откровенно говоря. Никому, брат, не верю я. И тебе не верю. Политикой ты занимаешься,— все люди в очках занимаются политикой. И, затем, ты адвокат, а каждый адвокат метит в Гамбетты и Жюль Фавры.

— Это остроумно,— сказал Самгин, находя, что надо же сказать что-нибудь.

Дронов встал, посмотрел на свои ноги в гамашах.

— Вижу, что ты к беседе по душам не расположен,— проговорил он, усмехаясь.— А у меня времени нет растрясти тебя. Разумеется, я — понимаю: конспира-

ция! Третьего дня Инокова встретил на улице, окликнул даже его, но он меня не узнал будто бы. Н-да. Между нами — полковника-то Васильева он ухлопал,— факт! Ну, что ж,— прощай, Клим Иванович! Успеха! Успехов желаю.

Казалось, что Дронов не ушел, а расплылся в воздухе серым жирненьким дымом.

«Маленький негодяй хочет быть большим, но чего-то боится»,— решил Самгин, толкнув коленом стул, на котором сидел Дронов, и стал тщательно одеваться, собираясь к Марине.

«Она тоже говорила о страхе жизни»,— вспомнил он, шагая под серебряным солнцем. Город, украшенный за ночь снегом, был удивительно чист и необыкновенно, ласково скучен.

Магазин Марины был наполнен блеском еще более ослепительным, как будто всю церковную утварь усердно вычистили мелом. Особенно резал глаза Христос, щедро и весело освещенный солнцем, позолоченный, кокетливо распятый на кресте черного мрамора. Марина продавала старику в полушубке золотые нательные крестики, он задумчиво пересыпал их из горсти в горсть, а она говорила ему ласково и внушительно:

— О предметах священных много торговаться — нехорошо!

— Да ведь со мною покупатель-то будет торговаться? — спросил старик, покачивая головой.— Ему тоже охота священный-то подешевле купить...

Тем же ласковым тоном, каким она говорила с покупателем, Марина сказала Самгину:

— Проходите, пожалуйста, туда!

Комната за магазином показалась Климу давно и до мельчайших подробностей знакомой. Это было так странно, что потребовало объяснения, однако Самгин не нашел его.

«Зрительная память у меня не так хороша»,— подумал он.

Лепообразный отрок плотно прикрыл дверь из магазина,— это придало комнате еще более неприятную затаенность. Теплый, духовитый сумрак тоже был неприятен.

«Темная баба»,— вспомнил Клим отзыв Дронова и презрительно подумал: «Как муха, на всем оставляет свой грязный след».

Явилась Марина, побрякивая ключами; он тотчас же рассказал ей, зачем пришел, а она, внимательно выслушав его, лениво сказала:

— Алеша-то Гогин, должно быть, не знает, что арест на деньги наложен был мною по просьбе Кутузова. Ладно, это я устрою, а ты мне поможешь,— к своему адвокату я не хочу обращаться с этим делом. Ты — что же,— в одной линии со Степаном?

— Не совсем,— сказал Самгин.— Помогаю чем могу.

— Сочувствуешь,— сказала она, как бы написав слово крупным почерком, и объяснила его сама себе: — Сочувствовать — значит чувствовать наполовину. Чайку выпьем?

Она пощупала бок самовара, ткнула пальцем в кнопку звонка и, когда в дверь заглянул отрок, сказала:

— Подогрей, Мишка!

Затем снова обратилась к Самгину:

— Около какой же правды греешься? Марксист все-таки?

— Экономическое его учение принимаю...

— Степан утверждает, что Маркса нужно принимать целиком или уж лучше не беспокоить.

Самгин, усмехаясь, спросил:

— Ты — не беспокоишь?

Она не успела ответить,— в магазине тревожно задребезжал звонок. Самгин уселся в кресло поплотнее, соображая:

«Исповедовать хочет. Бабье любопытство...»

Он снова заставил себя вспомнить Марину напористой девицей в желтом джерси и ее глупые слова: «Ношу джерси, потому что терпеть не могу проповедей Толстого». Кутузов называл ее Гуляй-город. И, против желания своего, Самгин должен был признать, что в этой женщине есть какая-то приятно угнетающая, теплая тяжесть.

«Простодушие? Искренность? Любопытный тип. Странно, что она сохранила добрые отношения с Кутузовым».

В магазине мягкий басок вкрадчиво выпевал:

— Какой сияющий день послал нам господь и как гармонирует природа с веселием граждан, оживленных духом свободы...

Затем басок стал говорить потише, а Марина твердо сказала:

— Сто тридцать пять, меньше — не могу.

— Городок у нас, почтеннейшая, маленький, прихожане — небогаты, кругом — язычники, мордва.

— Не могу,— повторила Марина.

— Ох, какие большие деньги сто рублей!

Самгин слушал и улыбался. Красавец Миша внес яростно кипевший самовар и поглядел на гостя сердитым взглядом чернобровых глаз,— казалось, он хочет спросить о чем-то или выругаться, но явилась Марина, говоря:

— Жестоко торгуются попы! Четвертый раз приходит, а сам — из далекого уезда. Сколько денег проест, живя здесь.

Заваривая чай, она продолжала:

— Большая у меня охота побеседовать с тобой эдак, знаешь, открыто, без многоточий, очень это нужно мне, да вот всё мешают! Ты выбери вечерок, приди ко мне сюда или домой.

— С удовольствием,— сказал Самгин.

— Вот — завтра. Воскресенье, торгую до двух. Помню я тебя человеком несогласным, а такие и есть самые интересные.

Самгин счел нужным предупредить, что едва ли он покажется ей интересным.

— Ну, как же это? — ласково возразила она.— Прожил человек половину жизни...

— Жизнь сводится, в сущности, к возне человека с самим собою,— почти сердито, неожиданно для себя, произнес Самгин, и это еще более рассердило его.

— Это — правда,— легко и просто согласилась Марина, как будто она услыхала самые обыкновенные слова.

«Не поняла»,— подумал он, хмурясь, дергая бородку и довольный тем, что она отнеслась к его невольному признанию так просто. Но Марина продолжала:

— «Восемьдесят тысяч верст вокруг самого себя»,— как сказал Глеб Иванович Успенский о Льве Толстом. А ведь это, пожалуй, так и установлено навсегда, чтобы земля вращалась вокруг солнца, а человек — вокруг духа своего.

Самгин посмотрел на нее вопросительно, ожидая какой-то каверзы; она, подвинув ему чашку чая, вздохнула:

— Прелестный человек был Глеб Иванович! Я его видела, когда он уже совсем духовно истлевал, а супруг мой близко знал его, выпивали вместе, он ему рассказы свои присылал, потом они разошлись в разуме.

Она усмехнулась, разглаживая ладонями юбку на коленях:

— На оттиске рассказа «Взбрело в башку» он супругу моему написал: «Искал ты равновесия, дошел до мракобесия».

— Что значит: разошлись в разуме? — спросил Самгин, когда она, замолчав, начала пить чай.

— Ну,— в привычках мысли, в направлении ее,— сказала Марина, и брови ее вздрогнули, по глазам скользнула тень.— Успенский-то, как ты знаешь, страстотерпец был и чувствовал себя жертвой миру, а супруг мой — гедонист, однако не в смысле только плотского наслаждения жизнью, а — духовных наслаждений.

Глядя на ее потемневшие глаза, Клим требовательно произнес:

— Этого я не понимаю...

— Да, тебе трудно понять,— согласилась Марина.— Недаром ты и лицом на Успенского несколько похож.

— Я? — удивленно спросил Самгин.— И лицом? Почему — и? Разве ты думаешь, что я тоже — миру жертва?

— Ну, а кто — не жертва ему? — спросила Марина и вдруг сочно рассмеялась, встряхнув головою так, что пышные каштановые волосы пошевелились, как дым. Сквозь смех она говорила:

— Да ты чего испугался? Ты меня дурочкой, какой в Петербурге знал,— не вспоминай, я теперь по-другому дурочка.

— Я — не испугался,— пробормотал он, отодвигаясь,— но согласись, что...

Марина встала, протягивая руку:

— Значит — до завтра? К двум. Ну,— будь здоров!

Провожая его, она, в магазине, сказала:

— Слышал — офицер-то людей изрубил? Ужас какой!

— Да,— согласился Самгин.

«Действительно — темная баба»,— размышлял он, шагая по улице в холодном сумраке вечера. Размышлял сердито и чувствовал, что неприязненное любопытство перерождается в серьезный и тревожный интерес к этой женщине. Он оправдывался пред кем-то:

«Всякого заинтересовала бы. Гедонизм. Чепуха какая-то. Очевидно — много читала. Говорит в манере героинь Лескова. О поручике вспомнила после всего и равнодушно. Другая бы ужасалась долго. И — сентиментально... Интеллигентские ужасы всегда и вообще сентиментальны... Я, кажется, не склонен ужасаться. Не умею. Это — достоинство или недостаток?»

Не желая видеть Дуняшу, он зашел в ресторан, пообедал там, долго сидел за кофе, курил и рассматривал, обдумывал Марину, но понятнее для себя не увидел ее. Дома он нашел письмо Дуняши,— она извещала, что едет петь на фабрику посуды, возвратится через день. В уголке письма было очень мелко приписано: «Рядом с тобой живет подозрительный, и к нему приходил Судаков. Помнишь Судакова?»

Самгин разорвал записку на мелкие кусочки, сжег их в пепельнице, подошел к стене, прислушался,— в соседнем номере было тихо. Судаков и «подозрительный» мешали обдумывать Марину,— он позвонил, пришел коридорный — маленький старичок, весь в белом и седой.

«Какой... нереальный»,— отметил Самгин.— Самовар и бутылку красного вина, пожалуйста! Рядом со мной живет кто-нибудь?

— Оподдень изволили выехать на вокзал,— вежливо ответил старичок.

Это было приятно слышать, и Самгин тотчас же вернулся к Марине.

«Дурочка — по-другому». Верует в бога. И, кажется, иронизирует над собой? Неужели — в церковного бога? В сущности, она, несмотря на объем ее, тоже — нереальна. Необычна»,— уступил он кому-то, кто хотел возразить.

Запах жженой бумаги вынудил его открыть форточку. В разных местах города выли и лаяли на луну собаки. Луна стояла над пожарной каланчой.— «Как точка над i»,— вспомнил Самгин стих Мюссе — и тотчас совершенно отчетливо представил, как этот блестящий шарик кружится, обегая землю, а земля вертится, по спирали, вокруг солнца, стремительно — и тоже по спирали — падающего в безмерное пространство; а на земле, на ничтожнейшей точке ее, в маленьком городе, где воют собаки, на пустынной улице, в деревянной клетке, стоит и смотрит в мертвое лицо луны некто Клим Самгин.

Стало холодно,— вздрогнув, он закрыл форточку. Космологическая картинка исчезла, а Клим Самгин остался, и было совершенно ясно, что и это тоже какой-то нереальный человек, очень неприятный и даже как бы совершенно чужой тому, кто думал о нем, в незнакомом деревянном городе, под унылый, испуганный вой собак.

«Суть в том, что я не могу найти в жизни точку, которая притягивала бы меня всего целиком».

Стало жалко себя, и тогда он подумал:

«Это — свойство людей исключительно одаренных, разнообразно талантливых».

«Но может быть — и свойством людей... разбитых ударами действительности».

«Бездарных? Нет. Бездарность — это бесформенность, неопределенность. Я — достаточно определенен».

Другой Самгин тоже угрюмо, но строго и почти грубо возразил ему:

«Ты мог бы не делать таких глупостей, как эта поездка сюда. Ты исполняешь поручение группы людей, которые мечтают о социальной революции. Тебе вообще никаких революций не нужно, и ты не веришь в необходимость революции социальной. Что может

быть нелепее, смешнее атеиста, который ходит в церковь и причащается?»

Ссора быстро принимала ожесточенный характер; вмешался Самгин третий — Самгин мелких мыслей.

«О причастии говорила Дуняша...»

Самгин первый углублял мысли.

«Причаститься — значит признать и почувствовать себя частью некоего целого, отказаться от себя. Возможно, что это воображается, но едва ли чувствуется. Один из самообманов, как „любовь к народу", „классовая солидарность"».

«А — Степан Кутузов?»

«Он сам утверждал, что капиталистическое общество разрушает социальный инстинкт».

«Он — делает, „делающий — это верующий"».

«Он делает не то, что все, а против всех. Ты делаешь, не веруя. Едва ли даже ты ищешь самозабвения. Под всею путаницей твоих размышлений скрыто живет страх пред жизнью, детский страх темноты, которую ты не можешь, не в силах осветить. Да и мысли твои — не твои. Найди, назови хоть одну, которая была бы твоя, никем до тебя не выражена!»

Этот, новый Самгин явно одолевал, и тот, который видел сам себя настоящим, реальным, почти уже не сопротивлялся ему, а только подумал устало:

«Заболеваю или выздоравливаю?»

Безмолвная ссора продолжалась. Было непоколебимо тихо, и тишина эта как бы требовала, чтоб человек думал о себе. Он и думал. Пил вино, чай, курил папиросы одну за другой, ходил по комнате, садился к столу, снова вставал и ходил; постепенно раздеваясь, снял пиджак, жилет, развязал галстук, расстегнул ворот рубахи, ботинки снял.

Думы однообразно повторялись, становясь всё более вялыми,— они роились, как мошки, избрав для игры своей некую пустоту, которая, однако, не была свободна и заключалась в тесных границах. Потом Самгин погасил лампу, лег в постель,— тогда вокруг него стало еще более тихо, пусто и обидно. Обида разрасталась, перерождаясь в другое чувство, похожее на страх перед чем-то. Неприятно, волнами, набегала дремота, но за-

снуть не удавалось, мешали толчки изнутри, вызывая дрожь в теле. Бесконечно долго тянулась эта опустошенная, немая ночь, потом загудел благовест к ранней обедне,— медь колоколов пела так громко, что стекла окон отзывались ноющим звуком, звук этот напоминал начало зубной боли.

«Ждать до двух — семь часов»,— сердито сосчитал Самгин. Было еще темно, когда он встал и начал мыться, одеваться; он старался делать всё не спеша и ловил себя на том, что торопится. Это очень раздражало. Потом раздражал чай, слишком горячий, и была еще одна, главная причина всех раздражений: назвать ее не хотелось, но когда он обварил себе палец кипятком, то невольно и озлобленно подумал:

«Веду я себя — точно перед экзаменом. Или — как влюбленный».

С трудом дотянув время до полудня, Самгин оделся и вышел на улицу.

Его встретил мягкий, серебряный день. В воздухе блестела снежная пыль, оседая инеем на проводах телеграфа и телефона,— сквозь эту пыль светило мутноватое солнце. Потом обогнал человек в новеньком темно-сером пальто, в серой пуховой шляпе, надетой так глубоко, что некрасиво оттопырились уши.

Шел он очень быстро, наклонив голову, держа руки в карманах, и его походка напомнила Самгину, что он уже видел этого человека в коридоре гостиницы,— видел сутулую спину его и круто стесанный затылок в черных, гладко наклеенных волосах.

«Вероятно, Дуняшин „подозрительный". На филера — не похож. Да ведь подозрительный вчера уехал...»

Человек дошел до угла, остановился и, согнувшись, стал поправлять галошу, подняв ногу; поправил, натянул шляпу еще больше и скрылся за углом.

Пустынная улица вывела Самгина на главную,— обе они выходили под прямым углом на площадь; с площади ворвалась пара серых лошадей, покрытых голубой сеткой; они блестели на солнце, точно смазанные маслом, и выкидывали ноги так гордо, красиво, что Самгин приостановился, глядя на их быстрый парадный бег. На козлах сидел, вытянув руки, огромный кучер в ме-

ковой шапке с квадратным голубым верхом, в санях — генерал в широчайшей шинели; голову, накрытую синим кружком фуражки, он спрятал в бобровый воротник и был похож на колокол, отлитый из свинца. Сзади саней тяжело подпрыгивали на рыжих лошадях двое полицейских в черных шинелях, в белых перчатках.

Самгин видел, как за санями взорвался пучок огня, похожий на метлу, разодрал воздух коротким ударом грома, взметнул облако снега и зеленоватого дыма; всё вокруг дрогнуло, зазвенели стекла,— Самгин пошатнулся от толчка воздухом в грудь, в лицо и крепко прилепился к стене, на углу. Он видел, как в прозрачном облаке дыма и снега кувыркалась фуражка; она первая упала на землю, а за нею падали, обгоняя одна другую, щепки, серые и красные тряпки; две из них взлетели особенно высоко и, легкие, падали страшно медленно, точно для того, чтоб навсегда остаться в памяти. Видел Самгин, как на снегу, там и тут, появлялись красные капли,— одна из них упала близко около него, на вершину тумбы, припудренную снегом, и это было так нехорошо, что он еще плотней прижался к стене.

Он не заметил, откуда выскочила и, с разгона, остановилась на углу черная тонконогая лошадь,— остановил ее Судаков, запрокинувшись с козел назад, туго вытянув руки; из-за угла выскочил человек в сером пальто, прыгнул в сани,— лошадь помчалась мимо Самгина, и он видел, как серый человек накинул на плечи шубу, надел мохнатую шапку.

Пара серых лошадей бежала уже далеко, а за ними, по снегу, катился кучер; одна из рыжих, неестественно вытянув шею, шла на трех ногах и храпела, а вместо четвертой в снег упиралась толстая струя крови; другая лошадь скакала вслед серым,— ездок обнимал ее за шею и кричал; когда она задела боком за столб для афиш, ездок свалился с нее, а она, прижимаясь к столбу, скрипуче заржала.

Второй полицейский, лысый, без шапки, сидел на снегу, на ногах у него лежала боковина саней, он размахивал рукой без перчатки и кисти,— из руки брызгала кровь,— другою рукой закрывал лицо, и кричал нечеловеческим голосом, похожим на блеяние овцы.

Самгин, оглушенный, стоял на дрожащих ногах, очень хотел уйти, но не мог, точно спина пальто примерзла к стене и не позволяла пошевелиться. Не мог он и закрыть глаз,— всё еще падала взметенная взрывом белая пыль, клочья шерсти; раненый полицейский, открыв лицо, тянул на себя медвежью полость; мелькали люди, почему-то все маленькие,— они выскакивали из ворот, из дверей домов и становились в полукруг; несколько человек стояло рядом с Самгиным, и один из них тихо сказал:

— Вот и у нас...

Никто не решался подойти к бесформенной груде серых и красных тряпок,— она сочилась кровью, и от крови поднимался парок. Было страшно смотреть на это, не имеющее никакого подобия человека, растерзанное и — маленькое. Глаза напряженно искали в куче тряпок что-нибудь человеческое, и Самгин закрыл глаза только тогда, когда различил под мехом полости желтую щеку, ухо и, рядом с ним, развернутую ладонь. Голоса людей зазвучали громче, двое подошли к полицейскому, наклонились над ним. Высокая барышня с коньками в руке спросила Самгина:

— Вы ранены?

Он тряхнул головой, оторвался от стены и пошел; идти было тяжко, точно по песку, мешали люди; рядом с ним шагал человек с ремешком на голове, в переднике и тоже в очках, но дымчатых.

— Вот те и превосходительство,— тихонько сказал он, подхватив Самгина под локоть, и шепнул ему: — Сотрите кровь-то со щеки, а то в свидетели потянут.

Быстро выхватив платок из кармана, Самгин прижал его к правой щеке и, почувствовав остренькую, колющую боль, с испугом поднял воротник. Боль в щеке была не сильная, но разлилась по всему телу и ослабила Клима. Он остановился на углу, оглядываясь: у столба для афиш лежала лошадь с оторванной ногой, стоял полицейский, стряхивая перчаткой снег с шинели, другого вели под руки, а посреди улицы — исковерканные сани, красно-серая куча тряпок, освещенная солнцем; лучи его всё больше выжимали из нее крови, она как бы таяла; Самгину показалось, что и небо,

и снег, и стекла в окнах — всё стало ярче,— ослепительно и даже бесстыдно ярко. Он шел осторожно, как по льду,— ему казалось, что если он пойдет быстрее, то свалится. Вероятно, он прошел бы мимо магазина Марины, но она стояла на панели.

— Губернатора? — тихонько спросила она и, схватив Самгина за рукав пальто, толкнула его в дверь магазина.— Ой, что это, лицо-то у тебя? Клим,— да неужели ты..?

По ее густому шёпоту, по толчкам в спину Самгин догадался, что она испугалась и, кажется, подозревает его. Он быстро пробормотал несколько слов, и Марина, втолкнув его в комнату, заговорила громче, деловито:

— Ну-ко, покажи! В ранке есть что-то... Сядь!

Отбежала в угол комнаты, спрашивая:

— Бомбиста — схватили? Нет?

Потом она обожгла щеку его одеколоном, больно поковыряла ее острым ногтем и уже совсем спокойно сказала:

— Железинка воткнулась,— пустяки! Вот если бы в глаз... Ну, рассказывай!

Но говорить он не мог, в горле шевелился горячий сухой ком, мешая дышать; мешала и Марина, заклеивая ранку на щеке круглым кусочком пластыря. Самгин оттолкнул ее, вскочил на ноги,— ему хотелось кричать, он боялся, что зарыдает, как женщина. Шагая по комнате, он слышал.

— Ой, как тебя ушибло! На, выпей скорее... И возьми-ко себя в руки... Хорошо, что болвана Мишки нет, побежал туда, а то бы... Он с фантазией. Ну, довольно, Клим, сядь!

Самгин послушно сел, закрыл глаза, отдышался и начал рассказывать, судорожно прихлебывая чай, стуча стаканом по зубам. Рассказывал он торопливо, бессвязно, чувствовал, что говорит лишнее, и останавливал себя, опаздывая делать это.

«Не следовало называть Судакова».

Марина слушала, приподняв брови, уставясь на него янтарными зрачками расширенных глаз, облизывая губы кончиком языка,— на румяное лицо ее, как будто изнутри, выступила холодная тень.

— Когда парнишка придет — ты перестань об этом,— предупредила она.

Не отводя глаз от его лица, поправляя обеими руками тяжелую массу каштановых волос, она продолжала вполголоса:

— Но — до чего ты раздерган! Вот — не ожидала! Такой ты был... уравновешенный. Что же с тобой будет, эдак-то?

Самгин пожал плечами,— тон ее был приятен ему, а она строговато, как старшая, начала допрашивать его:

— С женой — совсем порвал? С Дуняшей-то серьезно, что ли? Как же и где думаешь жить? — Он отвечал ей кратко, откровенно и, сам несколько удивляясь этой откровенности, постепенно успокаивался.

— В своей ли ты реке плаваешь? — задумчиво спросила она и тотчас же усмехнулась, говоря: — Так — осталась от него кучка тряпок? А был большой... пакостник. Они трое: он, уездный предводитель дворянства да управляющий уделами — девчонок-подростков портить любили. Архиерей донос посылал на них в Петербург,— у него епархиалочку отбили, а он для себя берег ее. Теперь она — самая дорогая распутница здесь. Вот, пришел, негодяй!

Она встала, вышла в магазин, и там тяжело зазвучали строгие ее вопросы:

— Ты — что же, болван, забыл, что магазин запирать надобно? А тебе какое дело? Ну — не поймали, а — тебе что?

Возвратясь, она сказала вполголоса:

— Никого не поймали. Ты, Клим Иванович, поди-ко к себе в гостиницу, покажись там...

Самгин поднялся на ноги, изумленно спросил:

— Неужели ты думаешь..?

— Ничего я не думаю, а — не хочу, чтоб другие подумали! Ну-ко, погоди, я тебе язвинку припудрю...

И, накладывая горячим пальцем пудру на его щеку, она сказала:

— Если скушно будет, приезжай домой ко мне часам к шести. Ладно?

И — вздохнула.

— Разваливается бытишко наш сверху донизу.

Помолчала, точно прислушиваясь к чему-то, перебирая пальцами цепочку часов на груди, потом твердо выговорила:

— Ну — ничего! Надоест жить худо — заживем хорошо! Пускай бунтуют, пускай все страсти обнажаются! Знаешь, как старики говаривали? «Не согрешишь — не покаешься, не покаешься — не спасешься». В этом, друг мой, большая мудрость скрыта. И — такая человечность, что другой такой, пожалуй, и не найдешь... Значит — до вечера!

Самгин пошел домой не спеша, походкой гуляющего человека, обдумывая эту женщину.

«Не может быть, чтоб она считала меня причастным террору. Это — или проявление заботы обо мне, или — опасение скомпрометировать себя,— опасение, вызванное тем, что я сказал о Судакове. Но как спокойно приняла она убийство!» — с удивлением подумал он, чувствуя, что спокойствие Марины передалось и ему.

В городе было не по-праздничному тихо, музыка на катке не играла, пешеходы встречались редко, гораздо больше — извозчиков и «собственных упряжек»; они развозили во все стороны солидных и озабоченных людей, и Самгин отметил, что почти все седоки едут съежившись, прикрыв лица воротниками шуб и пальто, хотя было не холодно. В доме, против места, где взорвали губернатора, окно было заткнуто синей подушкой, отбит кусок наличника, неприятно обнажилось красное мясо кирпича, а среди улицы никаких признаков взрыва уже не заметно, только слой снега стал свежее, белей и возвышался бугорком. Самгин покосился на этот бугорок и пошел быстрее.

В вестибюле гостиницы его встретил очень домашний, успокаивающий запах яблоков и сушеных грибов, а хозяйка, радушная, приятная старушка, жалобно и виновато сказала:

— Слыхали, какое ужасное событие? Что же это делается на земле? Город у нас был такой тихий, жили мы, никого не обижая...

— Да, тяжелое время,— согласился Самгин. В номере у себя он прилег на диван, закурил и снова начал обдумывать Марину. Чувствовал он себя очень странно; казалось, что голова наполнена теплым туманом и туман отравляет тело слабостью, точно после горячей ванны. Марину он видел пред собой так четко, как будто она сидела в кресле у стола.

«Почему у нее нет детей? Она вовсе не похожа на женщину, чувство которой подавлено разумом, да и — существуют ли такие? Не желает портить фигуру, пасует перед страхом боли? Говорит она своеобразно, но это еще не значит, что она так же и думает. Можно сказать, что она не похожа ни на одну из женщин, знакомых мне».

От всего, что он надумал, Марина не стала понятнее, а наиболее непонятным оставалось ее спокойное отношение к террористическому акту.

Ярким лунным вечером он поднимался по крутой улице между двумя рядами одноэтажных домиков, разъединенных длинными заборами; тесные группы деревьев, отягченные снегом, еще более разъединяли эти домики, как бы спрятанные в холмах снега. Дом Зотовой — тоже одноэтажный, его пять окон закрыты ставнями, в щели двух просачивались полоски света, ложась лентами на густую тень дома. Крыльца не было. Самгин дернул ручку звонка у ворот и — вздрогнул: колокол — велик и чуток, он дал четыре удара, слишком сильных для этой замороженной тишины. Калитку открыл широкоплечий мужик в жилетке, в черной шапке волос на голове; лицо его густо окутано широкой бородой, и от него пахло дымом. Молча посторонясь, он пропустил гостя на деревянные мостки к двум ступеням крыльца, похожего на шкаф, приставленный к стене дома. Гремя цепью, залаяла черная собака величиною с крупного барана. В прихожей, загроможденной сундуками, Самгину помогла раздеться большеглазая, высокая и тощая женщина.

— Аккуратен,— сказала Марина, выглядывая из освещенного квадрата дверей, точно из рамы.— Самовар подашь, Глафирушка.

В большой комнате на крашеном полу крестообраз-

но лежали темные ковровые дорожки, стояли кривоногие старинные стулья, два таких же стола; на одном из них бронзовый медведь держал в лапах стержень лампы; на другом возвышался черный музыкальный ящик; около стены, у двери, прижалась фисгармония, в углу — пестрая печь кузнецовских изразцов, рядом с печью — белые двери; Самгин подумал, что они должны вести в холод, на террасу, заваленную снегом. Комната, оклеенная темно-красными с золотом обоями, казалась торжественной, но пустой, стены — голые, только в переднем углу поблескивал серебром ризы маленький образок да из простенков между окнами неприятно торчали трехпалые лапы бронзовых консолей.

— Что — скушная комната? — спросила Марина, выплывая из прихожей и остановясь на скрещении дорожек; в капоте из кашемирских шалей она стала еще больше, выше и шире, на груди ее лежали две толстые косы.— Вкус моего супруга, он простор любил, а не вещи,— говорила она, оглядывая стены.— Музыку любил,— у него таких вот музыкальных ящиков семь было, даже ночами иногда вставал и заводил. На фисгармонии играл. А граммофонов и гармоник не мог выносить. «Хованщиной» очень восхищался, нарочно ездил в столицу, послушать.

Самгин отметил, что она говорит о муже тоном девицы из зажиточной мещанской семьи, как будто она до замужества жила в глухом уезде, по счастливому случаю вышла замуж за богатого интересного купца в губернию и вот благодарно, с гордостью вспоминает о своей удаче. Он внимательно вслушивался: не звучит ли в словах ее скрытая ирония?

Белые двери привели в небольшую комнату с окнами на улицу и в сад. Здесь жила женщина. В углу, в цветах, помещалось на мольберте большое зеркало без рамы,— его сверху обнимал коричневыми лапами деревянный дракон. У стола — три глубоких кресла, за дверью — широкая тахта со множеством разноцветных подушек, над нею, на стене,— дорогой шёлковый ковер, дальше — шкаф, тесно набитый книгами, рядом с ним — хорошая копия с картины Нестерова «У колдуна».

На небольшом овальном столе буйно кипел никелированный самовар; под широким красным абажуром лампы — фарфор посуды, стекло ваз и графинов.

— Это — дневная моя нора, а там — спальня,— указала Марина рукой на незаметную, узенькую дверь рядом со шкафом.— Купеческие мои дела веду в магазине, а здесь живу барыней. Интеллигентно.— Она лениво усмехнулась и продолжала ровным голосом: — И общественную службу там же, в городе, выполняю, а здесь у меня люди бывают только в Новый год да на Пасху, ну и на именины мои, конечно.

Самгин осведомился: что называет она общественной службой?

— А я, видишь ли, вице-председательница «Общества помощи девицам-сиротам»,— школа у нас, ничего, удачная школа, обучаем изящным рукодельям, замуж выдаем девиц, оберегаем от соблазнов. В тюремном комитете членствую, женский корпус весь в моих руках.— Приподняв густые брови, она снова и уже острее усмехнулась.

— Вот эдакие, как ты, да Кутузов, да Алеша Гогин, разрушать государство стараетесь, а я — замазываю трещины в нем,— выходит, что мы с тобой антагонисты и на разных путях.

Чтобы сказать что-нибудь, Самгин напомнил:

— Все дороги в Рим ведут. Курить можно?

— Кури. Я тоже курю, когда читаю.

Помолчав, разливая чай, она внезапно спросила:

— В какой Рим-то?

— В будущее,— ответил Самгин, пожав плечами.

— Ну, это не очень определенно! Я думала, скажешь: на кладбище. По глазам ты пессимист.

Самгин ждал, когда она начнет выспрашивать его, а он тоже спросит ее: чем она живет?

«Мне тридцать пять, она — моложе меня года на три, четыре»,— подсчитал он, а Марина с явным удовольствием пила очень душистый чай, грызла домашнее печенье, часто вытирала яркие губы салфеткой, губы становились как будто еще ярче, и сильнее блестели глаза.

— Не боишься жить на окраине одна?

— Какая же здесь окраина? Рядом — институт

благородных девиц, дальше — на горе — военные склады, там часовые стоят. Да и я — не одна,— дворник, горничная, кухарка. Во флигеле — серебряники, двое братьев, один — женатый, жена и служит горничной мне. А вот в женском смысле — одна,— неожиданно и очень просто добавила Марина.

— Скучно? — спросил Самгин, не взглянув на нее.

— Нет еще. Многие — сватаются, так как мы — дама с капиталом и не без прочих достоинств. Вот что сватаются — скушно! А вообще — живу ничего! Читаю. Английский язык учу, хочется в Англии побывать...

— Почему именно в Англии?

Она усмехнулась, блеснули крупные, плотно составленные зубы, и в глазах появились юмористические искорки.

— А видишь ли, супруг мой дважды был там, пять лет с лишком прожил и очень интересно рассказывал *про англичан. У меня так сложилось, что это* — самый смешной, наивный и доверчивый народ. Блаватской поверили и Анне Безант, а вот князь Петр Кропоткин, рюрикович, и Ницше, Фридрих — не удивили британцев, хотя у нас Фридриха даже после Достоевского пророком сочли. И ученые их, Крукс, примерно, Оливер Лодж — да разве только эти двое? — проживут атеистами лет шестьдесят и — в бога поверуют. Хотя тут, наверное, привычка к порядку действует, а уж где — больше порядка, чем у бога в церкви? Верно?

— Странно ты шутишь,— сказал Самгин, раздосадованный, но и любуясь невольно ее кокетством начитанностью.

— Почему — странно? — тотчас откликнулась она, подняв брови.— Да я и не шучу, это у меня стиль такой, приучилась говорить о премудростях просто, как о домашних делах. Меня очень серьезно занимают люди, которые *искали-искали свободы духа и вот будто* — нашли, а свободой-то оказалась бесцельность, надмирная пустота какая-то. Пустота, и — нет в ней никакой иной точки опоры для человека, кроме его вымысла.

— Разве ты... я думал, что ты — верующая,— сказал Самгин, недоверчиво взглянув на лицо ее, в потемневшие глаза,— она продолжала, легко соединяя слова:

— Печально, когда человек сосредоточивается на плотском своем существе и на разуме, отметая или угнетая дух свой, начало вселенское. Аристотель в «Политике» сказал, что человек вне общества — или бог, или зверь. Богоподобных людей — не встречала, а зверье среди них — мелкие грызуны или же барсуки, которые защищают вонью жизнь свою и нору.

По легкости, с которой она говорила, Самгин догадывался, что она часто говорит такие речи, и почувствовал в ее словах нечто, заставившее его подозрительно насторожиться.

— Ты много читаешь? — спросил он.

— Я много читаю,— ответила она и широко улыбнулась, янтарные зрачки разгорелись ярче.— Но я с Аристотелем, так же как и с Марксом,— не согласна: давления общества на разум и бытия на сознание — не отрицаю, но дух мой — не ограничен, дух — сила не земная, а — космическая, скажем.

Говорила она спокойно и не как проповедница, а дружеским тоном человека, который считает себя опытнее слушателя, но не заинтересован, чтоб слушатель соглашался с ним. Черты ее красивого, но несколько тяжелого лица стали тоньше, отчетливее.

— Наши Аристотели из газет и журналов, маленькие деспоты и насильники, почти обоготворяют общество, требуя, чтоб я безоговорочно признала его право власти надо мной,— слышал Самгин.

Это было давно знакомо ему и могло бы многое напомнить, но он отмахнулся от воспоминаний и молчал, ожидая, когда Марина обнаружит конечный смысл своих речей. Ровный, сочный ее голос вызывал у него состояние, подобное легкой дремоте, которая предвещает крепкий сон, приятное сновидение, но изредка он все-таки ощущал толчки недоверия. И странно было, что она как будто спешит рассказать себя.

«Говорить она любит и умеет» — подумал он, когда она замолчала и, вытянув ноги, скрестила руки на высокой груди. Он тоже помолчал, соображая:

«Что же она сказала? В сущности — ничего оригинального».

И спросил:

— Что ты понимаешь под словом «дух»?

— Этого не объяснить тому, в ком он еще не ожил,— сказала она, опустив веки.— А — оживет, так уж не потребуется объяснений.

Он не успел спросить ее еще о чем-то,— Марина снова заговорила:

— Ты знаешь, что Лидия Варавка здесь живет? Нет? Она ведь — помнишь? — в Петербурге, у тетки моей жила, мы с нею на доклады философского общества хаживали, там архиереи и попы литераторов цезарепапизму обучали,— было такое религиозно-юмористическое общество. Там я с моим супругом, Михаилом Степановичем, познакомилась...

Впервые она назвала имя своего мужа и снова стала провинциальной купчихой.

— Ну — и что же Лидия? — спросил Самгин.

— Приехала сегодня из Петербурга и едва не попала на бомбу; говорит, что видела террориста, ехал на серой лошади, в шубе, в папахе. Ну, это, наверное, воображение, а не террорист. Да и по времени не выходит, чтоб она могла наскочить на взрыв. Губернатор-то — дядя мужа ее. Заезжала я к ней,— лежит, нездорова, устала.

Марина взяла рюмку портвейна, отхлебнула и, позванивая по стеклу ногтями, продолжала:

— Неплохой человек она, но — разбита и дребезжит вся. Тоскливо живет и, от тоски, занимается религиозно-нравственным воспитанием народа,— кружок организовала. Надувают ее. Ей бы замуж надо. Рассказала мне, в печальный час, о романе с тобой.

— Представляю, как она рассказала,— пробормотал Самгин.

— Очень хорошо,— ты ошибаешься,— строговато возразила Марина.— Трогательный роман, и без виноватых. Никто не виноват, кроме вашей молодости,— это она хорошо понимает.

— Странно, что ни у нее, ни у тебя детей нет,— неожиданно для себя и вызывающе проговорил Самгин.

Марина тотчас же добавила:

— И у тебя нет.

Помолчали. Затем она спросила:

— А не кажется тебе, Клим Иванович, что дети — наибольше чужие люди родителям своим?

О Лидии она говорила без признаков сочувствия к ней, так же безучастно произнесла и фразу о детях, а эта фраза требовала какого-то чувства: удивления, печали, иронии.

— Вот — соседи мои и знакомые не говорят мне, что я не так живу, а дети, наверное, сказали бы. Ты слышишь, как в наши дни дети-то кричат отцам — не так, всё — не так! А как марксисты народников зачеркивали? Ну — это политика! А декаденты? Это уж — быт, декаденты-то! Они уж отцам кричат: не в таких домах живете, не на тех стульях сидите, книги читаете не те! И заметно, что у родителей-атеистов дети — церковники...

Самгин подумал, что всё это следовало бы сказать с некоторым задором или обидой, тревогой, а она сказала так, как будто нехотя дразнила кого-то, а сказав — зевнула:

— Ой, извини!

Самгин встал, нервно потирая руки, похрустывая пальцами.

— Интересный ты человек...

— Спасибо,— сказала она, улыбаясь.

— Но — я тебя не понимаю...

— Потолкуем побольше — поймешь!.. К Лидии-то зайди, я сказала, что ты здесь. Будь здоров...

В пронзительно холодном сиянии луны, в хрустящей тишине потрескивало дерево заборов и стен, точно маленькие, тихие домики крепче устанавливались на земле, плотнее прижимались к ней. Мороз щипал лицо, затруднял дыхание, заставлял тело съеживаться, сокращаться. Шагая быстро, Самгин подсчитывал:

«Торгует церковной утварью и вольнодумничает. Хвастает начитанностью. Ест и пьет сластолюбиво. Грубовата. Врет, что „в женском смысле — одна", вероятно — есть любовник...»

Кроме этого, он ничего не нашел, может быть — потому, что торопливо искал. Но это не умаляло ни женщину, ни его чувство досады; оно росло и подсказывало: он продумал за двадцать лет огромную полосу жизни,

пережил множество разнообразных впечатлений, видел людей и прочитал книг, конечно, больше, чем она; но он не достиг той уверенности суждений, того внутреннего равновесия, которыми, очевидно, обладает эта большая, сытая баба.

«Если она читала не те книги, какие читал я,— этим еще ничего не объясняется. Ее слова о духе — какая-то наивная чепуха...»

В конце концов он должен был признать, что Марина вызывает в нем интерес, какого не вызывала еще ни одна женщина, и это — интерес, неприятно раздражающий.

На другой день он пошел к Лидии.

Она жила на углу двух улиц в двухэтажном доме, угол его был срезан старенькой, облезлой часовней; в ней, перед аналоем, качалась монашенка,— над черной ее фигуркой, точно вырезанной из дерева, дрожал рыжеватый огонек, спрятанный в серебряную лампаду. Часовня примыкала к стене дома Лидии, в нижнем его этаже помещался «Магазин писчебумажных принадлежностей и кустарных изделий»; рядом с дверью в магазин выступали на панель три каменные ступени, над ними — дверь мореного дуба, без ручки, без скобы, посредине двери — медная дощечка с черными буквами: «Л. Т. Муромская».

Самгин позвонил, спрашивая себя:

«Зачем это я засоряю голову мелочами?»

Дверь открыла пожилая горничная в белой наколке на голове, в накрахмаленном переднике; лицо у нее было желтое, длинное, а губы такие тонкие, как будто рот зашит, но когда она спросила: «Кого вам?» — оказалось, что рот у нее огромный и полон крупными зубами.

На лестнице было темновато, горничная с каждым шагом вверх становилась длиннее, и Самгину показалось, что он идет не вверх, а вниз.

«Как в Дарьяльском ущелье...»

Сумрак в прихожей был еще более густ; горничная, сняв с него пальто, строго сказала:

— Пройдите направо.

Самгин шагнул в маленькую комнату с одним окном; в драпри окна увязло, расплылось густо-малиновое

солнце, в углу два золотых амура держали круглое зеркало, в зеркале смутно отразилось лицо Самгина.

«А пожалуй, верно: похож я на Глеба Успенского»,— подумал он, снял очки и провел ладонью по лицу. Сходство с Успенским вызвало угрюмую мысль:

«Среди таких людей легко сойти с ума».

Слева распахнулась не замеченная им драпировка, хлынул свет и бесшумно вышла женщина в черном платье, похожем на рясу монахини, в белом кружевном воротнике, в дымчатых очках; курчавая шапка волос на ее голове была прикрыта жемчужной сеткой, но все-таки голова была несоразмерно велика сравнительно с плечами. Самгин только по голосу узнал, что это — Лидия.

— Боже мой,— вот неожиданно! Хотя Марина сказала мне, что ты здесь...

Бросив перчатки на стул, она крепко сжала руку Самгина тонкими горячими пальцами.

— А я собралась на панихиду по губернаторе. Но время еще есть. Сядем. Послушай, Клим: я — ничего не понимаю! Ведь дана конституция, что же еще надо? Ты постарел немножко: белые виски и очень страдальческое лицо. Это понятно — какие дни! Конечно, он жестоко наказал рабочих, но — что ж делать, что?

Она говорила непрерывно, вполголоса и в нос, а отдельные слова вырывались из-за ее трех золотых зубов крикливо и несколько гнусаво. Самгин подумал, что говорит она, как провинциальная актриса в роли светской дамы.

За стеклами ее очков он не видел глаз, но нашел, что лицо ее стало более резко цыганским, кожа — цвета бумаги, выгоревшей на солнце; тонкие, точно рисунок пером, морщинки около глаз придавали ее лицу выражение улыбчивое и хитроватое; это не совпадало с ее жалобными словами.

— Он был либерал, даже — больше, но за мученическую смерть бог простит ему измену идее монархизма.

Самгин, доставая папиросы, наклонился и скрыл невольную усмешку. На полу — толстый ковер малинового цвета, вокруг — много мебели карельской бере-

зы, тускло блестит бронза; на степах — старинные литографии, комнату наполняет сладковатый, неприятный запах. Лидия — такая тонкая, как будто всё вокруг сжимало ее, заставляя вытягиваться к потолку.

— Ты, конечно, тоже за конституцию?

Самгин утвердительно кивнул головой, ожидая, скоро ли иссякнет поток ее слов.

— Я — понимаю, ты — атеист! Монархистом может быть только верующий. Нравственное руководство народом — священнодействие...

Нет, она не собиралась замолчать. Тогда Самгин, закурив, посмотрел вокруг,— где пепельница? И положил спичку на ладонь себе так, чтоб Лидия видела это. Но и на это она не обратила внимания, продолжая рассказывать о монархизме. Самгин демонстративно стряхнул пепел папиросы на ковер и почти сердито спросил:

— Почему ты так торопишься изложить мне твои политические взгляды?

— Нужна ясность, Клим! — тотчас ответила она и, достав с полочки перламутровую раковину в серебре, поставила ее на стол: — Вот пепельница.

— Я тебя задерживаю?

— Нет, нет! Я потому о панихиде, что это волнует. Там будет много людей, которые ненавидели его. А он— такой веселый, остроумный был и такой...

Не найдя слова, она щелкнула пальцами, затем сняла очки, чтоб поправить сетку на голове; темные зрачки ее глаз были расширены, взгляд беспокоен, но это очень молодило ее. Пользуясь паузой, Самгин спросил:

— Ты очень близка с Зотовой?

— Ради ее именно я решила жить здесь,— этим всё сказано! — торжественно ответила Лидия и кашлянула, как бы сказав лишнее.

— Что же это за человек?

— Самый умный из всех, кого я знаю, человек истинно свободный и поразительной духовной силы,— в том же торжественном тоне сказала Лидия.— Она и нашла мне этот дом,— уютный, не правда ли? И всю обстановку, всё такое солидное, спокойное. Я не выношу новых вещей,— они, по ночам, трещат. Я люблю тиши-

ну. Помнишь Диомидова? «Человек приближается к себе самому только в совершенной тишине». Ты ничего не знаешь о Диомидове?

— Нет,— сухо ответил Самгин и, желая услышать еще что-нибудь о Марине, снова заговорил о ней.

— Но ведь ты знал ее почти в одно время со мной,— как будто с удивлением сказала Лидия, надевая очки.— На мой взгляд — она не очень изменилась с той поры.

Тон ее слов показался Климу фальшивым, и сидела она так напряженно прямо, точно готовилась спорить, отрицать что-то.

«Глупо выдумала себя и натянута на чужие мысли»,— решил Самгин, а она, вздохнув, сказала:

— Да, она такая же, какой была в девицах,— умная, искренняя, вся — для себя. Я говорю о внутренней ее свободе,— добавила она очень поспешно, видимо, заметив его скептическую усмешку; затем спросила: — Не хочешь ли взять у меня книги отца? Я не знаю, что с ними делать. Они в прекрасных переплетах, отдать в городскую библиотеку — жалко и — невозможно! У него была привычка делать заметки на полях, а он так... безжалостно думал о России, о религии и вообще. Многие надписи мое чувство дочери заставило меня стереть резинкой...

— Вот как даже? — иронически воскликнул Самгин.

— Ты — тоже скептик,— тебя это не может смущать,— сказала она, а ему захотелось ответить ей чем-нибудь резким, но, пока он искал — чем? — она снова заговорила:

— В Крыму встретила Любовь Сомову, у дантистки,— еврейки, конечно. Она такая жалкая, полубольная, должно быть, делала себе аборты.

— Ее в Москве избили хулиганы,— сердито сказал Самгин.

— Да? Вот почему она такая озлобленная на всё. Она была у меня на даче, но мы с ней едва не поссорились.

Самгин тоже почувствовал, что если не уйдет, то — поссорится с хозяйкой. Он встал.

— Ну, тебе пора на панихиду.

— Да, к сожалению. Но — ты еще зайдешь?

— Если не уеду.

— Заходи, заходи,— сказала она, сильно встряхивая руку его.

Он вынес на улицу чувство острого раздражения, которое даже удивило его.

«Что это я, почему? Ну — противна, глупа, фальшива, а мне-то что?»

Отыскивая причину раздражения, он шел не спеша и заставлял себя смотреть прямо в глаза всем встречным, мысленно ссорясь с каждым. Людей на улицах было много, большинство быстро шло и ехало в сторону площади, где был дворец губернатора.

«Оживлены убийством»,— вспомнил он слова Митрофанова — человека «здравого смысла»,— слова, сказанные сыщиком по поводу радости, с которой Москва встретила смерть министра Плеве. И снова задумался о Лидии.

«Она не хотела говорить о Зотовой,— ясно! Почему?»

Дома, едва он успел раздеться, вбежала Дуняша и, обняв за шею, молча ткнулась лицом в грудь его,— он пошатнулся, положил руку на голову, на плечо ей, пытаясь осторожно оттолкнуть, и усмехаясь, подумал:

«Какие бабьи дни!»

Но видеть Дуняшу приятно было,— он спросил почти ласково:

— Ну, как ты — успешно укрощала строптивых?

Отскочив от него, она бросилась на диван, ее пестренькое лицо сразу взмокло слезами; задыхаясь, всхлипывая, она взмахивала платком в одной руке, другою колотила себя по груди и мычала, кусая губы.

«Пьяная?» — подумал Самгин, повернулся спиною к ней и стал наливать воду из графина в стакан, а Дуняша заговорила приглушенным голосом, торопливо и бессвязно:

— Ты не имеешь права издеваться,— тебе стыдно, умник! Я ведь — не знала...

Он посмотрел на нее через плечо,— нет, она трезва, омытые слезами глаза ее сверкают ясно, а слова звучат уже твердо.

— Но если б и знала, всё равно, что я могла сделать?

— Не понимаю,— сказал Самгин, подавая ей воду.— Что случилось?

— Они там — чёрт знает чего наделали,— заговорила Дуняша, оттолкнув его руку.— Одному кузнецу перебили позвонки, так что у него ноги отнялись, четверых застрелили, девять ранено. А я, дура, пою! Ка-ак они засвистят! — с ужасом, широко открыв глаза, сказала она и зажмурилась, тряся головой.— Ну, знаешь, я точно сквозь землю провалилась,— ничего не понимаю! Ты был прав тогда — сволочь они! Это ты и напророчил мне! Солдаты там, капитан какой-то. В рабочей казарме стекла выбиты, из окон подушки торчат... В красных наволочках, как мясо. Я приехала вечером, ничего не видела...

Самгин курил, морщился и вдруг представил себя тонким и длинным, точно нитка,— она запутанно протянута по земле, и чья-то невидимая злая рука туго завязывает на ней узлы.

— Ты успокойся,— пробормотал он, щадя себя, но Дуняша, обмахивая мокрым платком покрасневшее лицо, потрясая кулаком другой, говорила:

— Я ему, этой пучеглазой скотине — как его? — пьяная рожа! «Как же вы, говорю, объявили свободу собраний, а — расстреливаете?» А он, сукин сын, зубы скалит: «Это, говорит, для того и объявлено, чтоб удобно расстреливать!» Понимаешь? Стратонов, вот как его зовут. Жена у него — морда, корова,— грудища — вот!

Дуняша показала объем грудищи, вытянув руки, сделав ими круг и чуть сомкнув кончики пальцев.

— «Родитель, говорит, мой — сын крестьянина, лапотник, а умер коммерции советником; он, говорит, своей рукой рабочих бил, а они его уважали». «Ах ты, думаю, мать...» Извини, пожалуйста, Клим!

Она снова тихонько заплакала, а Самгин с угрюмым напряжением ощущал, как завязывается новый узел впечатлений. С поразительной реальностью вставали перед ним дом Марины и дом Лидии, улица в Москве, баррикада, сарай, где застрелили Митрофанова, фуражка губернатора вертелась в воздухе, сверкал магазин церковной утвари.

— Ну, перестань же, перестань,— машинально уговаривал он, хотя Дуняша не мешала ему, да и видел он ее далеко от себя, за облаком табачного дыма. Чувствовал он себя нехорошо, усталым, разбитым и снова подумал:

«Можно сойти с ума...»

Дуняша оборвала свои яростные жалобы, заявив:

— Я — есть хочу, напиться хочу!

Самгин послушно подошел к звонку и, проходя мимо Дуняши, легонько погладил ее плечо,— это снова разбудило ее гнев:

— Они там напились, орали ура, как японцы,— такие, знаешь, Наполеоны-победители, а в сарае люди заперты, двадцать семь человек; морозище страшный, всё трещит, а там, в сарае, раненые есть. Всё это рассказал мне один знакомый Алины — Иноков.

— Иноков? Зачем он там? — спросил Самгин, остановясь среди комнаты.

— Не знаю. Кажется, служит. Неприятный такой. Разве ты знаешь его?

— Это — не тот,— сказал Самгин.

— Он был в городе, когда губернатора убили...

— Тише,— предупредил Самгин.— А Судакова не видала там?

— Нет.

Самгин замолчал, отметив, что об Инокове и Судакове спрашивал как будто не он, а его люди эти не интересуют.

— Что же ты молчишь? — спросила Дуняша очень требовательно; в этот момент коридорный сказал, что «кушать подано в комнату барыни», и Самгин мог не отвечать.

— Сюда подайте! — сердито крикнула Дуняша, а когда еду и вино принесли, она тотчас выпила рюмку водки, оглянулась, нахмурясь, и сказала ворчливо:

— Чёрт знает что! Может, лучше бы я какие-нибудь рубашки шила, саваны для больниц... Скажи,— может — лучше?

— Ешь,— сказал Самгин.— Жаловаться — бесполезно. Всё — обусловлено...

— Обусловлено,— с гримасой повторила она.— Нехорошее какое слово. Похоже на обуто. Есть прибаутка: «Федька — лапти обул, Федул — губы надул,— мне бы эти лапотки, да и Федькины портки, да и Федьку в батраки!»

Насмешливая прибаутка снова вызвала у нее слезы; смахнув их со щек пальцами, она задорно предложила:

— Чокнемся! И давай напьемся!

Самгин усмехнулся, глядя на нее.

— Ну? Что? — спросила она и, махнув на него салфеткой, почти закричала: — Да — сними ты очки! Они у тебя как на́ душу надеты — право! Разглядываешь, усмехаешься... Смотри, как бы над тобой не усмехнулись! Ты — хоть на сегодня спусти себя с цепочки. Завтра я уеду, когда еще встретимся, да и — встретимся ли? В Москве у тебя жена, там я тебе — лишняя.

«Ей хочется скандалить,— сообразил Самгин, снимая очки.— Не думал, что она истеричка».

Заставляя себя любезно улыбаться, он присматривался к Дуняше с тревогой и видел: щеки у нее побледнели, брови нахмурены; закусив губу, прищурясь, она смотрела на огонь лампы, из глаз ее текли слезинки. Она судорожно позванивала чайной ложкой по бутылке.

«Какое злое лицо»,— подумал Самгин, вздохнув и наливая вино в стаканы. Коротенькими пальцами дрожащей руки Дуняша стала расстегивать кофточку; он хотел помочь ей, но Дуняша отвела его руку.

— Мне душно.

И, заглянув в его лицо, тихо сказала:

— Обидел ты меня тогда, после концерта.

Самгин, отодвигаясь от нее, спросил:

— Чем?

— Нет, не обидел, а удивил. Вдруг, такой не похожий ни на кого, заговорил, как мой муж!

Сказала она это действительно с удивлением и, передернув плечами, точно от холода, сжав кулаки, постучала ими друг о друга.

— Когда я рассказала о муже Зотовой, она сразу поняла его, и правильно. Он, говорит, революционер от... меланхолии! — нет? От другого,— как это? Когда ненавидят всех?

Теперь она стучала кулаком — и больно — по плечу Самгина; он подсказал:

— Мизантропии?

— Вот! От этого. Я понимаю, когда ненавидят полицию, попов, ну — чиновников, а он — всех! Даже Мотю, горничную, ненавидел; я жила с ней, как с подругой, а он говорил: «Прислуга — стесняет, ее надобно заменить машинами». А по-моему, стесняет только то, чего не понимаешь, а если поймешь, так не стесняет.

Она вскочила на ноги и, быстро шагая по комнате, полусердито усмехаясь, продолжала:

— У Моти был дружок, слесарь, учился у Шанявского, угрюмый такой, грубый, смотрел на меня презрительно. И вдруг я поняла, что он... что у него даже нежная душа, а он стыдится этого. Я и говорю: «Напрасно вы, Пахомов, притворяетесь зверем, я вас насквозь вижу!» Он сначала рассердился: «Вы, говорит, ничего не видите и даже не можете видеть!» А потом сознался: «Верно, сердце у меня мягкое и очень не в ладу с умом, меня ум другому учит». Он действительно умный был, образованный, и вот уж он — революционер от любви к своему брату рабочему! Он дрался на Каланчевской площади и в Каретном, там ему офицер плечо прострелил; Мотя спрятала его у меня, а муж...

Остановилась, прищурясь, посмотрела в угол, потом, подойдя к столу, хлебнула вина, погладила щеки.

— Ну, чёрт с ним, с мужем! Отведала и — выплюнула.

Она снова, торопясь и бессвязно, продолжала рассказывать о каком-то веселом товарище слесаря, о революционере, который увез куда-то раненого слесаря,— Самгин слушал насторожась, ожидая нового взрыва; было совершенно ясно, что она, говоря всё быстрей, торопится дойти до чего-то главного, что хочет сказать. От напряжения у Самгина даже пот выступил на висках.

— По-моему — человек живет, пока любит, а если он людей не любит,— так зачем он нужен?

Наклонясь к Самгину, она схватила руками голову его и, раскачивая ее, горячо сказала в лицо ему:

— И ты всех тихонько любишь, но тебе стыдно и притворяешься строгим, недовольным, молчишь и всех молча жалеешь,— вот какой ты! Вот...

Самгин ожидал не этого; она уже второй раз как будто оглушила, опрокинула его. В глаза его смотрели очень яркие, горячие глаза; она поцеловала его в лоб, продолжая говорить что-то,— он, обняв ее за талию, не слушал слов. Он чувствовал, что руки его, вместе с физическим теплом ее тела, всасывают еще какое-то иное тепло. Оно тоже согревало, но и смущало, вызывая чувство, похожее на стыд,— чувство виновности, что ли? Оно заставило его прошептать:

— Полно, ты ошибаешься...

— Нет, я не хуже собаки знаю, кто — каков! Я не умная, а — знаю...

Самгин плотнее прижался щекою к ее груди.

— Милый, милый — знаю! Не умею сказать, а — чувствую...

Через час утомленный Самгин сидел в кресле и курил, прихлебывая вино. Среди глупостей, которые наговорила ему Дуняша за этот час, в памяти Самгина осталось только одно:

«Вот когда я стала настоящей бабой»,— сказала она, пролежав минут пять в состоянии дремотном или полуобморочном. Он тоже несколько раз испытывал приступы желания сказать ей какие-то необыкновенные слова, но — не нашел их.

Теперь он смотрел на ее голое плечо и разметанные по подушке рыжеватые волосы, соображая: как это она ухитряется причесывать гладко такую массу волос? Впрочем, они у нее удивительно тонкие.

«В ней действительно есть много простого, бабьего. Хорошего, дружески бабьего»,— нашел он подходящие слова. «Завтра уедет...» — скучно подумал он, допил вино, встал и подошел к окну. Над городом стояли облака цвета красной меди, очень скучные и тяжелые. Клим Самгин должен был сознаться, что ни одна из женщин не возбуждала в нем такого волнения, как эта, рыжая. Было что-то обидное в том, что неиспытанное волнение это возбудила женщина, о которой он думал не лестно для нее.

«Бабьи дни,— повторил он.— Смешно...»

Простонав, Дуняша повернулась на другой бок,— Самгин тихонько спросил:

— Может быть, пойдешь к себе?

— Я у себя,— ответила она сквозь сон.

Самгин, улыбаясь, налил себе еще вина.

«Это — так: она — везде у себя, в любой постели».

Это была тоже обидная мысль, но, взвешивая ее, Самгин не мог решить: для кого из двух обиднее? Он прилег на коротенький, узкий диван; было очень неудобно, и неудобство это усиливало его жалость к себе.

«Она — везде у себя, а я — везде против себя,— так выходит. Почему? „Восемьдесят тысяч верст вокруг самого себя“? Это забавно, но неверно. „Человек вращается вокруг духа своего, как земля вокруг солнца“... Если б Марина была хоть наполовину так откровенна, как эта...»

Он задремал, затем его разбудил шум,— это Дуняша, надевая ботинки, двигала стулом. Сквозь веки он следил, как эта женщина, собрав свои вещи в кучу, зажала их под мышкой, погасила свечу и пошла к двери. На секунду остановилась, и Самгин догадался, что она смотрит на него; вероятно, подойдет. Но она не подошла, а, бесшумно открыв дверь, исчезла.

Это было хорошо, потому что от неудобной позы у Самгина болели мускулы. Подождав, когда щелкнул замок ее комнаты, он перешел на постель, с наслаждением вытянулся, зажег свечу, взглянул на часы,— было уже около полуночи. На ночном столике лежал маленький кожаный портфель, из него торчала бумажка,— Самгин машинально взял ее и прочитал написанное круглым и крупным детским почерком:

«...ох, Алиночка, такая они все сволочь, и попала я в самую гущу, а больше всех противен был один большой такой болван наглый».

Дальше Самгин не стал читать, положил письмо на портфель и погасил свечу, думая:

«Попадет она в какую-нибудь историю. Простодушна. В конце концов — она милая...»

Утром, когда он умывался, Дуняша пришла — одетая в дорогу.

— А я уже уложилась.

Лицо у нее было замкнутое, брови нахмурены, глаза потемнели.

— Ну... Если захочешь повидаться со мной — Лютовы всегда знают, где я...

— Конечно — захочу!

— Чай пить уж некогда, проспал ты,— сказала она, вздохнув, покусывая губы, а затем сердито спросила: — Не боишься, что арестуют тебя?

— Меня? За что? — удивленно спросил Самгин.

— Ну — за что! Не притворяйся. По-моему — всех вас перестреляют.

— Ну, полно,— сказал Самгин, целуя ее руку, и внезапно для себя спросил: — Ты о себе всё рассказала Зотовой?

— Ей — всё расскажешь, что она захочет знать, это такой... насос!

Подойдя к нему, она сняла очки с его носа и, заглядывая в глаза ему, ворчливо, тихо заговорила:

— Не обижайся, что — жалко мне тебя, право же — не обидно это! Не знаю я, как сказать! Одинокий ты, да? Очень одинокий?

Самгин растерялся,— впервые говорили ему слова с таким чувством. Невольным движением рук он крепко обнял женщину и пробормотал:

— Ну, что ты? Зачем?

И — замолчал, не зная, как лучше: чтоб она говорила, или нужно целовать ее — и этим заставить молчать? А она горячо шептала:

— Ты — не думай, я к тебе не напрашиваюсь в любовницы на десять лет, я просто так, от души.— Думаешь, я не знаю, что значит молчать? Один молчит — сказать нечего, а другой — некому сказать.

Крепко сжимая ладонями виски его, она сказала еще тише:

— И — вот что: ты с Зотовой не очень...

«Ревнует?» — мелькнула у Самгина догадка, и — всё стало проще, понятней.

— Не откровенничай с ней.

Он, усмехаясь, гладя ее голову, спросил:

— Почему?

— Про нее нехорошо говорят здесь.

— Кто?

— Многие.

В дверь постучали, всунул голову старичок слуга и сказал:

— Провожать приехали!

— Ну, прощай,— сказала Дуняша. Самгин почувствовал, что она целует его не так, как всегда,— нежнее, что ли... Он сказал тоже шёпотом:

— Спасибо! Этого я не забуду.

Смахивая платком слезы, она ушла. Самгин подошел к запотевшему окну, вытер стекло и приложился к стеклу лбом, вспоминая: когда еще он был так взволнован? Когда Варвара сделала аборт?

«Но тогда я боялся, а — теперь?»

Было ясно: ему жалко, что Дуняша уехала.

«„Ревнует“ — это глупо я подумал».

У подъезда гостиницы стояло две тройки. Дуняшу усаживал в сани седоусый военный, толпилось еще человек пять солидных людей. Подъехала на сером рысаке Марина. Подождав, когда тройки уехали, Самгин тоже решил ехать на вокзал, кстати и позавтракать там.

Стоя в буфете у окна, он смотрел на перрон, из-за косяка. Дуняшу не видно было в толпе, окружавшей ее. Самгин машинально сосчитал провожатых: тридцать семь человек мужчин и женщин. Марина —заметнее всех.

«Тридцать семь,— повторил он про себя.— Слава!»

Седой военный ловко подбросил Дуняшу на ступеньки вагона, и вместе с этим он как бы толкнул вагон; провожатые хлопали ладонями, Дуняша бросала им цветы.

Провожая ее глазами, Самгин вспомнил обычную фразу: «Прочитана еще одна страница книги жизни». Чувствовал он себя очень грустно — и пришлось упрекнуть себя:

«А я все-таки немножко сентиментален!»

Он сел пить кофе против зеркала и в непонятной глубине его видел свое очень истощенное, бледное лицо, а за плечом своим — большую, широколобую голову, в светлых клочьях волос, похожих на хлопья кудели; голова низко наклонилась над столом, пухлая красная рука работала вилкой в тарелке, таская в рот куски жареного мяса. Очень противная рука.

Когда в дверях буфета сочно прозвучал голос Марины, лохматая голова быстро вскинулась, показав смешное, плоское лицо, с широким носом и необыкновенными глазами,— очень большие белки и маленькие небесно-голубые зрачки. Собственник этого лица поспешно привстал, взглянул в зеркало, одной рукою попробовал пригладить волосы, а салфеткой в другой руке вытер лицо, как вытирают его платком,— щеки, лоб, виски. Затем он сел, беспокойно мигая; брови у него были белесые, так же как маленькие усики, и эта растительность почти незаметна на желтоватой коже плоского, пухлого лица. К нему подошла Марина; он поднялся на ноги и неловко толкнул на нее стул; она успела подхватить падавший стул и, постукивая ладонью по спинке его, неслышно сказала что-то лохматому человеку; он в ответ потряс головой и хрипло кашлянул, а Марина подошла к Самгину.

— Опоздал проводить Дуняшу? — спросила она, внимательно разглядывая его.— Мороз, а ты всё таешь. Зайди ко мне, насчет денег.

— Когда можно?

Она сказала, что через полчаса будет в магазине, и ушла. Самгину показалось, что говорила она с ним суховато, да и глаза ее смотрели жестко.

В зеркале он видел, что лохматый человек наблюдает за ним тоже недоброжелательно и, кажется, готов подойти к нему. Всё это было очень скучно.

«Еще день, два и — уеду отсюда,— решил он, но тотчас же представил себе Варвару.— В Крым уеду».

Когда он вошел в магазин Марины, красивенький Миша, низко поклонясь, указал ему молча на дверь в комнату. Марина сидела на диване, за самоваром, в руках у нее — серебряное распятие, она ковыряла его головной шпилькой и терла куском замши. Налила чаю, не спросив — хочет ли он, затем осведомилась:

— На похоронах остатков губернатора не был?

— Нет. Кажется, говорят: останков?

— Верно, останков! Угрожающую речь сказал в сторону вашу прокурор. Ты — что, сочувствуешь, втайне, террору-то?

— Ни красному, ни белому.

— Вчера гимназист застрелился, единственный сын богатого купца. Родитель — простачок, русак, мать — немка, а сын, говорят, бомбист. Вот как,— рассказывала она, не глядя на Клима, усердно ковыряя распятие. Он спросил:

— Что это ты делаешь?

— Поп крест продал, вещь — хорошая, старинное немецкое литье. Говорит: в земле нашел. Врет, я думаю. Мужики, наверное, в какой-нибудь усадьбе со стены сняли.

— Был я у Лидии,— сказал Самгин, и, помимо его воли, слова прозвучали вызывающе.

— Знаю. Обо мне расспрашивал.

Самгин заметил, что уши ее покраснели, и сказал мягче:

— Поверь, что это не простое любопытство.

— Верю. Весьма лестно, если не простое.

Она замолчала. Самгин, подождав, сказал уже совсем примирительно:

— Ты не сердись,— сама виновата! Прячешься в какую-то таинственность.

— Перестань, а то глупостей наговоришь, стыдно будет,— предупредила она, разглядывая крест.— Я не сержусь, понимаю: интересно! Девушка в театрах петь готовилась, эстетикой баловалась и — вдруг выскочила замуж за какого-то купца, торгует церковной утварью. Тут, пожалуй, даже смешное есть...

— Не обычное,— вставил Самгин, а она продолжала лениво и равнодушно:

— Могу поверить, что ты любопытствуешь по нужде души... Но всё же проще было бы спросить прямо: как веруешь?

Она выпрямилась, прислушиваясь, и, бросив крест на диван, бесшумно подошла к двери в магазин, заговорила строго:

— Ты что делаешь? А? Запри магазин и ступай домой. Что-о?

Скрылась в магазине, и, пока она распекала там лепообразного отрока, Самгин встал, спрашивая себя:

«Что мне надобно от нее?»

В углу, на маленькой полке стояло десятка два книг в однообразных кожаных переплетах. Он прочитал на корешках: Бульвер Литтон «Кенельм Чиллингли», Мюссе «Исповедь сына века», Сенкевич «Без догмата», Бурже «Ученик», Лихтенберже «Философия Ницше», Чехов «Скучная история». Самгин пожал плечами: странно!

— Книжками интересуешься? — спросила Марина, и голос ее звучал явно насмешливо: — Любопытные? Все — на одну тему,— о нищих духом, о тех, чей «румянец воли побледнел под гнетом размышленья»,— как сказано у Шекспира. Супруг мой особенно любил Бульвера и «Скучную историю».

— А ты, кажется, читаешь по вопросам религии, философии?

— Читала немножко, но — тоскливо это,— сказала она, снова садясь на диван, и, вооружаясь шпилькой, добавила:

— Литераторы философствуют прозрачней богословов и философов, у них мысли воображены в лицах и скудость мыслей — яснее видна.

Работая шпилькой, она продолжала, легонько вздохнув:

— Тебе охота знать, верую ли я в бога? Верую. Но — в того, которого в древности звали Пропатор, Проарх, Эон,— ты с гностиками знаком?

— Нет,— то есть...

— Незнаком. Ну, так вот... Они учили, что Эон — безначален, но некоторые утверждали начало его в соборности мышления о нем, в стремлении познать его, а из этого стремления и возникла соприсущая Эону мысль — Эннойя... Это — не разум, а сила, двигающая разумом из глубины чистейшего духа, отрешенного земли и плоти...

В самоваре точно комары пели. Марина говорила вполголоса, как бы для себя, не глядя на Самгина, усердно ковыряя распятие; Самгин слушал, недоумевая, не веря, но ожидая каких-то очень простых, серьезных слов, и думал, что к ее красивой, стройной фигуре не идет скромное темненькое платье торговки. Она произносила имена ересиархов, ортодоксов, апологетов христианства, философов,— все они были мало знакомы

или незнакомы Самгину, и разноречия их не интересовали его. Говорила она долго, но Самгин слушал невнимательно, премудрые слова ее о духе скользили мимо него, исчезали вместе с дымом папиросы, память воспринимала лишь отдельные фразы.

— Душа сопричастна страстям плоти, дух же — бесстрастен, и цель его — очищение, одухотворение души, ибо мир исполнен душ неодухотворенных...

Сунув распятие в угол дивана, вытирая пальцы чайной салфеткой, она продолжала говорить еще медленнее, равнодушней, и это равнодушие будило в Самгине чувство досады.

«Зачем этой здоровой, грудастой и, конечно, чувственной женщине именно такое словесное облачение? — размышлял Самгин.— Было бы естественнее и достоверней, если б она вкусным своим голосом говорила о боге церковном, боге попов, монахов, деревенских баб...»

Он видел, что распятие торчит в углу дивана вниз головой и что Марина, замолчав, тщательно намазывает бисквит вареньем. Эти мелочи заставили Самгина почувствовать себя разочарованным, точно Марина отняла у него какую-то смутную надежду.

— Всё это слишком премудро и... далеко от меня,— сказал он и хотел усмехнуться, но усмешка у него не вышла, а Марина — усмехнулась снисходительно.

— Вижу, что скушно тебе.

— И, в сущности,— что же ты сказала о себе?

— Сказала всё, что следовало...

Он спросил ее пренебрежительно и насмешливо, желая рассердить этим, а она ответила в тоне человека, который не хочет спорить и убеждать, потому что ленится. Самгин почувствовал, что она вложила в свои слова больше пренебрежения, чем он в свой вопрос, и оно у нее — естественнее. Скушав бисквит, она облизнула губы, и снова заклубился дым ее речи:

— Вы, интеллигенты, в статистику уверовали: счет, мера, вес! Это всё равно, как поклоняться бесенятам, забыв о Сатане...

— Кто же Сатана?

— Разум, конечно.

— Эх, Марина, до чего это старо, плоско,— сказал Самгин, вздыхая.

— Исконно русское, народное. А вы — что придумали? Конституцию? Чем же и как поможет конституция смертной-то скуке твоей?

— Я о смерти не думаю.

— Скука и есть смерть. Потому и не думаешь, что перестал жить.

Сказав это, она взяла распятие и вышла в магазин.

«Конечно, она живет не этой чепухой»,— сердито решил Самгин, проводив глазами ее статную фигуру. Осмотрел уютное логовище ее, окованную полосами железа дверь во двор и живо представил, как Марина, ночуя здесь, открывает дверь любовнику.

«Вот это — достоверно!»

Затем он решил, что завтра уедет в Москву и потом в Крым.

— Слушай-ко, что я тебе скажу,— заговорила Марина, входя, гремя ключами, становясь против его. И, каждым словом удивляя его, она деловито предложила: не хочет ли он обосноваться здесь, в этом городе? Она уверена, что ему безразлично, где жить...

— Почему ты так думаешь?

— Городок — тихий, спокойный,— продолжала она, не ответив ему.— Жизнь дешевая. Я бы поручила тебе кое-какие мои делишки в суде, подыскала бы практику, устроила квартиру. Ну — как?

— Предложение — неожиданное, и... надо сообразить,— сказал Самгин, чувствуя, что его удивление становится похожим на радость.

— Сообрази. А теперь — отпусти меня, поеду губернаторшу утешать. У нас губернаторша — сестра губернатора, он был вдовец, и она вертела его, как веретено.

Говоря, она одевалась. Вышли на двор. Марина заперла железную дверь большим старинным ключом и спрятала его в муфту. Двор был маленький, тесный, и отовсюду на него смотрели окна, странно стесняя Самгина.

— Так — сообрази! Поживешь здесь, отдохнешь, одумаешься.

Разошлись в разные стороны. Самгин шагал не спе-

ша, взвешивая предложение Марины, хотя уже признавал, что оно неплохо устраивает его.

«Поживу тихо, наедине с самим собою...»

Но, вспомнив, что единственным его сожителем всегда был он сам, зачеркнул одиночество.

«Дуняша будет приезжать. Изредка. Распутный ребенок. Любопытнейшие фигуры создает жизнь. И эта Зотова с ее Пропатором. Странно закончила она свою лекцию. Напрасно я раздражался против нее».

Он на другой же день сообщил ей свое решение.

— Вот и хорошо,— радушно сказала она.— Бери деньги, поезжай, кланяйся Алеше Гогину.

— Ты его знаешь?

— Ну да! Жил он здесь, месяца два, действовал. У нас ведь город эсеровский, и Алешу заклевали.

— Интересный ты человек! — искренно удивился Клим.— Как это ты объединяешь мистику и...

— Во-первых — гностицизм вовсе не мистика, а во-вторых — есть поговорка: «Большой мешок — не глиняный горшок, что ни положь умело — всё будет цело, знай — носи, да не больно тряси».

— Это — любопытство Евы?

Посмеиваясь, Марина ответила:

— Ева-то одним грехом заинтересовалась, а я, может быть,— всеми...

— Любопытством не проживешь,— сказал Самгин, вздохнув, а Марина спросила:

— Пробовал?

И после этого они оба немножко посмеялись.

В Москве всё разыгралось очень просто. Варвара встретила, как старого знакомого, который мог бы и не приезжать, но видеть его все-таки интересно. За две недели она похудела, поблекла, глаза окружены тенями, блестят тревожно и вопросительно. Черное, без украшений, платье придает ей вид унылой вдовы. Когда Самгин сказал ей, что намерен жить в провинции, она, опустив голову, откликнулась не сразу, заставив его подумать: «Сейчас начнется нечто неприятное, фальшивое!» Но он ошибся. Вздохнув, Варвара сказала:

— Я понимаю тебя. Жить вместе — уже нет смысла. И вообще я не могла бы жить в провинции, я так креп-

ко срослась с Москвой! А теперь, когда она пережила такую трагедию,— она еще ближе мне.

О привязанности к Москве Варвара говорила долго, лирически, книжно,— Самгин, не слушая ее, думал:

«„Была без радости любовь“, но я не ожидал, что „разлука будет без печали“».

И почувствовал, что «без печали» все-таки немножко обидно, тем более обидно, что Варвара начала говорить деловито и глаза ее смотрят спокойно:

— Думаю поехать за границу, пожить там до весны, полечиться и вообще привести себя в порядок. Я верю, что Дума создаст широкие возможности культурной работы. Не повысив уровня культуры народа, мы будем бесплодно тратить интеллектуальные силы,— вот что внушил мне истекший год, и, прощая ему все ужасы, я благодарю его.

Самгин иронически отметил:

«Гладко говорит. Выучили,— глупее стала».

Хотелось, чтоб ее речь, монотонная — точно осенний дождь, перестала звучать, но Варвара украшалась словами еще минут двадцать, и Самгин не поймал среди них ни одной мысли, которая не была бы знакома ему. Наконец она ушла, оставив на столе носовой платок, от которого исходил запах едких духов, а он отправился в кабинет разбирать книги, единственное богатство свое.

Нашел папку с коллекцией нелегальных открыток, эпиграмм, запрещенных цензурой стихов и, хмурясь, стал пересматривать эти бумажки. Неприятно было убедиться в том, как все они пресны, ничтожны и бездарны в сравнении с тем, что печатали сейчас юмористические журналы.

«Прошлое»,— подумал он и, не прибавив «мое», стал разрывать на мелкие клочья памятники дешевого свободомыслия и юношеского своего увлечения.

Цесаревич Николай!
Если царствовать придется,
Так уж ты не забывай,
Что полиция дерется!

— читал Самгин и морщился,— теперь такие вещи — костюм настолько изношенный, что его даже нищему подарить было бы стыдно.

«Сотни людей увлекались этим»,— попробовал он утешить себя, разрывая бумажки всё более торопливо и мелко, а уничтожив эту связь свою с прошлым, ногою примял клочки бумаги в корзине и с удовольствием закурил папиросу.

Через час он сидел в квартире Гогиных, против Татьяны. Он редко встречал эту девушку, помнил ее веселой, с дурашливой речью, с острым блеском синеватых задорных глаз. Она была насмешлива, не симпатична ему и никогда не возбуждала желания познакомиться с нею ближе. Теперь ее глаза были устало прикрыты ресницами, лицо похудело, вытянулось, нездоровый румянец горел на щеках,— покашливая, она лежала на кушетке, вытянув ноги, прикрытые клетчатым пледом. Казалось, что она постарела лет на десять. Глуховатым, бесцветным голосом чахоточной она говорила:

— Деньги — опоздали. Алексей арестован в Ростове и с ним Любаша Сомова. Вы знали Спивак? Тоже арестована, с типографией, не успев ее поставить. Ее сын, Аркадий, у нас.

— Вы нездоровы? — спросил Самгин.

— Как видите. А был такой Петр Усов, слепой; он выступил на митинге, и по дороге домой его убили, буквально растоптали ногами. Необходима организация боевых дружин, и — «око за око, зуб за зуб». У эсеров будет раскол по вопросу о терроре.

Говорила она бессвязно, глаза ее нестерпимо блестели.

— У вас, видимо, поднимается температура.

— Ничего не значит, сидите!

Самгин сказал, что он не имеет времени,— Татьяна, протянув ему руку, спросила:

— Что вы думаете делать?

— Еще не решил,— сухо ответил Самгин, торопясь уйти.

«Осталась где-то вне действительности, живет бредовым прошлым»,— думал он, выходя на улицу. С удивлением и даже недоверием к себе он вдруг почувствовал,

что десяток дней, прожитых вне Москвы, отодвинул его от этого города и от людей, подобных Татьяне, очень далеко. Это было странно и требовало анализа. Это как бы намекало, что при некотором напряжении воли можно выйти из порочного круга действительности.

«Из царства мелких необходимостей в царство свободы»,— мысленно усмехнулся он и вспомнил, что он вовсе не напрягал воли для такого прыжка.

Это было еще более странно. Чувство недоверия к прочности своего настроения волновало.

«Всё в мире стремится к более или менее устойчивому равновесию,— напомнил он себе.— Действительности дан революционный толчок, она поколебалась, подвинулась вперед и теперь...»

— Здравствуйте, товарищ Самгин!

С ним негромко поздоровался и пошел в ногу, заглядывая в лицо его, улыбаясь, Лаврушка, одетый в длинное и не по фигуре широкое синеватое пальто, в протертой до лысин каракулевой шапке на голове, в валяных сапогах.

Самгин дважды смерил его глазами и, подняв воротник своего пальто, оглянулся, ускорил шаг, а Лаврушка, как бы отдавая отчет, говорил быстро, вполголоса, с радостью:

— Рука — зажила, только пятнышко осталось, вроде — оспу привили. Теперь — учусь. А Павел Михайлович помер.

— Кто это? — спросил Самгин.

— Медник же! Медника-то — забыли?

— Ага...

— Простудился и — готов!

— Ну,— всего доброго! — пожелал Самгин, направляясь к извозчику, но приостановился и вдруг тихонько спросил:

— А — Яков?

— Ничего-о! — тоже тихо и всё с радостью откликнулся Лаврушка.— Целехонек. Он теперь не Яков. Вот — уж он действительно...

— Ну, прощай!

Сидя в санях извозчика, Самгин соображал:

«Зачем я спросил про Якова? Странный каприз па-

мяти... Разумеется — это не может быть ничем иным,— именно каприз».—И тотчас подумал:

«Кажется, я — убеждаю себя?»

Затем, опустив воротник пальто, строго сказал извозчику:

— Скорей!

Захотелось сегодня же, сейчас уехать из Москвы. Была оттепель, мостовые порыжели, в сыроватом воздухе стоял запах конского навоза, дома как будто вспотели, голоса людей звучали ворчливо, и раздирал уши скрип полозьев по обнаженному булыжнику. Избегая разговоров с Варварой и встреч с ее друзьями, Самгин днем ходил по музеям, вечерами посещал театры; наконец — книги и вещи были упакованы в заказанные ящики. Он почти благодарно поцеловал руку Варвары, она — отвернулась в сторону, прижав платок к глазам.

И вот, безболезненно порвав связь с женщиной, закончив полосу жизни, чувствуя себя свободным, настроенный лирически мягко, он — который раз? — сидит в вагоне второго класса среди давно знакомых, обыкновенных людей, но сегодня в них чувствуется что-то новое и они возбуждают не совсем обыкновенные мысли. Рядом с ним, у окна, читает сатирический журнал маленький человечек, розовощекий, курносый, с круглыми и очень голубыми глазками, размером в пуговицу жилета. Он весь, от галстука до ботинок, одет в новое, и когда он двигался — на нем что-то хрустело,— должно быть, накрахмаленная рубашка или подкладка синего пиджака. С другого бока — толстая, шерстяная женщина, в круглых очках, с круглой из фанеры коробкой для шляп; в коробке возились и мяукали котята. Напротив — рыжеватый мужчина с растрепанной бородкой на лице, изъеденном оспой, с веселым взглядом темных глаз,— глаза как будто чужие на его сухом и грязноватом лице; рядом с ним, очевидно, жена его, большая, беременная, в бархатной черной кофте, с длинной золотой цепочкой на шее и на груди; лицо у нее широкое, доброе, глаза серые, ласковые. В углу дивана съежился, засунув руки в карманы пальто, закрыв глаза, остроносый человек в котиковой шапке, ничем не интересный.

Самгин подумал, что он уже не первый раз видит таких людей, они так же обычны в вагоне, как неизбежно за окном вагона мелькание телеграфных столбов, небо, разлинованное проволокой, кружение земли, окутанной снегом, и на снегу, точно бородавки, избы деревень. Всё было знакомо, всё обыкновенно, и, как всегда, люди много курили, что-то жевали.

«В сущности, есть много оснований думать, что именно эти люди — основной материал истории, сырье, из которого вырабатывается всё остальное человеческое, культурное. Они и — крестьянство. Это — демократия, подлинный демос — замечательно живучая, неистощимая сила. Переживает все социальные и стихийные катастрофы и покорно, неутомимо ткет паутину жизни. Социалисты недооценивают значение демократии».

Эти новые мысли слагались очень легко и просто, как давно уже прочувствованные. Соблазнительно легко. Но мешал думать гул голосов вокруг. За спиной Самгина, в соседнем отделении, уже началась дорожная беседа, говорило несколько голосов одновременно,— и каждый как бы старался прервать ехидно сладкий, взвизгивающий голосок, который быстро произносил вятским говорком:

— Ну — и что же, чего же ожидать? Разделение власти — что значит? Это значит — многовластие. Что же: адвокаты из евреев, будущие властители наши,— они умнее родовитого дворянства и купечества, которое вчера в лаптях щеголяло, а сегодня миллионами ворочает?

Минуты две никто не мог заглушить голос, он звучал, точно бубенчик, затем его покрыл густой и влажный бас:

— Власть действительно ослабла, и это потому, что духовенство лишено свободы проповеди. Преосвященный владыко Антонин истинно и мужественно сказал: «Слово божие не слышно в безумнейшем, иноязычном хаосе шума газетного, и это есть главнейшее зло»...

— Во-от оно! Разболтали, расхлябали Россию-то!

— Верно! — очень весело воскликнул рябой человек, зажмурив глаза и потрясая головой, а затем от-

крыл глаза и, так же весело глядя в лицо Самгина, сказал:

— А между прочим — замечательно осмелел народ, что думает, то и говорит...

Женщина, почесывая одною рукой под мышкой, другою достала из кармана конфету в яркой бумажке и подала мужу.

— На-ко, пососи! Наверно, уж хочется курить-то? Вон как дымят, совсем — трактир.

— Не трактир, а — решето,— сказал в ухо ей остроносый человек.— Насыпаны в решето люди, и отсевается от них глупость.

Говоря, он тоже смотрел на Самгина, а соседка его, сунув и себе за щеку конфету, миролюбиво сказала:

— Без глупости тоже не проживешь...

— С этого начинаем,— поддержал ее муж.

В соседнем отделении голоса звучали всё громче, торопливее, точно желая попасть в ритм лязгу и грохоту поезда. Самгина заинтересовал остроносый: желтоватое лицо покрыто мелкими морщинами, точно сеткой тонких ниток,— очень подвижное лицо, то — желчное и насмешливое, то — угрюмое. Рот — кривой, сухие губы приоткрыты справа, точно в них торчит невидимая папироса. Из костлявых глазниц, из-под темных бровей нелюдимо поблескивают синеватые глаза.

«Человеку с таким лицом следовало бы молчать»,— решил Самгин. Но человек этот не умел или не хотел молчать. Он непрошенно и вызывающе откликался на все речи в шумном вагоне. Его бесцветный, суховатый голос, ехидно сладенький голосок в соседнем отделении и бас побеждали все другие голоса. Кто-то в коридоре сказал:

— Жизнь — коротка, не поспеешь дом выстроить, а уже гроб надобно!

Остроносый тотчас откликнулся:

— Вам бы, купец, не о гробах думать, а — о торговом договоре с Германией, обидном и убыточном для нас, вот вам — гроб!

За спиною Клима бас обиженно прогудел:

— Мыслители же у нас — вроде одной барышни: ей, за крестным ходом, на ногу наступили, так она —

в истерику: ах, какое безобразие! Так же вот и прославленный сочинитель Андреев, Леонид: народ русский к Тихому океану стремится вылезти, а сочинитель этот кричит на весь мир честной — ах, офицеру ноги оторвало!..

Остроносый встал и, через голову Самгина, крикнул:

— За «Красный смех» большие деньги дают. Андреев даже и священника атеистом написал...

Локомотив свистнул, споткнулся и, встряхнув вагоны, покачнув людей, зашипел, остановясь в густой туче снега, а голос остроносого затрещал слышнее. Сняв шапку, человек этот прижал ее под мышкой, должно быть, для того, чтоб не махать левой рукою, и, размахивая правой, сыпал слова, точно гвозди в деревянный ящик:

— Там, в столицах, писатели, босяки, выходцы из трущоб, алкоголики, сифилитики и вообще всякая... интеллиген-тность, накипь, плесень — свободы себе желает, конституции добилась, будет судьбу нашу решать, а мы тут словами играем, пословицы сочиняем, чаек пьем — да-да-да! Ведь как говорят,— обратился он к женщине с котятами,— слушать любо, как говорят! Обо всем говорят, а — ничего не могут!

Вырвав шапку из-под мышки, оратор надел ее на кулак и ударил себя в грудь кулаком.

— Я объехал всю Россию и вокруг, и вдоль, и поперек, крест-накрест не один раз, за границей бывал во многих странах...

Локомотив снова свистнул, дернул вагон, потащил его дальше, сквозь снег, но грохот поезда стал как будто слабее, глуше, а остроносый — победил: люди молча смотрели на него через спинки диванов, стояли в коридоре, дымя папиросами. Самгин видел, как сетка морщин, расширяясь и сокращаясь, изменяет остроносое лицо, как шевелится на маленькой круглой голове седоватая жесткая щетина, двигаются брови. Кожа лица его не краснела, но лоб и виски обильно покрылись потом, человек стирал его шапкой и говорил, говорил.

— Всё оговорили, всё охаяли! Сочинители Россию-то, как ворота дегтем, вымазали...

— К-клев-вета! — заикаясь, крикнул маленький читатель сатирических журналов.

Оратор махнул в его сторону мохнатым кулаком.

— Свобода мысли! Ты, дьявол, мысли, но — молчи, не соблазняй...

— Верно! — крикнули из коридора, но кто-то засмеялся, кто-то свистнул, а маленький курносый, прикрыв лицо журналом, возмущенно выговорил:

— К-ка-ккая и-и-ерунда!

— Честно говорит,— сказал Самгину рябой. — Веди себя — как самовар: внутри — кипи, а наружу кипятком — не брызгай. Вот я — брызгал...

— В сумасшедший дом и попал, на три месяца,— добавила его супруга, ласково вложив в протянутую ладонь еще конфету, а оратор продолжал с великим жаром, всё чаще отирая шапкой потное, но не краснеющее лицо:

— Народ свободы не требует, народ у нас — мужик, ему одна свобода нужна: шерстью обрастать...

— Д-для стрижк-ки? — спросил читатель сатирических журналов,— тогда остроносый, наклонясь к нему, закричал ожесточенно и визгливо:

— Да-да, для этого самого! С вас, с таких много ли государство сострижет? Вы только объедаете, опиваете его. Сколько стоит выучить вас грамоте? По десяти лет учитесь, на казенные деньги бунты заводите, губернаторов, министров стреляете...

— Нашел кого пожалеть,— громко сказали в коридоре, и снова кто-то свистнул.

— Я — не жалею, я — о бесполезности говорю! У нас — дело есть, нам надобно исправить конфуз японской войны, а мы — что делаем?

Самгин подумал о том, что года два тому назад эти люди еще не смели говорить так открыто и на такие темы. Он отметил, что говорят много пошлостей, но это можно объяснить формой, а не смыслом.

«Конечно, и смысл... уродлив, но тут важно, что люди начали думать политически, расширился интерес к жизни. Она, в свое время, корректирует ошибки...»

Паровоз снова и уже отчаянно засвистел и точно наткнулся на что-то,— завизжали тормоза, загремели тарелки буферов, люди, стоявшие на ногах, покачну-

лись, хватая друг друга, женщина, подскочив на диване, уперлась руками в колени Самгина, крикнув:

— Ой, что это?

— Машинист — пьян,— угрюмо объяснил остроносый, снимая с полки корзину.

Невидимые ткачи ткали за окном густейшую белую пелену, как бы желая скрыть цепь солдат на перроне станции.

— Встречают кого-то,— сказал остроносый; кондуктор, идя вслед за ним, поправил:

— Никого не встречают, арестованных сажать будем...

Женщина, успокоенно вздохнув, улыбнулась:

— Штыки-то, как гребень! Вычесывают солдатики бунтарскую вошку, вычесывают, слава тебе господи!

Перекрестилась и предложила мужу:

— Пойдем, тут буфет есть!

Безмолвная женщина с котятами, тяжело вздохнув, встала и тоже ушла.

— Уж-жасные люди,— прошипел заика; ему, видимо, тоже хотелось говорить, он беспокойно возился на диване и, свернув журналы трубкой, размахивал ею перед собой,— губы его были надуты, голубые глазки блестели обиженно.

— От т'аких х'очется в монастырь уйти,— пожаловался он.

Самгин кивнул головой, сочувствуя тяжести усилий, с которыми произносил слова заика, а тот, распустив розовые губы, с улыбкой добавил:

— Или, как барсук, жить в норе одиноко...

Из-за спинки дивана поднялось усатое, небритое лицо и сказало сквозь усы:

— С барсуком в норе часто лиса живет.

Сказало укоризненно и — скрылось, а заика пугливо съежился.

Поезд стоял утомительно долго; с вокзала пришли рябой и жена его,— у нее срезали часы; она раздраженно фыркала, выковыривая пальцем скупые слезы из покрасневших глаз.

— Часики были старенькие, цена им невелика, да — бабушка это подарила мне, когда я еще невестой была.

Затем оказалось, что в другом конце вагона пропал чемодан и кларнет в футляре; тогда за спиною Самгина, торжествуя, загудел бас:

— Поверьте слову: говорун этот — обыкновенный вор, и тут у него были помощники; он зубы нам заговаривал, а те — работали.

— Приемчик известный,— весело согласился рябой и этим привел басовитого человека в ярость.

— Сами судите: почему человек этот, ни с того ни с сего, выворачивался наизнанку?

— Да ведь вы, батюшка, тоже говорили!

— Я — лицо духовное!

В отделение, где сидел Самгин, тяжело втиснулся большой человек с тяжелым черным чемоданом в одной руке, связкой книг в другой и двумя связками на груди, в ремнях, перекинутых за шею. Покрякивая, он взвалил чемодан на сетку, положил туда же и две связки, а третья рассыпалась, и две книги в переплетах упали на колени маленького заики.

— О-осторожней! — крикнул он, стряхнув книги на пол, прижимаясь в угол.

Новый пассажир, высоко подняв седые кустистые брови, посмотрел несколько секунд на заику и спросил странно звонким голосом, подчеркивая о:

— Почему же на пол бросаете? Ну-ко, поднимите!

— Я в-вам не слуга...

— Это — неверно: человек человеку всегда слуга, так или иначе. Поднимите-ко!

Заика еще плотней вжался в угол, но владелец книг положил руку на плечо его, сказав третий раз, очень спокойно:

— Поднимите.

В соседних отделениях все встали, молча глядя через спинки диванов, ожидая скандала.

— П'овинуюсь насилию,— сказал заика, побледнев, мигая, наклонился и, подняв книги, бросил их на диван.

— То-то,— удовлетворенно сказал седобровый, усаживаясь рядом с ним.— Разве можно книги ногами попирать? Тем более, что это— «Система логики» Милля,

издание Вольфа, шестьдесят пятого года. Не читали, поди-ко, а — попираете!

У него было круглое лицо в седой, коротко подстриженной щетине, на верхней губе щетина — длиннее, чем на подбородке и щеках, губы толстые и такие же толстые уши, оттопыренные теплым картузом. Под густыми бровями — мутновато-серые глаза. Он внимательно заглянул в лицо Самгина, осмотрел рябого, его жену, вынул из кармана толстого пальто сверток бумаги, развернул, нахмурясь, ощупал пальцами бутерброд и сказал:

— Дурак! Я просил — с ветчиной, а он с колбасой дал!

Толстыми пальцами смял хлеб вместе с бумагой и бросил комок в сетку.

Люди всё еще молчали, разглядывая его. Первый устал ждать рябой.

— Торгуете книгами?

— Покупаю.

— Для чтения?

— Крышу крыть.

Рябой, покраснев, усмехнулся.

— Однако и книгами торгуют!

— Разве?

— До чего огрубел народ,— вздохнув, сказала женщина.— Раньше-то как любезно говорили...

Не глядя на нее, книжник достал из-за пазухи деревянную коробку и стал свертывать папиросу. Скучающие люди рассматривали его всё более недоброжелательно, а рябой задорно сказал:

— Махорку здесь курить нельзя!

— Кто запретил? — осведомился книжник.

— Никто не запрещал, а вежливость требует...

— Нежных табаков не курю, а дым — есть дым! Махорочный — здоровее, никотину меньше в нем... Так-то.

— Вы, однако, не доктор,— приставал рябой. Жена дала ему конфету, сказав:

— Брось, не спорь! На, соси скорей!

По нахмуренным лицам людей — Самгин уверенно ждал скандала. Маленький заика ядовито усмехался, щурил глазки и, явно готовясь вступить в словесный

бой, шевелил губами. Книжник, затенив лицо свое зеленоватым дымом, ответил рябому:

— Верно, я не доктор для людей, я — для скотов, ветеринар я.

— Оно и видно, что для скотов,— прозвучал бас над головой Самгина, и стало очень тихо, а через несколько секунд ветеринар сказал, шумно вздохнув:

— Огненной метлой подмели мужики уезд...

Он сказал это так звучно и уверенно, как будто вполне твердо знал, что все эти люди ждут от него именно повести о мужиках.

— *От усадьбы Соймоновых остались головни*, да пепел, да разрушенные печи, а — превосходная была усадьба и хозяйство весьма культурное.

Говорил он беззлобно, задумчиво, и звонкий голос его водворял тишину.

— Но культура эта, недоступная мужику, только озлобляла его, конечно, хотя мужик тут — хороший, умный мужик, я его насквозь знаю, восемь лет работал здесь. Мужик, он — таков: чем умнее, тем злее! Это — правило жизни его.

— Порют мало,— негромко напомнил кто-то.

— Пороть надобно *не его*, *а — вас*, *гражданин*,— спокойно ответил ветеринар, не взглянув на того, кто сказал, да и ни на кого не глядя.— Вообще доведено крестьянство до такого ожесточения, что не удивительно будет, если возникнет у нас крестьянская война, как было в Германии.

— Нет, уже это, что же уж! — быстро и пронзительно закричал рябой.— Помилуйте,— зачем же дразнить людей — и беспокоить? И — всё неверно, потому что — не может быть этого! Для войны требуются ружья-с, а в деревне ружей — нет-с!

— Брюхом навалится мужик, как Митька — у Алексея Толстого,— сказал ветеринар, широко улыбаясь и явно обрадованный возможностью поспорить.

— Сочинениям Толстого никто не верит, это ведь не Брюсов календарь, а романы-с, да-с,— присвистывая, говорил рябой, и лицо его густо покрывалось мелкими багровыми пятнами.

— Я не про Льва Толстого...

— Нам всё едино-с! И позвольте сказать, что никакой крестьянской войны в Германии не было-с, да и быть не может, немцы — люди вышколенные, мы их — знаем-с, а войну эту вы сами придумали для смятения умов, чтоб застращать нас, людей некнижных-с...

Он уже начал истерически вскрикивать, прижал кулаки к груди и всё наклонялся вперед, как бы готовясь ударить головой в живот ветеринара, а тот, закинув голову, выгнув щетинистый кадык,— хохотал, круглый рот его выбрасывал оглушительные, звонкие оники:

— О-хо-о-хо-о-о!

— Да перестань ты, господи боже мой! — тревожно уговаривала женщина, толкая мужа кулаком в плечо и бок.— Отвяжитесь вы от него, господин, что это вы дразните! — закричала и она, обращаясь к ветеринару, который, не переставая хохотать, вытирал слезившиеся глаза.

Самгин вышел в коридор, его проводила жалоба женщины:

— А вы, господа, стравили петухов и любуетесь,— как вам не стыдно!

В коридоре тоже спорили, кто-то говорил:

— Наше поколение веровало в идею прогресса... А материалисты окорнали ее, свели до идеи прогресса технического.

Самгин постоял у двери на площадку, послушал речь на тему о разрушении фабрикой патриархального быта деревни, затем зловещее чье-то напоминание о тройке Гоголя и вышел на площадку в холодный скрип и скрежет поезда. Далеко над снежным пустырем разгоралась неприятно оранжевая заря, и поезд заворачивал к ней. Вагонные речи утомили его, засорили настроение, испортили что-то. У него сложилось такое впечатление, как будто поезд возвращает его далеко в прошлое, к спорам отца, Варавки и суровой Марьи Романовны.

«Ужасные нервы у меня...»

Затем он неожиданно подумал, что каждый из людей в вагоне, в поезде, в мире замкнут в клетку хозяйственных, в сущности — животных интересов; каждому из них сквозь прутья клетки мир виден правильно разли-

нованным, и, когда какая-нибудь сила извне погнет линии прутьев,—мир воспринимается искаженным. И отсюда драма. Но это была чужая мысль: «Чижи в клетках»,— вспомнились слова Марины, стало неприятно, что о клетках выдумал не сам он.

Заря, быстро изменяя цвета свои, теперь окрасила небо в тон старой дешевенькой олеографии, снег как бы покрылся пеплом и уже не блестел.

«А ведь я могу кончить самоубийством»,— вдруг догадался Клим, но и это вышло так, точно кто-то чужой подсказал ему.

«Марина, конечно, тоже в клетке,— торопливо подумал он.— Тоже ограничена. А я — не ограничен...»

Но он не знал, спрашивает или утверждает. Было очень холодно, а возвращаться в дымный вагон, где все спорят,— не хотелось. На станции он попросил кондуктора устроить его в первом классе. Там он прилег на диван и, чтоб не думать, стал подбирать стихи в ритм ударам колес на стыках рельс; это удалось ему не сразу, но все-таки он довольно быстро нашел:

Коняна — скакуо — становит
В горящу — юизбу — войдет...

«И может быть — женой протопопа Аввакума»,— подумал он, закуривая папиросу.

Город Марины тоже встретил его оттепелью, в воздухе разлита была какая-то сыворотка, с крыш лениво падали крупные капли; каждая из них, казалось, хочет попасть на мокрую проволоку телеграфа, и это раздражало, как раздражает запонка или пуговица, не желающие застегнуться. Он сидел у окна, в том же пошленьком номере гостиницы, следил, как сквозь мутный воздух падают стеклянные капли, и вспоминал встречу с Мариной. Было в этой встрече нечто слишком деловитое и обидное.

— Воротился? — спросила она как будто с удивлением и тотчас же хозяйственно заговорила о том, что ему сейчас же надо подыскать квартиру и что она знает одну, кажется, достаточно удобную для него.

— Около двух часов я заеду за тобой, посмотрим, ладно?

Вообще она встретила его так деловито, как хозяйка служащего, и в комнату за магазином не позвала.

Сейчас уже половина третьего, а ее всё еще нет. Но как раз в эту минуту слуга, приоткрыв дверь, сказал:

— Вас Марина Петровна Зотова просят на извозчика.

Самгин отметил, что она не извинилась за опоздание.

— Совсем кончил с Москвой?

— Да.

— Вот и чудесно.

Ехали в тумане осторожно и медленно, остановились у одноэтажного дома в четыре окна с парадной дверью; под новеньким железным навесом, в медальонах между окнами, вылеплены были гипсовые птицы странного вида, и весь фасад украшен аляповатой лепкой, гирляндами цветов. Прошли во двор; там к дому примыкал деревянный флигель в три окна с чердаком; в глубине двора, заваленного сугробами снега, возвышались снежные деревья сада. Дверь флигеля открыла маленькая старушка в очках, в коричневом платье.

— Здравствуй, Фелицата Назаровна! Вот — постояльца привезла. Где Валентин? — громко закричала Марина; старуха молча и таинственно показала серым пальцем вверх.

— Позови. Глухая,— вполголоса объяснила Марина, вводя Самгина в небольшую очень светлую комнату. Таких комнат было три, и Марина сказала, что одна из них — приемная, другая — кабинет, за ним — спальня.

— Окнами в сад, как видишь. Тут жил доктор, теперь будет жить адвокат.

«Уже решила»,— подумал Самгин. Ему не нравилось лицо дома, не нравились слишком светлые комнаты, возмущала Марина. И уже совсем плохо почувствовал он себя, когда прибежал, наклоня голову, точно бык, большой человек в теплом пиджаке, подпоясанном широким ремнем, в валенках, облепленный с головы до ног перьями и сенной трухой. Он схватил руки Марины, сунул в ее ладони лохматую голову и, целуя ладони ее, замычал.

— Безбедов, Валентин Васильевич,— назвала Ма-

рина, удивительно легко оттолкнув его. Безбедов выпрямился, и Самгин увидал перед собою широколобое лицо, неприятно обнаженные белки глаз и маленькие, очень голубые льдинки зрачков. Марина внушительно говорила, что Безбедов может дать мебель, столоваться тоже можно у него,— он возьмет недорого.

— Даром! — сказал Безбедов, голосом человека, больного ларингитом.— Хотите — даром?

— Зачем же? — сухо спросил Самгин, а тот, сверкнув зрачками, широко развел руки и ответил:

— Так. Ради своеобразия.

— Не дури, Валентин,— строго посоветовала Марина и через несколько минут сказала Безбедову:

— Я пришлю тебе завтра Мишутку, и ты с ним устрой всё,— двух дней довольно?

Безбедов снова поймал ее руку, поцеловал и прохрипел:

— Могу завтра к вечеру...

Руку Самгина он стиснул так крепко, что Клим от боли даже топнул ногой. Марина увезла его к себе в магазин,— там, как всегда, кипел самовар и, как всегда, было уютно, точно в постели, перед крепким, но легким сном.

— Валентин — смутил тебя? — спросила она, усмехаясь.— Он — чудит немножко, но тебе не помешает. У него есть страстишка — голуби. На голубях он жену проморгал,— ушла с постояльцем, доктором. Немножко — несчастен, немножко рисуется этим,— в его кругу жены редко бросают мужей, и скандал очень подчеркивает человека.

Помолчав, она попросила его завтра же принять дела от ее адвоката, а затем приблизилась вплоть, наклонилась, сжала лицо его теплыми ладонями и, заглядывая в глаза, спросила тихо, очень ласково, но властно:

— Ну,— что? Что хмуришься? Болит? Кричи,— легче будет!

Освобождать лицо из крепких ее ладоней не хотелось, хотя было неудобно сидеть, выгнув шею, и необыкновенно смущал блеск ее глаз. Ни одна из женщин не обращалась с ним так, и он не помнил, смотрела ли на него когда-либо Варвара таким волнующим взглядом.

Она отняла руки от лица его, села рядом и, поправив прическу свою, повторила:

— Ну, говори! Ведь — хочешь рассказать себя,— чего же молчишь?

Он вовсе не хотел «рассказывать себя», он даже подумал, что и при желании, пожалуй, не сумел бы сделать это так, чтоб женщина поняла всё то, что было неясно ему. И, прикрывая свое волнение иронической улыбкой, спросил:

— Ты желаешь, чтоб я исповедовался? Странное желание. Зачем тебе нужно это?

Он пожал плечами, а Марина, положив руку на плечо его, сказала, тихонько вздохнув:

— Не хочешь — не надо. Но мы, бабы, иной раз помогаем сбросить ношу с плеч...

— Чтоб возложить другую,— вставил он, а Марина, заглядывая в глаза его, усмехаясь, откликнулась:

— Я замуж за тебя — не собираюсь, в любовницы — не напрашиваюсь.

Обаятельно звучал ее мягкий, глубокий голос, хороша была улыбка красивого лица, и тепло светились золотистые глаза.

— Говорить о себе — трудно,— предупредил Самгин.

— А — о чем говорим? — спросила она.— Ведь и о погоде говоря — о себе говорим.

— Ты слишком упрощенно смотришь...

— Разве?

Самгин искоса взглянул в лицо ее и осторожно начал:

— Говорить можно только о фактах, эпизодах, но они — еще не я,— начал он тихо и осторожно.— Жизнь — бесконечный ряд глупых, пошлых, а в общем все-таки драматических эпизодов,— они вторгаются насильственно, волнуют, отягощают память ненужным грузом, и человек, загроможденный, подавленный ими, перестает чувствовать себя, свое сущее, воспринимает жизнь как боль...

Марина молча погладила его плечо, но он уже не смотрел на нее, говоря:

— Я думаю, что так чувствует себя большинство интеллигентов, я, разумеется, сознаю себя типичным ин-

теллигентом, но — не способным к насилию над собой. Я не могу заставить *себя* верить в спасительность социализма и... прочее. Человек без честолюбия, я уважаю свою внутреннюю свободу...

Он помолчал несколько секунд, взвешивая слова «внутренняя свобода», встал и, шагая по комнате из угла в угол, продолжал более торопливо:

— Поэтому я — чужой среди людей, которые включают себя в партии, группы,— вообще — включают, заключают...

Он чувствовал, что говорит необыкновенно и даже неприятно легко, точно вспоминает не однажды прочитанную и уже наскучившую книгу.

— В конце концов — всё сводится к той или иной системе фраз, но факты не укладываются ни в одну из них. И — что можно сказать о себе, кроме: «Я видел то́, видел это»?

Остановясь среди комнаты, глядя в дым своей папиросы, он пропустил перед собою ряд эпизодов: гибель Бориса Варавки, покушение Макарова на самоубийство, мужиков, которые поднимали колокол «всем миром», других, которые сорвали замок с хлебного магазина, 9 Января, московские баррикады — всё, что он пережил, вплоть до убийства губернатора. И вдруг он почувствовал: есть нечто утешительное в том, что память укладывает все эти факты в ничтожную единицу времени,— утешительное и даже как будто ироническое. Невольным движением он вынул часы, но, не взглянув на циферблат, тотчас же спрятал их. И, заметив, что Марина смотрит на него требовательно ожидающим взглядом, продолжал механически, неохотно:

— К людям типа Кутузова я отношусь с уважением... как, например, к хирургам. Но у меня кости не сломаны и нет никаких злокачественных опухолей...

Он снова шагал в мягком теплом сумраке и, вспомнив ночной кошмар, распределял пережитое между своими двойниками,— они как бы снова окружили его. Один из них наблюдал, как драгун старается ударить шашкой Туробоева, но совершенно другой человек был любовником Никоновой; третий, совершенно не похожий на первых двух, внимательно и с удовольствием слушал ре-

чи историка Козлова. Было и еще много двойников, и все они, в этот час,— одинаково чужие Климу Самгину. Их можно назвать насильниками.

«Кошмар,— думал он, глядя на Марину поверх очков.— Почему я так откровенно говорю с ней? Я не понимаю ее, чувствую в ней что-то неприятное. Почему же?» Он замолчал, а Марина, скрестив руки на высокой груди, сказала негромко:

— О Степане ты неверно судишь, я его знаю лучше, чем ты. И не потому, что жила с ним, а...

Но она не договорила фразу, должно быть, не нашла точного слова и новым тоном сказала:

— А ты, кажется, зачитался, заплесневел в думах...

— Читаю я не много.

— Застоялся на одном месте. Надо передвинуться в другой угол...

— Почему — в угол?

— Пожить с простыми людями.

— Ты — о рабочих, крестьянах?

Не обратив на его вопрос внимания, она спросила:

— С женой-то — совсем кончил?

— Да.

— Ну, вот и хорошо! Значит, на время свободен.

«Говорит она со мной, как... старшая сестра».

Облизывая губы кончиком языка, прищурив глаза, Марина смотрела в потолок; он наклонился к ней, желая спросить о Кутузове, но она встряхнулась, заговорив:

— Так завтра же давай примемся за дела! Сходи к моему поверенному, потолкуй с ним, я его предупредила...

Она сказала это мягко, но так, что Самгин понял: надобно уходить. И ушел, молча пожав крепкую, очень теплую руку.

«Хитрая баба. Разоблачить ее нелегко. А — надо разоблачать?» — спросил он.

Отношение к этой женщине не определялось. Раздражала ее неприятная самоуверенность и властность, раздражало и то, что она заставила высказаться. Последнее было особенно досадно. Самгин знал, что он никогда еще и ни с кем не говорил так, как с нею.

На другой день, утром, он сидел в большом светлом кабинете, обставленном черной мебелью; в огромных шкафах нарядно блестело золото корешков книг, между Климом и хозяином кабинета стоял тяжелый письменный стол на толстых и пузатых ножках, как ножки рояля. Хозяин — чернобровый, лысый, его круглое желтоватое лицо надуто, как бычачий пузырь для обучения плаванию, оно заканчивается остренькой черной, полуседой бородкой,— в синеватых белках пронзительно блестят черненькие зрачки. Голосок у него звонкий, упрямый, слова он произносит не по-русски четко и ставит очень плотно слово к слову.

— Моя доверительница,— почтительно говорит он, не называя доверительницу по имени.— Принимая во внимание... Исходя из этого факта... На основании изложенного...— Он как бы нарочно говорит фразами апелляционной жалобы, его почтительность сопровождается легкой судорогой толстых губ и остренькой усмешкой пронзительных глаз. Коротким жестом левой руки он как бы отталкивает от себя что-то. Его ужимки заставили Самгина почувствовать, что человек этот обижен Мариной и, кажется, ненавидит ее, но — побаивается. Отношение к ней он переносил и на него, Самгина.

— Кол-лега,— говорит он, точно ставя занятую между двумя л.

— Далее: дело по иску родственников купца Потапова, осужденного на поселение за принадлежность к секте хлыстов. Имущество осужденного конфисковано частично в пользу казны. Права на него моей почтенной доверительницы недостаточно обоснованы, но она обещала представить еще один документ. Здесь, мне кажется, доверительница заинтересована не имущественно, а, так сказать, гуманитарно, и, если не ошибаюсь, цель ее — добиться пересмотра дела. Впрочем, вы сами увидите...

О гуманитарном интересе Марины он сказал с явным сожалением, а вообще его характеристики судебных дел Марины принимали всё более ехидный характер, и Самгин уже чувствовал, что коллега Фольц знакомит его не с делами, а хочет познакомить с почтенной доверительницей. В черном кабинете стоял не-

приятный запах, возбуждая желание чихать; за окнами шумел, завывал ветер, носились тучи снега. Просидев часа два, Самгин почти с наслаждением погрузился в белую бурю на улице,— его толкало, покачивало, черные фигуры вырывались из белого вихря, наскакивая на него, обгоняя; он шел и чувствовал: да, начинается новая полоса жизни. С Мариной следует быть осторожным. И необходимо взять себя в руки. «Поставить себя в центр круга непоколебимых выводов», — вспомнил он фразу Брагина и возмутился засоренностью своей памяти.

Через несколько дней он, в сопровождении Безбедова, ходил по комнатам своей квартиры. Комнаты обставлены старой и солидной мебелью, купленной, должно быть, в барской усадьбе. Валентин Безбедов, вводя Клима во владение этим имуществом, пренебрежительно просипел:

— Если — мало, сходите в сарай, там до чёрта всякой дряни! Книжный шкаф есть, клавесины. Цветов хотите? У меня во флигеле множество их, землей пахнет, как на кладбище.

Он курил немецкую фарфоровую трубку, дым шел из ноздрей его широкого носа, изо рта, трубка висела на груди, между лацканами модного толстого пиджака, и оттуда тоже шел дым. Но похож был Безбедов не на немца, а на внезапно разбогатевшего русского ломового извозчика, который еще не привык носить модные костюмы. Лохматый, с красным опухшим лицом, он ходил рядом с Климом, бесцеремонно заглядывая в лицо его обнаженными глазами,— отвратительно скрипели его ботинки, он кашлял, сипел, дымился, толкал Самгина локтем и вдруг спросил:

— Читали анекдот?

— Какой?

— У царя была депутация верноподданных рабочих из Иваново-Вознесенска, он им сказал буквально так: «Самодержавие мое останется таким, каким оно было встарь». Что он — с ума спятил?

— Да, странно,— отозвался Самгин.

Безбедов крепко стиснул его локоть.

— Ну, устраивайтесь!

И ушел, дымя, скрипя, но, затворив дверь, тотчас снова распахнул ее и просипел:

— В Москву едет царь-то!

Отмахиваясь от густого дыма, Самгин спросил себя: «Неужели и это животное занимается политикой?»

Как все необычные люди, Безбедов вызывал у Самгина любопытство,— в данном случае любопытство усиливалось еще каким-то неопределенным, но неприятным чувством. Обедал Самгин во флигеле у Безбедова, в комнате, сплошь заставленной различными растениями и полками книг, почти сплошь переводами с иностранного: 144 тома пантелеевского издания иностранных авторов, Майн-Рид, Брем, Густав Эмар, Купер, Диккенс и «Всемирная география» Э. Реклю,— большинство книг без переплетов, растрепаны, торчат на полках кое-как.

«Библиотека гимназиста»,— мысленно определил Самгин. Безбедов не замедлил подтвердить это.

— Со времен гимназии накопил,— сказал он, недружелюбно глядя на книги.— Ерунда всё. Из-за них и гимназию не кончил.

Всё вокруг него было неряшливо — так же, как сам он, всегда выпачканный птичьим пометом, с пухом в кудлатой голове и на одежде. Ел много, торопливо, морщился, точно пища была слишком солона, кисла или горька, хотя глухая Фелицата готовила очень вкусно. Насытясь, Безбедов смотрел в рот Самгина и сообщал какие-то странные новости,— казалось, что он выдумывает их.

— Петербургский викарий Сергий служил панихиду по лейтенанте Шмидте, студенты духовной академии заставили: служи! И — служил.

— Откуда вам известно это?

— Муромская, Лидия Тимофеевна, сказала. Она — всё знает, у нее связи в Петербурге.

Подобрав нижнюю губу, он вопросительно, как бы ожидая чего-то, помолчал, затем сказал тоном виноватого:

— Я лесами ее управляю. Знакомы с ней?

— Да.

— Скушная. Ничего, что я так говорю?

— Пожалуйста.

— Не женщина, *а — обязательное постановление* городской управы. Вы не замечаете, что люди становятся всё скушнее?

— Человек — вообще существо невеселое,— философски сказал Самгин,— Безбедов нашел, что это:

— Правильно!

От его политических новостей и мелких городских сплетен Самгин терял аппетит. Но очень скоро он убедился, что этот человек говорит о политике из любезности, считая долгом развлекать нахлебника. Как-то за ужином он угрюмо сказал:

— В Москве революционеры на банк напали, цапнули денег около миллиона.— И, отдуваясь, сказал с явной досадой, хрипло:

— Надоело до чёрта! Все о политике говорят, как о блинах на масленице.

Самгин взглянул на него недоверчиво и увидал, что он, обиженно надув губы, тискает в трубку табак. После двух, трех таких жалоб Самгин решил, что домохозяин — глуп и сам знает это, но нимало не смущен своей глупостью, а даже как бы хвастается ею.

«Дурак — по-русски, широко; по глупости несколько навязчив, но не нахал и добродушен»,— определил Самгин и почти ежедневно убеждался, что определил правильно.

Как-то за обедом Безбедов наглотался вкусной пищи, выпил несколько рюмок водки, настоянной на ягодах можжевельника, покраснел, задымил немецкой трубкой и внезапно, с озлоблением вскричал:

— Идиотское время, чёрт его возьми! — Хлопнув себя ладонями по ушам, он потряс лохматой головою. Самгин спокойно ждал политической новости, но Безбедов возмущенно заговорил:

— Март уже, а — что делается, а?

— Вы о чем?

— Да — о погоде! У меня голуби ожирели,— тоскливо хрипел он, показывая в потолок пальцем цвета моркови.— Лучшая охота в городе, два раза премирована, москвичам носы утер. Тут есть такой подлец, Блинов, трактирщик, враг мой, подстрелил у меня Хе-

рувима, лучшего турмана во всей России.— Дробь эту он, убийца, получит в морду себе...

Самгин видел, что лицо хозяина налилось кровью, белки выкатились, красные пальцы яростно мнут салфетку, и ему подумалось, что всё это может кончиться припадком пьяного буйства, даже параличом. Притворясь заинтересованным, он спросил:

— Это очень увлекательная охота?

Безбедов поперхнулся каким-то ругательством, дрожащей рукой налил квасу, выпил стакан двумя глотками и — выдохнул вместе со струей воздуха:

— Не поймете — до чего!

Он вскочил из-за стола, точно собираясь бежать куда-то, остановился у окна в цветах, вытер салфеткой пот с лица, швырнул ее на пол и, широко размахнув руками, просипел:

— Невообразимо!

Взмахивая распростертыми руками, точно крыльями, закрыв глаза, мотая головою, он забормотал:

— Понимаете: небеса! Глубина, голубая чистота, ясность! И — солнце! И вот я,— ну, что такое я? Ничтожество, болван! И вот — выпускаю голубей. Летят, кругами, всё выше, выше, белые в голубом. И жалкая душа моя летит за ними — понимаете? Душа! А они — там, едва вижу. Тут — напряжение... Вроде обморока. И — страх: а вдруг не воротятся? Но — понимаете — хочется, чтоб не возвратились, понимаете?

Большое, мягкое тело Безбедова тряслось, точно он смеялся беззвучно, лицо обмякло, распустилось, таяло потом, а в полупьяных глазах его Самгин действительно видел страх и радость. Отмечая в Безбедове смешное и глупое, он почувствовал к нему симпатию. Устав размахивать руками, задыхаясь и сипя, Безбедов повалился на стул и, наливая квас мимо стакана, бормотал:

— Большой момент! И — честное дело, никому не мешает, ни от кого не зависит, — к чертям всю чепуху! Пожалуйста — выпьемте!

Чокаясь с ним рюмками, Самгин подумал:

«Случай, когда глупость возвышается до поэзии».

Безбедов вылил водку из рюмки в стакан с квасом и продолжал говорить. Он еще более растрепался, сбросил

пиджак, расстегнул ворот голубой сатиновой рубашки, обмахивался салфеткой, и сероватые клочья волос на голове его забавно шевелились. Было приятно, что Безбедов так легко понятен, не требует настороженности в отношении к нему, весь — налицо и не расспрашивает ни о чем, как это делает его чрезмерно интересная тетушка, которую он, кажется, не очень любит. В этот вечер Самгин, уходя спать, пожал руку Безбедова особенно крепко и даже подумал, что он вел себя с ним более сдержанно, чем следовало бы. Надо было сказать ему что-нибудь, выразить сочувствие. Конечно, не для того, чтобы поощрять его болтовню. Одинокий и, видимо, несчастный парень. Болтовня его ни к чему не обязывает.

Но Безбедов не нуждался в сочувствии и поощрении, почти каждый вечер он охотно, неутомимо рассказывал о городе, о себе. Самгин слушал и ждал, когда он начнет говорить о Марине. Нередко Самгин находил его рассказы чрезмерно, неряшливо откровенными, и очень удивляло, что, хотя Безбедов не щадил себя, всё же в словах его нельзя было уловить ни одной ноты сожаления о неудавшейся жизни. Рассказывая, он не исповедовался, а говорил о себе, как о соседе, который несколько надоел ему, но, при всех его недостатках,— человек не плохой. Как-то, в грустный, ветреный и дождливый вечер, Безбедов заговорил о своей жене.

— Из-за голубей потерял,— говорил он, облокотясь на стол, запустив пальцы в растрепанные волосы, отчего голова стала уродливо огромной, а лицо — меньше.— Хорошая женщина, надо сказать, но, знаете, у нее — эти общественные инстинкты и всё такое, а меня это не опьяняет...

«Общественные инстинкты» он проговорил гнусаво, в нос и сморщив лицо, затем, опустив руки на затылок, спросил с негодованием:

— Какого чёрта буду я заботиться о том, чтоб дураки жили умнее или как-то там лучше? А умники и без меня проживут. Вы, конечно, другого взгляда, а по-моему — дуракам и так хорошо. На этом я с ней и не поладил. Тут же и голуби. Еще с курицами она, может быть, помирилась бы, но — голуби! Это уже для нее обидно.

Вообще она чувствовала себя обманутой. Ей, кажется, не я понравился, а имя мое — Валентин; она, должно быть, вообразила, что за именем скрывается нечто необыкновенное. Гимназистка, романов начиталась, стихов,— книгоедство и... всё такое!

Самгин слушал и улыбался. Ему нравилось, что Валентин говорит беспечально, как бы вспоминая далекое прошлое, хотя жена ушла от него осенью истекшего года.

— Может быть, она и не ушла бы, догадайся я заинтересовать ее чем-нибудь живым — курами, коровами, собаками, что ли! — сказал Безбедов, затем продолжал напористо: — Ведь вот я нашел же себя в голубиной охоте, нашел ту песню, которую суждено мне спеть. Суть жизни именно в такой песне — и чтобы спеть ее от души. Пушкин, Чайковский, Миклухо-Маклай — все *жили, чтобы тратить себя на любимое занятие*,— верно?

Самгин согласно кивнул головой и стал слушать сиплые слова внимательнее, чувствуя в рассказе Безбедова новые ноты.

— Вас увлекает адвокатура, другого — картежная игра, меня — голуби! Вероятно, я на крыше и умру, задохнусь от наслаждения и — шлеп с крыши на землю,— сказал Безбедов и засмеялся влажным, неприятно кипящим смехом.— В детстве у меня задатки были,— продолжал он, вытряхивая пепел из трубки в чайный стакан, хотя на столе стояла пепельница.— Правильно говоря — никаких задатков у меня не было, а это мать и крестный внушили: «Валентин, у тебя есть задатки!» Конечно, это обязывало меня показывать какие-нибудь фокусы. Ждут чего-то необыкновенного, ну и сочинишь, соврешь что-нибудь,— что же делать? Надобно оправдать доверие.

Он подмигнул Самгину и заставил его подумать: «Я никогда не сочинял».

— Привычка врать и теперь есть у меня, выдумаю что-нибудь маловероятное и, по секрету, расскажу; стоит только одному рассказать, а уж дальше вранье само пойдет! Чем невероятнее, тем легче верят.

Он усмехнулся и, крепко закрыв глаза, помолчал, подумал, вздохнул.

— Хотя невероятное становится обычным в наши дни. Привираю я не для того, чтоб забавлять себя или людей, а — так, чёрт знает для чего! Скучновато на земле, когда самое лучшее переживаешь на крыше. В гимназии я тоже считался мальчишкой с задатками,— крестный раскрасил меня. Чтоб оправдать ожидания — хулиганил. Из пятого класса — выгнали. Стал щеголять в невероятных костюмах, какие-то дурацкие шляпы носил. Барышням — нравилось. Вообразил, что отлично могу играть на биллиарде,— играл часов по пяти, разумеется — бездарно. Вообще я — человек совершенно бездарный.

Сказав последние слова с явным удовольствием, Безбедов вздохнул, и лицо его исчезло в облаке табачного дыма. Самгин тоже курил и молчал, думая, что он, кажется, поторопился признать в этом человеке что-то симпатичное.

«Весьма похоже, что он только играет роль простака, а я — ошибся».

Сознание ошибки возникло сейчас же после того, как Безбедов сказал о задатках и фокусах. Вообще в словах Безбедова незаметно появилось что-то неприятное. Особенно смущало Самгина то, что он подумал о себе:

«Я — не сочинял».

Мысль о возможности какого-либо сходства с этим человеком была оскорбительна. Самгин подозрительно посмотрел сквозь стекла очков на плоское, одутловатое лицо с фарфоровыми белками и голубыми бусинками зрачков, на вялую, тяжелую нижнюю губу и белесые волосики на верхней — под широким носом. Глупейшее лицо.

Неистово дымя, Безбедов спросил:

— А что — у вас нет аппетита к барышням? Тут, недалеко, две сестренки живут, очень милосердные и веселые,— не хотите ли?

Самгин сухо отказался, но подумал, что следовало бы взглянуть, каков этот толстяк среди женщин. Затем, прихлебывая кисленькое красное вино, он сказал:

— Разумеется, я не верю вам, когда вы утверждаете, что — у вас нет никаких талантов...

стал обдумывать. Несомненно, что в речах Безбедова есть нечто от Марины. Она — тоже вне «суматохи» даже и тогда, когда физически находится среди людей, охваченных вихрем этой «суматохи». Самгин воспроизвел в памяти картину собрания кружка людей, «Взыскующих грядя», — его пригласила на собрание этого кружка Лидия Варавка.

В помещение под вывеской «Магазин мод» входят, осторожно и молча, разнообразно одетые; но одинаково смирные люди, снимают верхнюю одежду, складывая ее на прилавки, засовывая на пустые полки; затем они, «гуськом» идя друг за другом, спускаются по четырем ступенькам в большую, узкую и длинную комнату, с двумя окнами в ее задней стене, с голыми стенами, с печью и плитой в углу, у входа: очевидно — это была мастерская. В комнате — сумрачно, от стен исходит запах клейстера и сырости. На черных и желтых венских стульях неподвижно и безмолвно сидят люди, десятка три, четыре мужчин и женщин, лица их стерты сумраком. Некоторые согнулись, опираясь локтями о колена, а один так наклонился вперед, что непонятно было: почему он не падает? Кажется, что многие обезглавлены. Впереди, в простенке между окнами, за столом, покрытым зеленой клеенкой, — Лидия, тонкая, плоская, в белом платье, в сетке на курчавой голове и в синих очках. Перед нею — лампа под белым абажуром, две стеариновые свечи, толстая книга в желтом переплете; лицо Лидии — зеленоватое, вероятно на нем отражается цвет клеенки; в стеклах очков дрожат огни свеч; Лидия [illegible] и кажется выдуманной [illegible], на страх людям. Поглядывая в книгу, наклоняя и забрасывая голову, она спусаво, в нос читает:

— «Говорящего в духе — не осуждайте, потому что не плоть проповедует, а дух, дух-же осуждать — смертный грех. Всякий грех простится, а этот — никогда».

Отделив от книги длинный листок, она приближает его к лампе и шевелит губами молча. В углу, недалеко от нее, сидит Марина, скрестив руки на груди, вскинув голову; яркое лицо ее очень выгодно подчеркнуто пепельно серым фоном стены.

— Начни, сестра София, во имя отца и сына и святого духа, — говорит Лидия, свертывая бумагу трубочкой.

216

[illegible] в ее фигуре есть нечто тра-
тромное, отталкивающее.

«ЖИЗНЬ КЛИМА САМГИНА». ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ.

Страница веротки с правкой М. Горького.

— Святая истина! — вскричал Безбедов, подняв руки на уровень лица, точно защищаясь, готовясь оттолкнуть от себя что-то.— Я — человек без средств, бедный человек, ничем не могу помочь, никому и ничему! — Эти слова он прокричал, явно балаганя, клоунски сделав жалкую гримасу скупого торгаша.

Самгин настойчиво продолжал:

— Но очень странно слышать, что вы говорите это как будто с удовольствием...

— Да — конечно же, с удовольствием! — вскричал Безбедов, нелепо размахивая руками.— Как бы это сказать вам? Ах, чёрт...

Вытаращив глаза, потирая ладонью шершавый лоб, он несколько секунд смотрел в лицо Самгина, и Самгин видел, как его толстые губы, потные щеки расплываются, тают в торжествующей улыбке.

— Я — глухонемой! — сказал он трезво и громко.— Глухонемого проповедовать не заставишь! Понимаете?

— Вы сознаетесь в симуляции,— сердито заметил Самгин.

— Почему — симуляция? Нет, это — мое убеждение. Вы убеждены, что нужна конституция, революция и вообще — суматоха, а я ничего этого — не хочу! Не хочу! Но и проповедовать, почему не хочу,— тоже не стану, не хочу! И не буду отрицать, что революция полезна, даже необходима рабочим, что ли, там! Необходима? Ну, и валяйте, делайте революцию, а мне ее не нужно, я буду голубей гонять. Глухонемой! — И, с размаха шлепнув ладонью в широкую жирную грудь свою, он победоносно захохотал сиплым, кипящим смехом.

«Скотина»,— мысленно обругал его Самгин, быстро и сердито перебирая в памяти все возражения, какие можно бы противопоставить Безбедову. Но было совершенно ясно, что возражения бесполезны, любое из них Безбедов оттолкнет: «Не хочу»,— скажет он.

Возможно, что он обладает силой не хотеть. Но всё же Самгин проворчал:

— Анархизм. Это — старо.

— Как мир,— согласился Безбедов, усмехаясь.— Как цивилизация,— добавил он, подмигнув фарфоровым глазом.— Ведь цивилизация и родит анархистов.

Вожди цивилизации — или как их там? — смотрят на людей, как на стадо баранов, а я — баран для себя и не хочу быть зарезанным для цивилизации, зажаренным под соусом какой-нибудь философии.

Послушав минуты две давно знакомые плоские фразы, Самгин невольно произнес слова, которые не хотел бы говорить вслух:

— Самое сильное, что вы можете сказать и сказали, это — не хочу!

— Конечно,— согласился Безбедов, потирая красные толстые ладони.— Тысячи — думают, один — говорит,— добавил он, оскалив зубы, и снова пробормотал что-то о барышнях. Самгин послушал его еще минуту и ушел, чувствуя себя отравленным.

В кабинете он зажег лампу, надел туфли и сел к столу, намереваясь работать, но, взглянув на синюю обложку толстого «Дела М. П. Зотовой с крестьянами села Пожога», закрыл глаза и долго сидел, точно погружаясь во тьму, видя в ней жирное тело с растрепанной серой головой с фарфоровыми глазами, слыша сиплый, кипящий смех.

«Противная бестия...»

Потом, закурив, вышел в соседнюю, неосвещенную комнату и, расхаживая в сумраке мимо двух мутно-серых окон, стал обдумывать. Несомненно, что в речах Безбедова есть нечто от Марины. Она — тоже вне «суматохи» даже и тогда, когда физически находится среди людей, охваченных вихрем этой «суматохи». Самгин воспроизвел в памяти картину собрания кружка людей, «взыскующих града»,— его пригласила на собрание этого кружка Лидия Варавка.

В помещение под вывеской «Магазин мод» входят, осторожно и молча, разнообразно одетые, но одинаково смирные люди, снимают верхнюю одежду, складывая ее на прилавки, засовывая на пустые полки; затем они, «гуськом» идя друг за другом, спускаются по четырем ступенькам в большую, узкую и длинную комнату, с двумя окнами в ее задней стене, с голыми стенами, с печью и плитой в углу, у входа: очевидно — это была мастерская. В комнате — сумрачно, от стен исходит запах клейстера и сырости. На черных и желтых вен-

ских стульях неподвижно и безмолвно сидят люди, десятка три-четыре мужчин и женщин, лица их стерты сумраком. Некоторые согнулись, опираясь локтями о колена, а один так наклонился вперед, что непонятно было: почему он не падает? Кажется, что многие обезглавлены. Впереди, в простенке между окнами, за столом, покрытым зеленой клеенкой,— Лидия, тонкая, плоская, в белом платье, в сетке на курчавой голове и в синих очках. Перед нею — лампа под белым абажуром, две стеариновые свечи, толстая книга в желтом переплете; лицо Лидии — зеленоватое, на нем отражается цвет клеенки; в стеклах очков дрожат огни свеч; Лидия кажется выдуманной на страх людям. В ее фигуре есть нечто театральное, отталкивающее. Поглядывая в книгу, наклоняя и взбрасывая голову, она гнусаво, в нос читает:

— «Говорящего в духе — не осуждайте, потому что не плоть проповедует, а дух, дух же осуждать — смертный грех. Всякий грех простится, а этот — никогда».

Отделив от книги длинный листок, она приближает его к лампе и шевелит губами молча. В углу, недалеко от нее, сидит Марина, скрестив руки на груди, вскинув голову; яркое лицо ее очень выгодно подчеркнуто пепельно-серым фоном стены.

— Начни, сестра София, во имя отца и сына и святого духа,— говорит Лидия, свертывая бумагу трубкой.

Рядом с Мариной — Кормилицын, писатель по вопросам сектантства, человек с большой седоватой бородою на мягком лице женщины,— лицо его всегда выражает уныние одинокой, несчастной вдовы; сходство с женщиной добавляется его выгнутой грудью.

Самгин нередко встречался с ним в Москве и даже, в свое время, завидовал ему, зная, что Кормилицын достиг той цели, которая соблазняла и его, Самгина: писатель тоже собрал обширную коллекцию нелегальных стихов, открыток, статей, запрещенных цензурой; он славился тем, что первый узнавал анекдоты из жизни министров, епископов, губернаторов, писателей и вообще упорно, как судебный следователь, подбирал всё, что рисовало людей пошлыми, глупыми, жестокими, преступными. Слушая его анекдоты, Самгин, бывало, чув-

ствовал, что человек этот гордится своими знаниями, как гордился бы ученый исследователь, но рассказывает всегда с тревогой, с явным желанием освободиться от нее, внушив ее слушателям. К столу Лидии подошла пожилая женщина в черном платье, толстая, с маленькой головой и остроносым лицом, взяла в руки желтую Библию и неожиданно густым, сумрачным голосом возгласила:

— Пророка Исаии, глава двадцать четвертая!

Раскрыв тяжелую книгу, она воткнула в нее острый нос; зашелестели страницы, «взыскующие града» пошевелились, раздался скрип стульев, шарканье ног, осторожный кашель,— женщина, взмахнув головою в черном платке, торжественно и мстительно прочитала:

— «Се господь рассыплет вселенную и опустошит ю, откроет лицо ея и расточит живущие на ней».

У плиты, в углу, кто-то глухо зарычал.

— «Тлением истлеет земля и расхищением расхищена будет земля»,— с большой силой и всё более мстительно читала женщина.

— «Восплачет земля»...

Шум около печки возрастал; Марина, наклонясь к Лидии, что-то сказала ей, тогда Лидия, постукивая ключом по столу, строго крикнула:

— Тише!

Сквозь ряды стульев шел человек и громко, настойчиво говорил:

— Так я ж ничого ни розумию! Значала — разсыпле, после — лицо откроє... И всё это, простите! — известно; земля вже плаче от разрушения средств хозяйства...

Человек был небольшой, тоненький, в поддевке и ярко начищенных сапогах, над его низким лбом торчала щетка черных, коротко остриженных волос, на круглом бритом лице топырились усы — слишком большие для его лица, говорил он звонко и капризно.

— И никак невозможно понять, кто допускае расхищение трудов и зачем цар отказуется править народом...

Неестественно согнувшийся человек выпрямился, встал и, протянув длинную руку, схватил черненького за плечо,— тот гневно вскричал:

— Шо вы хватаетесь!

— Здесь собрались люди...

— Да — я вижу, что люди...

— Побеседовать не о том, о чем говоришь ты, брат...

— Как же не о том?

Кто-то засмеялся, люди сердито ворчали. Лидия встряхивала слабозвучный колокольчик; человек, который остановил черненького капризника, взглянул в угол, на Марину,— она сидела всё так же неподвижно.

«Идол»,— подумал Самгин.

В переднем ряду встала женщина и веселым голосом крикнула:

— Это Лукин, писарь из полиции,— притворяется, усы-то налеплены...

— Выведите его,— истерически взвизгнула Лидия.

Самгину показалось, что глаза Марины смеются. Он заметил, что многие мужчины и женщины смотрят на нее не отрываясь, покорно, даже как будто с восхищением. Мужчин могла соблазнять ее величавая красота, а женщин чем привлекала она? Неужели она проповедует здесь? Самгин нетерпеливо ждал. Запах сырости становился теплее, гуще. Тот, кто вывел писаря, возвратился, подошел к столу и согнулся над ним, говоря что-то Лидии; она утвердительно кивала головой, и казалось, что от очков ее отскакивают синие огни...

— Хорошо, брат Захарий,— сказала она. Захарий разогнулся, был он высокий, узкоплечий, немного сутулый, лицо неподвижное, очень бледное — в густой черной бороде.

— Брат Василий,— позвала Лидия.

Из сумрака выскочил, побежал к столу лысый человечек, с рыжеватой реденькой бородкой,— он тащил за руку женщину в клетчатой юбке, красной кофте, в пестром платке на плечах.

— Иди, иди,— не бойся! — говорил он, дергая руку женщины, хотя она шла так же быстро, как сам он.— Вот, братья-сестры, вот — новенькая!— бросал он направо и налево шипящие, горячие слова.— Мученица плоти, ох какая! Вот — она расскажет страсти, до чего доводит нас плоть, игрушка диаволова...

Доведя женщину до стола, он погрозил ей пальцем:

— Ты — честно, Таисья, всё говори, как было, не стыдись, здесь люди богу служить хотят, перед богом — стыда нету!

Он отскочил в сторону, личико его тревожно и радостно дрожало, он размахивал руками, притопывал, точно собираясь плясать, полы его сюртука трепетали подобно крыльям гуся, и торопливо трещал сухой голосок:

— Тут, братья-сестры, обнаружится такое...

И, не найдя определяющего слова, он крикнул:

— Ну, начинай, рассказывай, говори — Таисья...

Женщина стояла, опираясь одною рукой о стол, поглаживая другою подбородок, горло, дергая коротенькую толстую косу; лицо у нее — смуглое, пухленькое, девичье, глаза круглые, кошачьи; резко очерченные губы. Она повернулась спиною к Лидии и, закинув руки за спину, оперлась ими о край стола,— казалось, что она падает; груди и живот ее торчали выпукло, вызывающе, и Самгин отметил, что в этой позе есть что-то неестественное, неудобное и нарочное.

— Отец мой лоцманом был на Волге! — крикнула она, и резкий крик этот, должно быть, смутил ее,— она закрыла глаза и стала говорить быстро, невнятно.

— Ничего не слышно,— строго сказала остроносая сестра Софья, а суетливый брат Василий горестно вскричал:

— Эх, Таисья, портишь дело! Портишь!

Кормилицын встал и осторожно поставил стул впереди Таисьи,— она охватила обеими руками спинку стула и кивком головы перекинула косу за плечо.

— На двенадцатом году отдала меня мачеха в монастырь, рукоделию учиться и грамоте,— сказала она медленно и громко.— После той, пьяной жизни хорошо показалось мне в монастыре-то, там я и жила пять лет.

Смуглое лицо ее стало неподвижно, шевелились только детски пухлые губы красивого рта. Говорила она сердито, ломким голосом, с неожиданными выкриками. Пальцы ее судорожно скользили по дуге спинки стула, тело выпрямлялось, точно она росла.

— Жених был неказистый, рыжеватый, наянливый такой... Пакостник! — вдруг вскрикнула она.

— Во-от, вот оно! — с явным восхищением и сладостно воскликнул брат Василий.

Все другие сидели смирно, безмолвно,— Самгину казалось уже, что и от соседей его исходит запах клейкой сырости. Но раздражающая скука, которую испытывал он до рассказа Таисьи, исчезла. Он нашел, что фигура этой женщины напоминает Дуняшу: такая же крепкая, отчетливая, такой же маленький красивый рот. Посмотрев на Марину, он увидел, что писатель шепчет что-то ей, а она сидит всё так же величественно.

«Совершенный идол»,—снова подумал он, досадуя, что не может обнаружить отношения Марины ко всему, что происходит здесь.

— Вскоре после венца он и начал уговаривать меня: «Если хозяин попросит, не отказывай ему, я не обижусь, а жизни нашей польза будет»,— рассказывала Таисья, не жалуясь, но как бы издеваясь.— А они — оба приставали — и хозяин и зять его. Ну, что же? — крикнула она, взмахнув головой, и кошачьи глаза ее вспыхнули яростью.— С хозяином я валялась по мужеву приказу, а с зятем его — в отместку мужу...

— Эге-е! — насмешливо раздалось из сумрака, люди заворчали, зашевелились. Лидия привстала, взмахнув рукою с ключом, чернобородый Захарий пошел на голос и зашипел; тут Самгину показалось, что Марина улыбается. Но осторожный шумок потонул в быстром потоке крикливой и уже почти истерической речи Таисьи.

— С ним, с зятем, и застигла меня жена его, хозяинова дочь, в саду, в беседке. Сами же, дьяволы, лишили меня стыда и сами уговорились наказать стыдом.

Она задохнулась, замолчала, двигая стул, постукивая ножками его по полу, глаза ее фосфорически блестели, раза два она открывала рот, но, видимо, не в силах сказать слова, дергала головою, закидывая ее так высоко, точно невидимая рука наносила удары в подбородок ей. Потом, оправясь, она продолжала осипшим голосом, со свистом, точно сквозь зубы:

— В-вывезли в лес, раздели догола, привязали руки, ноги к березе, близко от муравьиной кучи, вымазали всё тело патокой, сели сами-то, все трое — муж да хозяин с зятем, насупротив, водочку пьют, табачок покуривают,

издеваются над моей наготой, ох, изверги! А меня осы, пчелки жалят, муравьи, мухи щекотят, кровь мою пьют, слезы пьют. Муравьи-то — вы подумайте! — ведь они и в ноздри и везде ползут, а я и ноги крепко-то зажать не могу, привязаны ноги так, что не сожмешь,— вот ведь что!

Близко от Самгина кто-то сказал вполголоса:

— Ой, бесстыдница...

Самгин видел, что пальцы Таисьи побелели, обескровились, а лицо неестественно вытянулось. В комнате было очень тихо, точно все уснули, и не хотелось смотреть ни на кого, кроме этой женщины, хотя слушать ее рассказ было противно, свистящие слова возбуждали чувство брезгливости.

— Сначала-то я молча плакала, не хотелось мне злодеев радовать, а как начала вся эта мошка по лицу, по глазам ползать... глаза-то жалко стало, ослепят меня, думаю, навеки ослепят! Тогда — закричала я истошным голосом, на всех людей, на господа бога и ангелов хранителей,— кричу, а меня кусают, внутренности жгут — щекотят, слезы мои пьют... слезы пьют. Не от боли кричала, не от стыда,— какой стыд перед ними? Хохочут они. От обиды кричу: как можно человека мучить? Загнали сами же куда нельзя и мучают... Так закричала, что не знаю, как и жива осталась. Ну, тут и муженек мой закричал, отвязывать меня бросился, пьяный. А я — как в облаке огненном...

Таисья пошатнулась, чернобородый вовремя поддержал ее, посадил на стул. Она вытерла рот косою своей и, шумно, глубоко вздохнув, отмахнулась рукою от чернобородого.

— Избили они его,— сказала она, погладив щеки ладонями, и, глядя на ладони, судорожно усмехалась.— Под утро он говорит мне: «Прости, сволочи они, а не простишь — на той же березе повешусь».— «Нет, говорю, дерево это не погань, не смей, Иуда, я на этом дереве муки приняла. И никому, ни тебе, ни всем людям, ни богу никогда обиды моей не прощу». Ох, не прощу, нет уж! Семнадцать месяцев держал он меня, всё уговаривал, пить начал, потом — застудился зимою...

И, облегченно вздохнув, она сказала громко, твердо:

— Издох.

Люди не шевелились, молчали. Тишина продолжалась, вероятно, несколько секунд, становясь с каждой секундой как будто тяжелее, плотней.

Потом вскочил брат Василий и, размахивая руками, затрещал:

— Слышали, братья-сестры? Она — не каялась, она — поучала! Все мы тут опалены черным огнем плоти, дыханием дьявола, все намучены...

Встала Лидия и, постучав ключом, сердито нахмуря брови, резким голосом сказала:

— Подождите, брат Василий! Сестры и братья,— несчастная женщина эта случайно среди нас, брат Василий не предупредил, о чем она будет говорить...

Таисья тоже встала, но пошатнулась, снова опустилась на стул, а с него мягко свалилась на пол. Два-три голоса негромко ахнули, многие «взыскующие града» привстали со стульев, Захарий согнулся прямым углом, легко, как подушку, взял Таисью на руки, понес к двери; его встретил возглас:

— Хватила баба горячего до слез,— и тотчас же угрюмо откликнулся кто-то:

— А — не балуй, не покорствуй бесам!

К Лидии подходили мужчины и женщины, низко кланялись ей, целовали руку; она вполголоса что-то говорила им, дергая плечами, щеки и уши ее сильно покраснели. Марина, стоя в углу, слушала Кормилицына; переступая с ноги на ногу, он играл портсигаром; Самгин, подходя, услыхал его мягкие, нерешительные слова:

— В аграрных беспорядках сектантство почти не принимает участия.

— Этого я не знаю,— сказала Марина.— Курить хотите? Теперь — можно, я думаю. Знакомы?

— Встречались,— напомнил Самгин. Литератор взглянул в лицо его, потом — на ноги и согласился:

— Ах да, как же! — Потом, зажигая папиросу о спичку и, видимо, опасаясь поджечь бороду себе, сказал:

— Я понимаю так, что это — одной линии с хлыстами.

— Хлыстов — попы выдумали, такой секты нет,— равнодушно сказала Марина и, ласково, сочувственно

улыбаясь, спросила Лидию: — Не удалось у тебя сегодня?

— Этот... Терентьев! — гневно прошептала Лидия, проглотив какое-то слово. — И всегда, всегда он придумает что-нибудь неожиданное и грязное.

— Негодяй, — кротко сказала Марина и так же кротко, ласково добавила:

— Мерзавец.

— Но — какая ужасная женщина!

— Несимпатична, — согласилась Марина, демонстративно отмахиваясь от дыма папиросы, — литератор извинился и спрятал папиросу за спину себе.

Лидия, вздохнув, заметила:

— Рассказала она хорошо.

— Об ужасах всегда хорошо рассказывают, — лениво проговорила Марина, обняв ее за плечи, ведя к двери.

— Это — очень верно! — согласился Кормилицын и выразил сожаление, что художественная литература не касается сектантского движения, обходит его.

— Не совсем обошла, некоторые — касаются, — сказала Марина, выговорив слово «касаются» с явной иронией, а Самгин подумал, что всё, что она говорит, рассчитано ею до мелочей, взвешено. Кормилицыну она показывает, что на собрании убогих людей она такая же гостья, как и он. Когда писатель и Лидия одевались в магазине, она сказала Самгину, что довезет его домой, потом пошепталась о чем-то с Захарием, который услужливо согнулся перед нею.

На улице она сказала кучеру:

— Поезжай за мной.

«Следовало сказать: за нами», — отметил Самгин.

Пошли пешком, Марина говорила:

— Не люблю этого сочинителя. Всюду суется, всё знает, а — невежда. Статейки пишет мертвым языком. Доверчив был супруг мой, по горячности души знакомился со всяким... Ну, что же ты скажешь о «взыскующих града»?

Самгин сказал, что он ничего не понял.

— Да, мутновато! Читают и слушают пророков, которые пострашнее. Чешутся. Души почесывают. У мно-

гих душа живет под мышками.— И, усмехнувшись, она цинично добавила, толкнув Клима локтем:

— А у баб — гораздо ниже.

Он сказал, нахмурясь, что всё более не понимает ее.

— А Лидию понял? — спросила она.

— Разумеется — нет. Трудно понять — как это дочь прожектера и цыганки, жена дегенерата из дворян может превратиться в ханжу, на английский лад?

— Вот как ты сердито,— сказала Марина веселым голосом.— Такие ли метаморфозы бывают, милый друг! Вот Лев Тихомиров усердно способствовал убийству папаши, а потом покаялся сынку, что это по ошибке молодости сделано, и сынок золотую чернильницу подарил ему. Это мне Лидия рассказала.

Проводив Клима до его квартиры, она зашла к Безбедову пить чай. Племянник ухаживал за нею с бурным и почтительным восторгом слуги, влюбленного в хозяйку, счастливого тем, что она посетила его. В этом суетливом восторге Самгин чувствовал что-то фальшивое, а Марина добродушно высмеивала племянника, и было очень странно, что она, такая умная, не замечает его неискренности.

Пожелав взглянуть, как Самгин устроился, она обошла комнаты и сказала:

— Ну, что ж? Всё — есть, только женщины не хватает. Валентин — не беспокоит?

— Нимало.

— То-то. А если беспокоит — скажи, я его утихомирю. Скучаешь?

Заботливые и ласковые вопросы ее приятно тронули Самгина; он сказал, что хотя и не скучает, но еще не вжился в новую обстановку.

— Ну, конечно,— сказала Марина, кивнув головой.— Долго жил в обстановке, где ко всему привык и уже не замечал вещей, а теперь все вещи стали заметны, лезут в глаза, допытываются: как ты поставишь нас?

— Это надо понимать аллегорически? — спросил он, усмехаясь.

— Как хочешь,— ответила она тоже с улыбкой.

Ее спокойное лицо, уверенная речь легко выжимала

и отдаляла всё, что Самгин видел и слышал час тому назад.

— Везде, друг мой, темновато и тесно,— сказала она, вздохнув, но тотчас добавила:

— Только внутри себя светло и свободно.

Тут Самгин пожаловался: жизнь слишком обильна эпизодами, вроде рассказа Таисьи о том, как ее истязали; каждый из них вторгается в душу, в память, возбуждает...

— Вопросы, на которые у нас нет иных ответов, кроме книжных,— пренебрежительно закончила Марина его фразу.— А ты — откажись от вопросов-то, замолчи вопросы,— посоветовала она, усмехаясь, прищурив глаза.— Ваш брат, интеллигент, привык украшаться вопросами для кокетства друг перед другом, вы ведь играете на сложность: кто кого сложнее? И запутываете друг друга. Вопросы-то решаются не разумом, а волей... Вот французы учатся по воздуху летать, это — хорошо! Но это — воля решает, разум же только помогает. И по земле свободно ходить тоже только воля научит.— Она тихонько засмеялась, говоря: — Я бы вот вопрос об этой великомученице просто решила: сослала бы ее в монастырь подальше от людей и где устав построже.

— Сурово, но справедливо,— согласился Самгин и, вспомнив мстительный голос сестры Софьи, спросил: кто она?

— Дочь заводчика искусственных минеральных вод. Привлекалась к суду по делу темному: подозревали, что она отравила мужа и свекра. Около года сидела в тюрьме, но — оправдали,— отравителем оказался брат ее мужа, пьяница.

Сидя за рабочим столом Самгина, она стала рассказывать еще чью-то историю — тоже темную; Самгин, любуясь ею, слушал невнимательно и был очень неприятно удивлен, когда она, вставая, хозяйственно сказала:

— Срок платежа кончается в июне, значит, к тому времени ты купишь эти векселя от лица Лидии Муромской. Так? Ну, а теперь простимся, завтра я уезжаю, недельки на полторы.

Когда он наклонился поцеловать ее руку, Марина поцеловала его в лоб, а затем, похлопав его по плечу, сказала, как жена мужу:

— Не скучай!

Губы у нее были как-то особенно ласково горячие, и прикосновение их кожа лба ощущала долго.

Вспоминая всё это, Самгин медленно шагал по комнате и неистово курил. В окна ярко светила луна, на улице таяло, по проволоке телеграфа скользили, в равном расстоянии одна от другой, крупные золотистые капли и, доскользнув до какой-то незаметной точки, срывались, падали. Самгин долго, безмысленно следил за ними, насчитал сорок семь капель и упрекнул кого-то:

«Всё на том же месте».

Ушел в спальню, разделся, лег, забыв погасить лампу, и, полулежа, как больной, пристально глядя на золотое лезвие огня, подумал, что Марина — права, когда она говорит о разнузданности разума.

«Воспитанная литераторами, публицистами, „критически мыслящая личность“ уже сыграла свою роль, перезрела, отжила. Ее мысль всё окисляет, покрывая однообразной ржавчиной критицизма. Из фактов совершенно конкретных она делает не прямые выводы, а утопические, как, например, гипотеза социальной, то есть, в сущности, социалистической революции в России, стране полудиких людей, каковы, например, эти „взыскующие града“». Но, назвав людей полудикими, он упрекнул себя:

«Я отношусь к людям слишком требовательно и неисторично. Недостаток историчности суждений — общий порок интеллигенции. Она говорит и пишет об истории, не чувствуя ее».

Затем он подумал, что неправильно относится к Дуняше, недооценивает ее простоту. Плохо, что и с женщиной он не может забыться, утратить способность наблюдать за нею и за собой. Кто-то из французских писателей горько жаловался на избыток профессионального анализа... Кто? И, не вспомнив имя писателя, Самгин уснул.

Марина не возвращалась недели три,— в магазине торговал чернобородый Захарий, человек молчаливый,

с неподвижным матово-бледным лицом; темные глаза его смотрели грустно, на вопросы он отвечал кратко и тихо; густые, тяжелые волосы простеганы нитями преждевременной седины. Самгин нашел, что этот Захарий очень похож на переодетого монаха и слишком вял, бескровен для того, чтоб служить любовником Марины.

«Именно — служить. Муж тоже, наверное, служил ей».

Тут у него мелькнула мысль, что, может быть, Марина заставит и его служить ей не только как юриста, но он тотчас же отверг эту мысль, не представляя себя любовником Марины. Возбуждая в нем любопытство мужчины, уже достаточно охлажденного возрастом и опытом, она не будила сексуальных эмоций. Не чувствовал он и прочной симпатии к ней, но почти после каждой встречи отмечал, что она всё более глубоко интересует его и что есть в ней странная сила; притягивая и отталкивая, эта сила вызывает в нем неясные надежды на какое-то необыкновенное открытие.

Но в конце концов он был доволен тем, что встретился с этой женщиной и что она несколько отвлекает его от возни с самим собою, доволен был, что устроился достаточно удобно, независимо и может отдохнуть от пережитого. И всё чаще ему казалось, что в этой тихой полосе жизни он именно накануне какого-то важного открытия, которое должно вылечить его от внутренней неурядицы и поможет укрепиться на чем-то прочном.

Когда приехала Марина, Самгин встретил ее с радостью, удивившей его.

Она, видимо, сильно устала, под глазами ее легли тени, сделав глаза глубже и еще красивей. Ясно было, что ее что-то волнует,— в сочном голосе явилась новая и резкая нота, острее и насмешливей улыбались глаза.

— Ну, какие же новости рассказать? — говорила она, усмехаясь, облизывая губы кончиком языка.— По газетам ты знаешь, что одолевают кадетики, значит — возрадуйся и возвеселись! В Государственной думе засядут коллеги твои, адвокаты. В Твери тоже губернатора ухлопали,— читал? Слышала, что есть распоряжение: крестьянские депутации к царю не пускать. Дурново внушает губернаторам, чтобы не очень расстреливали.

Что еще? Видела одного епископа, он недавно беседовал с царем, говорит, что царь — самый спокойный человек в России. Говорил это епископ со вздохами, с грустью...

На минуту она задумалась, нахмурясь, потом спросила:

— Дай-ко папироску.

И, закурив, но отмахиваясь от дыма платком, прищурясь, заговорила снова:

— Старообрядцы очень зашевелились. Похоже, что у нас будет две церкви: одна— лает, другая — подвывает! Бездарные мы люди по части религиозного мышления, и церковь у нас бесталанная...

Самгин осторожно заметил:

— Не понимаю, почему тебя, такую большую, красивую, интересуют эти вопросы...

— А ты — что же, думаешь, что религия — дело чахоточных? Плохо думаешь. Именно здоровая плоть требует святости. Греки отлично понимали это.

Утопив папиросу в полоскательной чашке, она продолжала, хмурясь:

— На мой взгляд, религия — бабье дело. Богородицей всех религий — женщина была. Да. А потом случилось как-то так, что почти все религии признали женщину источником греха, опорочили, унизили ее, а православие наше даже деторождение оценивает как дело блудное и на полтора месяца извергает роженицу из церкви. Ты когда-нибудь думал — почему это?

— Нет,— ответил Самгин и начал рассказывать о Макарове. Марина, хлебнув мадеры, долго полоскала ею рот, затем, выплюнув вино в полоскательную чашку, извинилась:

— Прости, второй день железный вкус какой-то во рту.

Вытерла губы платочком и пренебрежительно отмахнулась им, говоря:

— Феминизм, суфражизм — всё это, милый мой, выдумки нищих духом.

Самгин снова замолчал, а она заговорила о своих делах в суде, о прежнем поверенном своем:

— Дурак надутый, а хочет быть жуликом. Либерал, а — чего добиваются либералы? Права быть консерваторами. Думают, что это не заметно в них! А ведь добьются своего,— как думаешь?

— Возможно,— согласился Самгин.

Марина засмеялась. Каждый раз, беседуя с нею, он ощущал зависть к ее умению распоряжаться словами, формировать мысли, но после беседы всегда чувствовал, что Марина не стала понятнее и центральная ее мысль все-таки неуловима.

Разговорам ее о религии он не придавал значения, считая это «системой фраз»; украшаясь этими фразами, Марина скрывает в их необычности что-то более значительное, настоящее свое оружие самозащиты; в силу этого оружия она верит, и этой верой объясняется ее спокойное отношение к действительности, властное — к людям. Но — каково же это оружие?

По судебным ее делам он видел, что муж ее был умным и жестоким стяжателем; скупал и перепродавал земли, леса, дома, помещал деньги под закладные усадеб, многие операции его имели характер явно ростовщический.

«Гедонист!» — усмехался Самгин, читая дела.

Марина не только не смущалась этой деятельностью, но успешно продолжала ее.

«На кой чёрт ей нужны деньги? — соображал Самгин.— Достаточно богата — живет скромно. На филантропию тратит не так уж много...»

На руках у него было дело о взыскании по закладной с земского начальника, усадьбу которого крестьяне разгромили и сожгли. Марина сказала:

— Платить ему — нечем, он картежник, кутила; получил в Петербурге какую-то субсидию, но уже растранжирил ее. Земля останется за мной, те же крестьяне и купят ее.

Постукивая пальцем по плечу Самгина, Марина засмеялась:

— Вот видишь: мужик с барином ссорятся, а купчиха выигрывает! И всегда так было.

Самгин не заметил цинизма в этих ее словах, и это очень удивило его.

О том, что «купец выигрывает», она говорила часто и всегда — шутливо, точно поддразнивая Клима.

— А ведь если в Думу купцы да попы сядут,— вам, интеллигентам, несдобровать.

— Есть рабочие,— напомнил он.

— Есть ли? Будут. Но до этого — далеко!

Он заметил, что, возвратясь из поездки, Марина стала относиться к нему ласковее, более дружески, без той иронии, которая нередко задевала его самолюбие. И это новое ее отношение усиливало его неопределенные надежды, его интерес к ней.

Через несколько дней он должен был ехать в один из городов на Волге утверждать Марину в правах на имущество, отказанное ей по завещанию какой-то старой девой.

— Кстати, Клим Иванович,— сказала она.— Лет десять тому назад был там осужден купец Потапов за принадлежность к секте какой-то. На суде читаны были письма Клавдии Звягиной, была такая в Пензе, она скончалась года за два до этого процесса. И рукопись некоего Якова Тобольского. Так ты — «не в службу, а в дружбу» — достань мне документы эти. Они, конечно, в архиве, и тебе надобно обратиться к регистратору Серафиму Пономареву, поблагодарить его; дашь рублей полсотни, можно и больше. Документами этими я очень интересуюсь, собираю кое-что, когда-нибудь покажу тебе. У меня есть письма Владимира Соловьева, оптинского старца одного, Зюдергейма, записки попа одного о Сютаеве, о «бегунах» есть кое-что; это еще супруг начал собирать. Очень интересно всё. Ты Серафиму этому скажи, что для ученой работы документы нужны.

Как всегда, ее вкусный голос и речь о незнакомом ему заставили Самгина поддаться обаянию женщины, и он не подумал о значении этой просьбы, выраженной тоном человека, который говорит о забавном, о капризе своем. Только на месте, в незнакомом и неприятном купеческом городе, собираясь в суд, Самгин сообразил, что согласился участвовать в краже документов. Это возмутило его.

«Однако, чёрт возьми! Какая оплошность».

Но, находясь в грязненькой полутемной комнате

регистратуры, он увидел пред собой розовощекого маленького старичка; старичок весело улыбался, ходил на цыпочках и симпатично говорил мягким тенорком. Самгин не мог бы объяснить, что именно заставило его попробовать устойчивость старичка. Следуя совету Марины, он сказал, что занимается изучением сектантства. Старичок оказался не трудным,— внимательно выслушав деловое предложение, он сказал любезно:

— Конечно, возможно-с, так как документы не денежные. И ежели попы не воспользовались ими, могу поискать. Обыкновенно документы такого рода отправляются в святейший правительствующий синод, в библиотеку оного-с.

А через два дня, показывая Самгину пакет писем и тетрадку в кожаной обложке, он сказал, нагловато глядя в лицо Самгина:

— Заголовочек сочинения соблазнительный какой, смотрите-ко: «Иакова» — не просто — Якова, а Иакова, вот как-с! «Иакова Тобольского размышление о духе, о плоти и Диаволе» — Ди-аволе, а не Дьяволе! — «отце ее» — плоти-с. Любопытно, должно быть-с!

И, положив тетрадь на стол, прижав ее розовой пухлой ручкой, непреклонно потребовал:

— Прибавьте двадцать пять.

Самгин прибавил и тут же решил устроить Марине маленькую сцену, чтоб на будущее время обеспечить себя от поручений такого рода. Но затем он здраво подумал:

«Дает ли мне этот случай право думать, что такие поручения могут повторяться?»

Дорогой, в вагоне, он достал тетрадь и на ее синеватых страницах прочитал рыжие, как ржавчина, слова:

«И лжемыслие, яко бы, возлюбив человека, господь бог возлюбил также и рождение и плоть его, господь наш есть дух и не вмещает любви к плоти, а отметает плоть. Какие можем привести доказательства сего? Первое: плоть наша грязна и пакостна, подвержена болезням, смерти и тлению...»

Перевернув несколько страниц, написанных круглым, скучным почерком, он поймал глазами фразу, вы-

деленную из плотных строк: «Значит: дух надобно ставить на первое место, прежде отца и сына, ибо отец и сын духом рождены, а не дух отцом».

«Какая ерунда,— подумал Самгин и спрятал тетрадь в портфель.— Не может быть, чтобы это серьезно интересовало Марину. А юридический смысл этой операции для нее просто непонятен».

В городе, подъезжая к дому Безбедова, он увидал среди улицы забавную группу: полицейский, с разносной книгой под мышкой, старуха в клетчатой юбке и с палкой в руках, бородатый монах с кружкой на груди, трое оборванных мальчишек и педагог в белом кителе — молча смотрели на крышу флигеля; там, у трубы, возвышался, качаясь, Безбедов в синей блузе, без пояса, в полосатых брюках,— босые ступни его ног по-обезьяньи цепко приклеились к тесу крыши. Размахивая длинным гибким помелом из грязных тряпок, он свистел, рычал, канлял, а над его растрепанной головой в голубом, ласково мутном воздухе летала стая голубей, как будто снежно-белые цветы трепетали, падая на крышу.

— Обленились до чёрта,— ожирели! — заорал Безбедов, когда Самгин вошел во двор.— Ну,— я их — взбодрю! Я — подниму! Вот увидите! Улыбнетесь...

Самгин, махнув ему шляпой, подумал:

«А — правильно говорят: страшно смешной».

Пред вечерним чаем Безбедов сходил на реку, выкупался и, сидя за столом с мокрыми волосами, точно в измятой старой шапке, кашляя, потея, вытирая лицо чайной салфеткой, бормотал:

— Муромская приехала. Рассказывает, будто царь собрался в Лондон бежать, кадетов испугался, а кадеты левых боятся, и вообще чёрт знает что будет!

Он закашлялся бухающими звуками, лицо и шея его вздулись от напора крови, белки глаз, покраснев, выкатились, оттопыренные уши дрожали. Никогда еще Самгин не видел его так жутко возбужденным.

— А новый министр, Столыпин, говорит,— трус и дурак.

Слушая невнимательно, Самгин спросил:

— Кому говорит?

— Никому не говорит,— сердито ответил Безбедов.— Это — не он говорит, а — Муромская. Истеричка, чёрт ее... Пылит, как ветер.

Откашлялся, плюнул в платок и положил его на стол, но сейчас же брезгливо, одним пальцем, сбросил на пол и, снова судорожно вытирая лоб, виски салфеткой, забормотал раздраженно:

— Кричит: продавайте лес, уезжаю за границу! Какому чёрту я продам, когда никто ничего не знает, леса мужики жгут, все — испугались... А я — Блинова боюсь, он тут затевает что-то против меня, может быть, хочет голубятню поджечь. На днях в манеже был митинг «Союза русского народа», он там орал: «Довольно!» Даже кровь из носа потекла у идиота...

Закурив трубку, он немножко успокоился и широко оскалил неровные крупные зубы.

— Кричал: «Финляндия хочет отложиться, шведы объявляют нам войну»,— вообще: кипит похлебка!

Было ясно, что он торопится выбросить из памяти новости, отягощающие ее. Самгин усмехнулся.

— Да, смешно,— сказал Безбедов.— Царь Думу открывал в мантии, в короне, а там все — во фраках. Во фраках или в сюртуках,— не знаете?

— Не знаю.

— Уморительно! Чёрт, до чего дожили, а? Вроде Англии. Он — в мантии, а они — во фраках! Человек во фраке напоминает стрижа. Их бы в кафтаны какие-нибудь нарядить. С позументами. Вообще нарядить. Хорошо одетый человек меньше на дурака похож.

Самгин, поправив очки, взглянул на него; такие афоризмы в устах Безбедова возбуждали сомнения в глупости этого человека и усиливали неприязнь к нему. Новости Безбедова он слушал механически, как шум ветра, о них не думалось, как не думается о картинах одного и того же художника, когда их много и они утомляют однообразием красок, техники. Он отметил, что анекдотические новости эти не вызывают желания оценить их смысл. Это было несколько странно, но он тотчас нашел объяснение:

«Безбедов говорит с высоты своей голубятни, тоном человека, который принужден говорить о пустяках,

не интересных для него. Тысячи людей портят себе жизнь и карьеру на этих вопросах, а он, болван...»

Самгин рассердился и ушел. Марины в городе не было; она приехала через восемь дней, и Самгина неприятно удивило то, что он сосчитал дни. Когда он передал ей пакет писем и тетрадку «Размышлений», она, небрежно бросив их на диван, сказала весьма равнодушным тоном:

— Спасибо.

Это убедило Самгина, что купчиха действительно не понимает юридического смысла поступка, который он сделал по ее желанию. Объяснить ей этот смысл он не успел,— Марина, сидя в позе усталости, закинув руки за шею, тоже начала рассказывать новости:

— Ну, батюшка, Петербург совершенно ошалел. Водила меня Лидия по разным политическим салонам...

— Вы были там вместе?

— Ну да.

Самгин отметил, что Безбедов не сказал ему об этом.

Она, играя бровями, с улыбочкой в глазах, рассказала, что царь капризничает: принимая председателя Думы — вел себя неприлично, узнав, что матросы убили какого-то адмирала,— топал ногами и кричал, что либералы не смеют требовать амнистии для политических, если они не могут прекратить убийства; что келецкий губернатор застрелил свою любовницу и это сошло ему с рук безнаказанно. Столыпиным недовольны за то, что он не решается прикрыть Думу, на митингах левые бьют кадетов,— те, от обиды, поворачивают направо.

— Видела знаменитого адвоката, этого, который стихи пишет, он — высокого мнения о Столыпине, очень защищает его, говорит, что, дескать, Столыпин нарочно травит конституционалистов левыми, хочет напугать их, затолкать направо поглубже. Адвокат — мужчина приятный, любезен, как парикмахер, только уж очень привык уголовных преступников защищать.

Рассказывала она почти то же, что и ее племянник. Тон ее рассказов Самгин определил как тон человека, который, побывав в чужой стране, оценивает жизнь иностранцев тоже с высоты какой-то голубятни.

— Ты говоришь точно о детских шалостях,— заметил он; Марина усмехнулась:

— Разве? Как старуха? Учительница старая? Охлаждаю твое пламенное сердце революционера? Дай папироску.

Подавая ей портсигар, Самгин заметил, что рука его дрожит. В нем разрасталось негодование против этой непонятно маскированной женщины. Сейчас он скажет ей кое-что по поводу идиотских «Размышлений» и этой операции с документами. Но Марина опередила его намерение. Закурив, выдувая в потолок струю дыма и следя за ним, она заговорила вполголоса, медленно:

— Зря ты, Клим Иванович, ежа предо мной изображаешь,— иголочки твои не страшные, не колют. И напрасно ты возжигаешь огонь разума в сердце твоем,— сердце у тебя не горит, а — сохнет. Затренал ты себя — анализами, что ли, не знаю уж чем! Но вот что я знаю: критически мыслящая личность Дмитрия Писарева, давно уже лишняя в жизни, вышла из моды,— критика выродилась в навязчивую привычку ума и —только.

Так она говорила минуты две, три. Самгин слушал терпеливо, почти все мысли ее были уже знакомы ему, но на этот раз они звучали более густо и мягко, чем раньше, более дружески. В медленном потоке ее речи он искал каких-нибудь лишних слов, очень хотел найти их, не находил и видел, что она своими словами формирует некоторые его мысли. Он подумал, что сам не мог бы выразить их так просто и веско.

«Действительно,— когда она говорит, она кажется старше своих лет»,— подумал он, наблюдая за блеском ее рыжих глаз; прикрыв глаза ресницами, Марина рассматривала ладонь своей правой руки. Самгин чувствовал, что она обезоруживает его, а она, сложив руки на груди, вытянув ноги, глубоко вздохнула, говоря:

— Устала я и говорю, может быть, грубо, нескладно, но я говорю с хорошим чувством к тебе. Тебя — не первого такого вижу я, много таких людей встречала. Супруг мой очень преклонялся пред людями, которые стремятся преобразить жизнь, я тоже неравнодушна к ним. Я — баба,— помнишь, я сказала: богородица

всех религий? Мне верующие приятны, даже если у них религия без бога.

Самгин чувствовал себя в потоке мелких мыслей, они проносились, как пыльный ветер по комнате, в которой открыты окна и двери. Он подумал, что лицо Марины малоподвижно, яркие губы ее улыбаются всегда снисходительно и насмешливо; главное в этом лице — игра бровей, она поднимает и опускает их, то — обе сразу, то — одну правую, и тогда левый глаз ее блестит хитро. То, что говорит Марина, не так заразительно, как мотив: почему она так говорит?

— Милый друг,— революционер — мироненавистник, но не мизантроп, людей он любит, для них и живет,— слышал Самгин.

— Это — романтизм,— сказал он.

— Так ли?

— Романтизм. И ты — не способна к нему.

Она удивленно спросила:

— Разве я назвала себя революционеркой?

— Я тоже не рекомендовался тебе революционером,— необдуманно сказал Самгин и почувствовал, что краснеет.

— Верно,— согласилась она.— Не называл, но... Ты не обижайся на меня: по-моему, большинство интеллигентов — временнообязанные революционеры,— до конституции, до республики. Не обидишься?

— Нет,— сказал Самгин, понимая, что говорит неправду,— мысли у него были обиженные и бежали прочь от ее слов, но он чувствовал, что раздражение против нее исчезает и возражать против ее слов — не хочется, вероятно, потому, что слушать ее — интересней, чем спорить с нею. Он вспомнил, что Варвара, а за нею Макаров говорили нечто сродное с мыслями Зотовой о «временнообязанных революционерах». Вот это было неприятно, это как бы понижало значение речей Марины.

— Почему ты говоришь со мной на эту тему и так... странно говоришь? Почему подозреваешь меня в неискренности? — спросил он.

— Не понял,— сказала она, вздохнув.— Хочется мне, чтоб перепрыгнул ты через голову свою. Тебе,

Клим Иванович, надобно погреться у другого огня, вот что я говорю.

— Мне нужно отдохнуть,— сказал он.

— Это же и я говорю. А что мешает? — спросила она, став пред ним и оправляя прическу,— гладкая и гибкая, точно большая рыба.

Самгин едва удержался, чтоб не сказать:

«Ты мешаешь!»

Ушел он в настроении, не совсем понятном ему: эта беседа взволновала его гораздо более, чем все другие беседы с Мариной; сегодня она дала ему право считать себя обиженным ею, но обиды он не чувствовал.

«Умна,— думал он, идя по теневой стороне улицы, посматривая на солнечную, где сияли и жмурились стекла в окнах каких-то счастливых домов.— Умна и проницательна. Спорить с нею? Бесполезно. И о чем? Сердце — термин физиологический, просторечие приписывает ему различные качества трагического и лирического характера,— она, вероятно, бессердечна в этом смысле».

Впереди него, из-под горы, вздымались молодо зеленые вершины лип, среди них неудачно пряталась золотая, но полысевшая голова колокольни женского монастыря; далее всё обрывалось в голубую яму,— по зеленому ее дну, от города, вдаль, к темным лесам, уходила синеватая река. Всё было очень мягко, тихо, окутано вечерней грустью.

«В сущности, она не сказала мне ничего обидного. И я вовсе не таков, каким она видит меня».

Мысли эти не охватывали основного впечатления беседы; Самгин и не спешил определить это впечатление,— пусть оно само окрепнет, оформится. Из палисадника красивого одноэтажного дома вышла толстая, важная дама, а за нею — высокий юноша, весь в новом, от панамы на голове до рыжих американских ботинок, держа под мышкой тросточку и натягивая на правую руку желтую перчатку; он был немножко смешной, но— счастливый и, видимо, сконфуженный счастьем. Самгин вспомнил себя, когда он, сняв сюртук гимназиста, оделся в новенький светло-серый костюм,— было неудобно, а хорошо.

«Я настраиваюсь лирически»,— отметил он и усмехнулся.

На дворе его встретил Безбедов с охотничьей двустволкой в руках, ошеломленно посмотрел на него и захрипел:

— Смеетесь? Вам — хорошо, а меня вот сейчас Муромская загоняла в союз Михаила Архангела — Россию спасать,— к чёрту! Михаил Архангел этот — патрон полиции,— вы знаете? А меня полиция то и дело штрафует — за голубей, санитарию и вообще.

Он стучал прикладом ружья по ступеньке крыльца, не пропуская Самгина в дом, встряхивая головой, похожей на помело, и сипел:

— Если б не тетка — плюнул бы я в ладонь этой чёртовой кукле с ее политикой, союзами, архангелами...

Он был такой же, как всегда, но не возбуждал у Самгина неприязни.

— На кого это вы вооружились?

— Крысы. Может быть — хорек,— сказал Безбедов, направляясь на чердак.

В комнатах Клима встретила прохладная и как бы ожидающая его тишина. Даже мух не было.

«Это — потому, что я здесь не ем»,— сообразил он. Постоял среди приемной, посмотрел, как солнечная лента освещает пыльные его ботинки, и решил:

«Надо поговорить с Безбедовым о Марине, непременно».

Осторожно, не делая резких движений, Самгин вынул портсигар, папиросу,— спичек в кармане не оказалось, спички лежали на столе. Тогда он, спрятав портсигар, бросил папиросу на стол и сунул руки в карманы. Стоять среди комнаты было глупо, но двигаться не хотелось,— он стоял и прислушивался к непривычному ощущению грустной, но приятной легкости.

«Чувствовал ли я себя когда-нибудь так странно? Как будто — нет».

Затем он вспомнил, что нечто приблизительно похожее он испытал, проиграв на суде неприятное гражданское дело, порученное ему патроном. Ничего более

похожего — не нашлось. Он подошел к столу, взял папиросу и лег на диван, ожидая, когда старуха Фелицата позовет пить чай.

Недели две он прожил в непривычном состоянии благодушного покоя, и минутами это не только удивляло его, но даже внушало тревожную мысль: где-то скопляются неприятности. За утренним чаем небрежно просматривал две местные газеты,— одна из них каждый день истерически кричала о засилии инородцев, безумии левых партий и приглашала Россию «вернуться к национальной правде», другая, ссылаясь на статьи первой, уговаривала «беречь Думу — храм свободного, разумного слова» и доказывала, что «левые» в Думе говорят неразумно. В конечном итоге обе газеты вызывали у Самгина одинаковое впечатление: очень тусклое и скучное эхо прессы столиц; живя подражательной жизнью, обе они не волнуют устойчивую жизнь благополучного города. А таких городов — много, больше полусотни. По воскресеньям в либеральной газете печатались «Впечатления провинциала», подписанные Идрон. Самгин верил глазам Ивана Дронова и читал его бойкие фельетоны так же внимательно, как выслушивал на суде показания свидетелей, не заинтересованных в процессе ничем иным, кроме желания подчеркнуть свой ум, свою наблюдательность. Дронов одинаково иронически относился к правым и левым и подчеркивал «реализм» политики конституционалистов-демократов.

«Дронов не может не чувствовать, где сила»,— подумал он, усмехаясь.

А вообще Самгин незаметно для себя стал воспринимать факты политической жизни очень странно: ему казалось, что всё, о чем тревожно пишут газеты, совершается уже в прошлом. Он не пытался объяснить себе, почему это так. Марина поколебала это его настроение. Как-то, после делового разговора, она сказала:

— Слушай-ко, нелюдимость твоя замечена, и, пожалуй, это вредно тебе. Считают тебя эдаким, знаешь, таинственным деятелем, который — не то чтобы прячется, а — выжидает момента. Ходит слушок, что за тобой числятся некоторые подвиги, будто руководил ты

Московским восстанием и продолжаешь чем-то руководить.

Это было неожиданно и неприятно. Самгин, усмехаясь, сказал:

— Так создаются герои!

А она, играя перчатками, продолжала:

— Ты бы мизантропию-то свою разбавил чем-нибудь, Тимон Афинский! Смотри,— жандармы отлично помнят прошлое, а — как они успокоят, ежели не искоренят? Следовало бы тебе почаще выходить на́ люди.

Говорила она шутливо. Самгин спросил:

— Тебя это беспокоит? Скомпрометирую?

Она удивленно подняла брови:

— Меня? Разве я за настроения моего поверенного ответственна? Я говорю в твоих интересах. И — вот что,— сказала она, натягивая перчатку на пальцы левой руки,— ты возьми-ка себе Мишку, он тебе и комнаты приберет и книги будет в порядке держать,— не захочешь обедать с Валентином — обед подаст. Да заставил бы его и бумаги переписывать,— почерк у него — хороший. А мальчишка он — скромный, мечтатель только.

Величественно выплыла из комнаты, и на дворе зазвучал ее сочный голос:

— Валентин! Велел бы двор-то подмести, что за безобразие! Муромская жалуется на тебя: глаз не кажешь. Что-о? Скажите, пожалуйста! Нет, уж ты, прошу, без капризов. Да, да!.. Своим умом? Ты? Ох, не шути...

Ушла, сильно хлопнув калиткой.

«Племянника — не любит,— отметил Самгин.— Впрочем, он племянник ее мужа». И, подумав, Самгин сказал себе:

«А ведь никто, никогда не относился к тебе, друг мой, так заботливо, а?»

И он простил Марине то, что она ему напомнила о прошлом. Заботами ее у него начиналась практика, он уже имел несколько гражданских исков и платную защиту по делу о поджоге. Но через несколько дней прошлое снова и очень бесцеремонно напомнило о себе.

Поздно вечером к нему явились люди, которых он встретил весьма любезно, полагая, что это — клиенты: рослая, краснощекая женщина, с темными глазами на грубоватом лице, одетая просто и солидно, а с нею — пожилой лысоватый человек, с остатками черных жестких кудрей на остром черепе, угрюмый, в дымчатых очках, в измятом и грязном пальто из парусины. Самгин определил:

«Хозяйка и служащий. Вероятно — уголовное дело».

Но женщина, присев к столу, вынула из кармана юбки коробку папирос и сказала вполголоса:

— Моя фамилия — Муравьева, иначе — Паша. Татьяна Гогина сообщила мне, что, в случае нужды, я могу обратиться к вам.

Самгин собирался зажечь спичку, но не зажег, а, щелкнув ногтем по коробке, подал коробку женщине, спрашивая:

— Чем могу служить?

Темные глаза женщины смотрели на него в упор,— ее спутник сел на стул у стены, в сумраке, и там невнятно прорычал что-то.

«Кажется, я его когда-то видел»,— подумал Самгин.

Не торопясь, Муравьева закурила папиросу от своей спички и сказала, что меньшевики, в будущее воскресенье, устраивают в ремесленной управе доклад о текущем моменте.

— У нас некому выступить против них; товарищ, который мог бы сделать это достаточно солидно,— заболел.

Говорила она требовательно, высоким надорванным голосом, прямой взгляд ее был неприятен. Самгин сказал:

— Лицо, названное вами, ничего не сообщало мне о Муравьевой, и вообще я с этим лицом не состою в переписке.

— Странно,— сказала женщина, пожимая плечами, а спутник ее угрюмо буркнул:

— Идем к тому.

— На митингах я никогда не выступал,— добавил Самгин, испытывая удовольствие говорить правду.

— Не надо, идем к тому,— повторил мужчина, вставая. Самгину снова показалось, что он где-то видел его, слышал этот угрюмый, тяжелый голос. Женщина тоже встала и, сунув папиросу в пепельницу, сказала громко:

— Вот и попробовали бы.

Вставая, она задела стол, задребезжал абажур лампы. Самгин придержал его ладонью, а женщина небрежно сказала:

— Извините,— и ушла, не простясь.

«Со спичками у меня вышло невежливо,— думал Самгин.— Человека этого я встречал».

Вздохнув, он вытряхнул окурок папиросы в корзину для бумаг. Дня через два он вышел «на́ люди»,— сидел в зале клуба, где пела Дуняша, и слушал доклад местного адвоката Декаполитова, председателя «Кружка поощрения кустарных ремесел». На эстраде, заслоняя красный портрет царя Александра Второго, одиноко стоял широкоплечий, но плоский, костистый человек с длинными руками, седовласый, но чернобровый, остриженный ежиком, с толстыми усами под горбатым носом и острой французской бородкой. Он казался загримированным под кого-то, отмеченного историей, а брови нарочно выкрасил черной краской, как бы для того, чтоб люди не думали, будто он дорожит своим сходством с историческим человеком. Разговаривал он приятным, гибким баритоном, бросая в сумрак скупо освещенного зала неторопливые, скучные слова:

— Ситуация данных дней требует, чтоб личность категорически определила: чего она хочет?

— Чтобы Столыпина отправили к чёртовой матери,— проворчал соседу толстый человек впереди Самгина,— сосед дремотно ответил:

— Отруба́ — ловкий ход.

В зале рассеянно сидели на всех рядах стульев человек шестьдесят.

Летний дождь шумно плескал в стекла окон, трещал и бухал гром, сверкали молнии, освещая стеклянную пыль дождя; в пыли подпрыгивала черная крыша с двумя гончарными трубами, — трубы были похожи

на воздетые к небу руки без кистей. Неприятно теплая духота наполняла зал, за спиною Самгина у кого-то урчало в животе, сосед с левой руки после каждого удара грома крестился и шептал Самгину, задевая его локтем:

— Пардон...

— Пред нами развернуты программы нескольких политических партий,— рассказывал оратор.

Самгин долго искал: на кого оратор похож? И, не найдя никого, подумал, что, если б приехала Дуняша, он встретил бы ее с радостью.

Наискось от него, впереди сидел бывший поверенный Марины и, утешительно улыбаясь, шептал что-то своему соседу — толстому, бородатому, с жирной шеей.

— Существует мнение, что политика и мораль — несовместимы,— разговаривал оратор, вынув платок из кармана и взмахнув им,— но это абсолютно неверно, это — мнение фельетонистов, политика строится на нормах права...

Удар грома пошатнул его, он отступил на шаг в сторону, вытирая виски платком, мигая,— зал наполнился гулом, ноющей дрожью стекол в окнах, а поверенный Марины, подскочив на стуле, довольно внятно пробормотал:

— Это — не повод для кассации...

Снова заговорил оратор, но уже быстрее и рассердясь на кого-то. Самгин поймал странную фразу:

— Не всякий юноша, кончив гимназию, идет в университет, не все путешественники по Африке стремятся к центру ее...

— Верно,— сказал кто-то сзади Самгина и глухо закашлялся.

Самгин не мог сосредоточить внимание на ораторе, речь его казалась давно знакомой. И он был очень доволен, когда Декаполитов, наклонясь вперед, сказал:

— Мы наконец дошли до пределов возможного и должны остановиться, чтоб, укрепясь на занятых позициях, осуществить возможное, реализовать его, а там история укажет, куда и как нам идти дальше. Я — кончил.

В первом ряду поднялся большеголовый лысый человек и прокричал:

— Перерыв — четверть часа! Прошу желающих записаться на прения.

И так же крикливо сказал кому-то:

— Что же вы, батенька, стол-то перед эстрадой поставили? На эстраду его надо бы поставить, на эстраду-с...

Самгин пошел в буфет, слушая, что говорят солидные, тяжеловесные горожане, неторопливо спускаясь по мраморной лестнице.

— Декаполитов трезво рассуждал...

— Н-да! На них мужичок действует, как нашатырь на пьяного.

— Сами же раскачивали, а теперь, как закачалось всё...

— Ой, мамо! Гони кошку з хаты, бо вона мини цапае...

Знакомые адвокаты раскланивались с Климом сухо, пожимали руку его молча и торопливо; бывший поверенный Марины, мелко шагая коротенькими ногами, подбежал к нему и спросил:

— Ну — как? Что скажете?

Но тотчас же сам сказал:

— Какой отличный дождь! — и откатился к маленькому усатому человеку, сердито говоря:

— Послушайте, господин Онуфриенко, вот уже прошло две недели...

— Ну, и прошло, а — что?

Не пожелав остаться на прения по докладу, Самгин пошел домой. На улице было удивительно хорошо, душисто, в небе, густо-синем, таяла серебряная луна, на мостовой сверкали лужи, с темной зелени деревьев падали голубые капли воды; в домах открывались окна. По другой стороне узкой улицы шагали двое, и один из них говорил:

— Обеспокоились старички...

Из открытого окна в тишину улицы маслено вытек красивый голос:

Хотел бы в единое слово
Излить всё, что на сердце есть...

— Реакция! — крикнул в окно один из двух, и, смеясь, они пошли быстрей.

«Очень провинциальная шуточка»,— подумал Самгин, с наслаждением вдыхая свежий воздух, запахи цветов.

Через несколько дней правительство разогнало Думу, а кадеты выпустили прокламацию, уговаривая крестьян не давать рекрутов, не платить налогов. Безбедов, размахивая газетой, захрипел:

— Какого чёрта? Конституция, так — конституция, а то всё равно как на трехногий стул посадили. Идиоты! Теперь — снова жди всеобщей забастовки...

— А как реагирует город? — спросил Самгин.

— Ну, что ж — город? Баранов — много, а козлов — нет, ну, баранам и не за кем идти.

Самгин был уверен, что настроением Безбедова живут сотни тысяч людей — более умных, чем этот голубятник, и нарочно, из антипатии к нему, для того, чтоб еще раз убедиться в его глупости, стал расспрашивать его: что же он думает? Но Безбедов побагровел, лицо его вспухло, белые глаза свирепо выкатились; встряхивая головой, растирая ладонью горло, он спросил:

— Экзаменуете меня, что ли? Я же не идиот все-таки! Дума — горчишник на шею, ее дело — отвлекать прилив крови к мозгу, для этого она и прилеплена в сумасбродную нашу жизнь! А кадеты играют на бунт. Налогов не платить! Что же, мне спичек не покупать, искрами из глаз огонь зажигать, что ли?

Стукнув кулаком по столу, он заорал:

— Я плачу налоги, чтоб мне обеспечили спокойную жизнь,— так или нет? Обязана власть охранять мою жизнь?

Он качался на стуле, раздвигал руками посуду на столе, стул скрипел, посуда звенела. Самгин первый раз видел его в припадке такой ярости и не верил, что ярость эта вызвана только разгоном Думы.

— Левой рукой сильно не ударишь! А — уж вы как хотите — а ударить следует! Я не хочу, чтоб мне какой-нибудь сапожник брюхо вспорол. И чтоб дом подожгли — не желаю! Вон вчера слободская мастеров-

щина какого-то будто бы агента охраны укокала и домишко его сожгла. Это не значит, что я — за черную сотню, самодержавие и вообще за чепуху. Но если вы взялись управлять государством, так управляйте, чёрт вас возьми! Я имею право требовать покоя...

Считая неспособность к сильным взрывам чувств основным достоинством интеллигента, Самгин все-таки ощущал, что его антипатия к Безбедову разогревается до ненависти к нему, до острого желания ударить его чем-нибудь по багровому вспотевшему лицу, по бешено вытаращенным глазам, накричать на Безбедова грубыми словами. Исполнить всё это мешало Самгину чувство изумления перед тем, что такое унизительное, дикое желание могло возникнуть у него. А Безбедов неистощимо бушевал, хрипел, задыхаясь.

— И не воспитывайте меня анархистом, — анархизм воспитывается именно бессилием власти, да-с! Только гимназисты верят, что воспитывают — идеи. Чепуха! Церковь две тысячи лет внушает: «возлюбите друг друга», «да единомыслием исповемы» — как там она поет? Чёрта два — единомыслие, когда у меня дом — в один этаж, а у соседа — в три! — неожиданно закончил он.

— Вам вредно волноваться так,— сказал Самгин, насильно усмехаясь, и ушел в сад, в угол, затененный кирпичной слепой стеною соседнего дома. Там, у стола, врытого в землю, возвышалось полукруглое сиденье, покрытое дерном,— весь угол сада был сыроват, печален, темен. Раскуривая папиросу, Самгин увидал, что руки его дрожат.

«До какой степени этот идиот огрубляет мысль и чувство»,— подумал он и вспомнил, что людей такого типа он видел немало. Например: Тагильский, Стратонов, Ряхин. Но — никто из них не возбуждал такой антипатии, как этот.

Сегодня Безбедов вызвал даже чувство тревоги, угнетающее чувство. Через несколько минут Самгин догадался, что обдумывать Безбедова — дело унизительное. Оно ведет к мыслям странным, совершенно недопустимым. Чувство собственного достоинства решительно протестует против этих мыслей.

Марина отнеслась к призыву партии кадет иронически.

— Это они хватили через край,— сказала она, взмахнув ресницами и бровями.— Это — сгоряча. «Своей пустой ложкой в чужую чашку каши». Это надо было сделать тогда, когда царь заявил, что помещичьих земель не тронет. Тогда, может быть, крестьянство взмахнуло бы руками...

И, помахивая в лицо свое кружевным платочком, она сказала задумчиво:

— Лидию кадеты до того напугали, что она даже лес хотела продать, а вчера уже советовалась со мной — не купить ли ей Отрадное Турчаниновых? Скучно даме. Отрадное — хорошая усадьба! У меня — закладная на нее... Старик Турчанинов умер в Ницце, наследник его где-то заблудился...— Вздохнула и, замолчав, поджала губы так, точно собиралась свистнуть. Потом, утверждая какое-то решение, сказала:

— Так.

В жизнь Самгина бесшумно вошел Миша. Он оказался исполнительным лакеем, бумаги переписывал не быстро, но четко, без ошибок, был молчалив и смотрел в лицо Самгина красивыми глазами девушки покорно, даже как будто с обожанием. Чистенький, гладко причесанный, он сидел за маленьким столом в углу приемной, у окна во двор, и, приподняв правое плечо, засевал бумагу аккуратными круглыми буквами. Попросил разрешения читать книги и, получив его, тихо сказал:

— Покорно благодарю!

За книгами он стал еще более незаметен. Никогда не спрашивал ни о чем, что не касалось его обязанностей, и лишь на второй или третий день, после того как устроился в углу, робко осведомился:

— Клим Иванович — позвольте узнать: революция кончилась?

Вопрос был так неожидан, что Самгин, удивленно взглянув на юношу, повторил последнее слово:

— Кончилась.

Но затем спросил:

— Почему тебя интересует это?

— Так... просто,— не сразу ответил Миша и, опустив голову, добавил, потише, оправдываясь:— Все интересуются.

Самгин подумал, что парень глуп, и забыл об этом случае, слишком ничтожном для того, чтобы помнить о нем. Действительность усердно воспитывала привычку забывать о фактах, несравненно более крупных. Звеньями бесконечной цепи следуя одно за другим, события всё сильнее толкали время вперед, и оно, точно под гору катясь, изживалось быстро, незаметно.

Газеты почти ежедневно сообщали об экспроприациях, арестах, военно-полевых судах, о повешенных «налетчиках». Правительство прекращало издание сатирических журналов, закрывало газеты; организации монархистов начинали действовать всё более определенно террористически, реакция, принимая характер мстительного, слепого бешенства, вызывала не менее бешеное, но уже явно слабеющее сопротивление ей. Всё это Самгин видел, понимал, и — в те часы, когда он слышал, читал об этом,— это угнетало его. Но он незаметно убедил себя, что события уже утратили свой революционный смысл и создаются силою инерции. Они приняли характер «сухой грозы»,— молнии и грома очень много, а дождя — нет. В то же время, наблюдая жизнь города, он убеждался, что процесс «успокоения», как туман, поднимается снизу, от земли, и что туман этот становится всё гуще, плотнее. Особенно легко забывалось о действительности во время бесед с Мариной. Когда он спросил ее, что она думает по поводу экспроприаций? — она ответила, разглядывая ногти свои:

— Не понимаю. Может быть, это — признак, что уже «кончен бой» и начали действовать мародеры, а возможно, что революция еще не истратила всех своих сил. Тебе — лучше знать,— заключила она, улыбаясь.

— Ты как будто сожалеешь о том, что кончен бой?— спросил Самгин; она не ответила, заговорив о другом:

— Слушай-ко, явился молодой Турчанинов, надобно его утвердить в правах наследства на Отрадное и ввести во владение,— чувствуешь? Я похлопочу,

чтоб в суде шевелились быстро. Лидия, кажется, решила купить имение.

Посмеиваясь, сострига заусеницу на мизинце, она говорила немножко в нос, подражая Лидии:

— У нее — новая идея: надобно, видишь ли, восстановлять культурные хозяйства, фермеров надобно разводить, — в согласии с политикой Столыпина.

Постучав по лбу пальцем, как это делают, когда хотят без слов сказать, что человек — глуп, Марина продолжала своим голосом, сочно и лениво:

— Женщины, говорит, должны принимать участие в жизни страны как хозяйки, а не как революционерки. Русские бабы обязаны быть особенно консервативными, потому что в России мужчина — фантазер, мечтатель.

Это было дома у Марины, в ее маленькой, уютной комнатке. Дверь на террасу — открыта, теплый ветер тихонько перебирал листья деревьев в саду; мелкие белые облака паслись в небе, поглаживая луну; никель самовара на столе казался голубым; серые бабочки трепетали и гибли над огнем, шелестели на розовом абажуре лампы. Марина — в широчайшем белом капоте,— в широких его рукавах сверкают голые сильные руки. Когда он пришел — она извинилась:

— Прости, что я так, по-домашнему,— жарко мне! Толста немножко...— Она провела руками по груди, по бедрам, и этот жест, откровенно кокетливый, гордый, заставил Самгина сказать с невольным восхищением:

— До чего ты красива!

— Разве? Смотри, не влюбись!

— А — нельзя?

— Можно, да — не надо,— сказала она удивительно просто и этим вызвала у него лирическое настроение,— с этим настроением он и слушал ее.

— Недавно я говорю ей: «Чего ты, Лидия, сохнешь? Выходила бы замуж, вот — за Самгина вышла бы».— «Я, говорит, могу выйти только за дворянина, а подходящего — нет». Подходящий — это такой, видишь ли, который не забыл исторической роли дворянства и верен триаде: православие, самодержавие, народность.

Ну, я ей сказала: «Милая, ведь эдакому-то около ста лет!» Рассердилась.

Самгину хотелось спросить ее о многом, но он спросил:

— Что такое Безбедов?

Выбирая печенье из вазы, она взглянула на него, немножко прищурясь, и медленно, неохотно ответила:

— Сам видишь: миру служить — не хочет, себе — не умеет.— И тотчас же продолжала, но уже поспешно, как бы желая сгладить эти слова:

— Смешной. Выдумал, что голуби его — самые лучшие в городе; врет, что какие-то премии получил за них, а премии получил трактирщик Блинов. Старые охотники говорят, что голубятник он плохой и птицу только портит. Считает себя свободным человеком. Оно, пожалуй, так и есть, если понимать свободу как бесцельность. Вообще же он — не глуп. Но я думаю, что кончит плохо...

Слушая плавную речь ее, Самгин привычно испытывал зависть,— хорошо говорит она — просто, ярко. У него же слова — серые и беспокойны, как вот эти бабочки над лампой. А она снова говорила о Лидии, но уже мелочно, придирчиво — о том, как неумело одевается Лидия, как плохо понимает прочитанные книги, неумело правит кружком «взыскующих града». И вдруг сказала:

— Люди интеллигентного чина делятся на два типа: одни — качаются, точно маятники, другие — кружатся, как стрелки циферблата, будто бы показывая утро, полдень, вечер, полночь. А ведь время-то не в их воле! Силою воображения можно изменить представление о мире, а сущность-то — не изменишь.

Связи между этими словами и тем, что она говорила о Лидии, Самгин не уловил, но слова эти как бы поставили пред дверью, которую он не умел открыть, и — вот она сама открывается. Он молчал, ожидая, что сейчас Марина заговорит о себе, о своей вере, мироощущении.

— Рабочие хотят взять фабрики, крестьяне — землю, интеллигентам хочется власти,— говорила она,

перебирая пальцами кружево на груди.— Всё это, конечно, и нужно и будет, но ведь таких, как ты,— удовлетворит ли это?

Самгин промолчал, рассматривая на огонь вино в старинной хрустальной рюмке,— вино золотистое, как ее глаза. В вопросе Марины он почувствовал что-то опасное для себя, задумался: что? И вдруг понял, что если он сегодня, здесь заговорит о себе,— он скажет что-то похожее на слова, сказанные ею о Безбедове. Это очень неприятно удивило его, и, прихлебывая вино, он повторил про себя: «Миру служить —не хочет, себе — не умеет», «свобода — бесцельность». Поправив очки, он внимательно, недоверчиво посмотрел на нее, но она всё расправляла кружева, и лицо ее было спокойно, глаза задумчиво смотрели на мелькание бабочек,— потом она стала отгонять их, размахивая чайной салфеткой.

— Сколько их налетело, а если дверь закрыть — душно будет!

Лирическое настроение Самгина было разрушено. Ждать — нечего, о себе эта женщина ничего не скажет. Он встал. Когда она, прощаясь, протянула ему руку, капот на груди распахнулся, мелькнул розоватый, прозрачный шёлк рубашки и как-то странно, воинственно напряженные груди.

— Ой,— сказала она, запахивая капот,— тут Самгин увидел до колена ее ногу, в белом чулке. Это осталось в памяти, не волнуя, даже заставило подумать неприязненно:

«Точно каменная. Вероятно, и на тело скупа так же, как на деньги».

Но по отношению к нему она не скупилась на деньги. Как-то сидя у него и увидав пакеты книг, принесенные с почты, она сказала:

— А много ты на книги тратишь! — И дружески спросила: — Не увеличить ли оклад тебе?

Он отказался, а она все-таки увеличила оклад вдвое. Теперь, вспомнив это, он вспомнил, что отказаться заставило его смущение, недостойное взрослого человека: выписывал и читал он по преимуществу беллетристику русскую и переводы с иностранных языков;

почему-то не хотелось, чтоб Марина знала это. Но серьезные книги утомляли его, обильная политическая литература и пресса раздражали. О либеральной прессе Марина сказала:

— Кричит, как истеричка, от которой ушел любовник, а любовник-то давно уже надоел ей!

Через двое суток Самгин сидел в саду, уступив просьбе Безбедова посмотреть новых голубей. Безбедов торчал на крыше, держась одною рукой за трубу, балансируя помелом в другой; нелепая фигура его в неподпоясанной блузе и широких штанах была похожа на бутылку, заткнутую круглой пробкой в форме головы. В мутном, горячем воздухе, невысоко и лениво, летало штук десять голубей. Безбедов рычал и свистел. Но вот он наклонился вниз, как бы готовясь спрыгнуть с крыши, мрачно спросил: — Меня? — и крикнул: —Клим Иванович, к вам пришли!

Пришла Марина и с нею — невысокий, но сутуловатый человек в белом костюме с широкой черной лентой на левом рукаве, с тросточкой под мышкой, в сероватых перчатках, в панаме, сдвинутой на затылок. Лицо — смуглое, мелкие черты его — приятны; горбатый нос, светлая остренькая бородка и закрученные усики напомнили Самгину одного из «трех мушкетеров».

— Знакомьтесь, — сказала Марина. — Турчанинов — Самгин.

Турчанинов рассеянно сунул Самгину длинную кисть холодной руки, мельком взглянул на него светло-голубыми глазами и виолголоса, удивленно спросил:

— Что делает этот человек на крыше?

Марина, объяснив род занятий Безбедова, крикнула:

— Валентин, распорядись, чтоб дали чаю!

В приемной Самгина Марина объяснила, что вот Всеволод Павлович предлагает взять на себя его дело по утверждению в правах наследства.

— Да, пожалуйста, я вас очень прошу,— слишком громко сказал Турчанинов, и у него покраснели маленькие уши без мочек, плотно прижатые к черепу.— Я потерял правильное отношение к пространству,— сконфуженно сказал он, обращаясь к Марине.— Здесь

всё кажется очень далеким и хочется говорить громко. Я отсутствовал здесь восемь лет.

Подтянув фланелевые брюки, он спрятал ноги под стул и сказал, улыбаясь приятной улыбкой:

— Я счастлив, что снова здесь.

Марина сказала:

— Хорошо бы побывать в Париже!

— Это — очень просто,— сообщил Турчанинов.— Это действительно лучший город мира, а Франция — это и есть Париж.

Всё, что говорил Турчанинов, он говорил совершенно серьезно, очень мило и тем тоном, каким говорят молодые учителя, первый раз беседуя с учениками старших классов. Между прочим, он сообщил, что в Париже самые лучшие портные и самые веселые театры.

— Я видел в Берлине театр Станиславского. Очень оригинально! Но, знаете, это слишком серьезно для театра и уже не так — театр, как...— Приподняв плечи, он развел руками и — нашел слово:

— «Армия спасения». Знаете: генерал Бутс и старые девы поют псалмы, призывая каяться в грехах... Я говорю — не так? — снова обратился он к Марине; она ответила оживленно и добродушно:

— О, нет, нет! Это очень интересно.

Самгин не верил ее добродушию и ласково поощряющей улыбке, а Турчанинов продолжал, всё более увлекаясь и точно жалуясь, не сильным, тусклым тенорком:

— И — эти босяки, вагабонд![1] Конечно, я — демократ,— во Франции все демократы,— а здесь я чувствую себя народником, хотя моя мать француженка. Но — почему босяки? Я думаю, что это даже вредно. Искусство должно быть... эстетично. Станиславский в грязных лохмотьях, какой-то чудак дядя Ваня стреляет в спину профессора — за что? Этого нельзя понять! И — не попадает в двух шагах! Печальный пьяница декламирует Беранже, это — ужасно старо, Беранже! Во Франции он забыт. Вообще французы никогда не

[1] бродяги! (*франц.*).

поймут этого. Они знают, что всё уже сказано, и дело только в том, чтобы красиво повторить знакомое. Форма! — воскликнул он, подняв руку, указывая пальцем в потолок и заглядывая в лицо Марины.— Мысли — пардон! — как женщины, они не очень разнообразны, и тайна их обаяния в том, как они одеты...

Он замолчал, вздохнув облегченно, видимо, довольный тем, что высказал всё, что тяготило его.

Миша позвал к чаю, Марина и парижанин ушли, Самгин остался и несколько минут шагал по комнате, встряхивая легкие слова парижанина. Когда он пришел к Безбедову,— Марина разливала чай, а Турчанинов говорил Валентину:

— Союз Москвы и Парижа — величайшая заслуга Александра Третьего пред миром, во Франции это понимают лучше, чем у нас.

— Нам понимать некогда, мы всё революции делаем,— откликнулся Безбедов, качая головой; белые глаза его маслено блестели, лоснились волосы, чем-то смазанные, на нем была желтая рубашка с мягким воротом, с подбородка на клетчатый галстук капал пот.

— Революция — великое прошлое французов,— сказал Турчанинов и облизнул свои бледно-розовые губы анемичной девушки.

Марина сообщила Самгину, что послезавтра, утром, решено устроить прогулку в Отрадное,— поедет она, Лидия, Всеволод Павлович, приглашают и его. Самгин молча поклонился. Она встала, Турчанинов тоже хотел уйти, но Валентин с неожиданной горячностью начал уговаривать его:

— Город — пустой, смотреть в нем нечего, а вы бы рассказали мне о Париже,— останьтесь! Вина выпьем...

Турчанинов поцеловал руку Марины и остался, а она, выйдя на крыльцо, сказала Самгину, провожавшему ее:

— Забавный какой мальчуган! Ты послушай, что он Валентину наговорит, потом расскажешь мне, смеяться будем. Ну, до свиданья, хмурый человек! Ф-фу, жара какая!..

Она ушла. Самгин постоял на крыльце, послушал;

из открытого окна доносился торопливый тенорок гостя, но слова звучали невнятно. Идти к Безбедову не хотелось, не идти — было бы невежливо; он закурил и вошел. На него не обратили внимания. Турчанинов сидел спиною к двери, Безбедов — боком. Облокотясь о стол, запустив пальцы одной руки в лохматую гриву свою, другой рукой он подкладывал в рот винные ягоды, медленно жевал их, запивая глотками мадеры, и смотрел на Турчанинова с масленой улыбкой на красном лице, а тот, наклонясь к нему, держа стакан в руке, говорил:

— Языческая простота! Я сижу в ресторане, с газетой в руках, против меня за другим столом — очень миленькая девушка. Вдруг она говорит мне: «Вы, кажется, не столько читаете, как любуетесь моими панталонами»,— она сидела, положив ногу на ногу...

— Чёрт,— пробормотал Безбедов.— Это называется: без лишних слов!

— О нет, вы — ошибаетесь! — весело воскликнул Турчанинов.— Это была не девушка для радости, а студентка Сорбонны, дочь весьма почтенных буржуа,— я потом познакомился с ее братом, офицером.

Безбедов тихонько и удивленно свистнул. Он качался на стуле, гримасничал, хрипел и потел. Было ясно, что ему трудно поддерживать беседу, что он «не имеет вопросов», очень сконфужен этим и ест ягоды для того, чтобы не говорить. А Турчанинов увлеченно рассказывал:

— Идут по бульвару мужчина и дама, мужчина заходит в писсуар, и это нисколько не смущает даму, она стоит и ждет.

Безбедов фыркнул.

— Да, по-русски — это смешно и немножко — свинство, но у них — только естественно. Вообще французам совершенно не свойственно лицемерие.

Со двора в окно падали лучи заходящего солнца, и всё на столе было как бы покрыто красноватой пылью, а зелень растений на трельяже неприятно почернела. В хрустальной вазе по домашнему печенью ползали мухи.

— Д-да, живут люди,— сипло вздохнул Безбедов.— А у нас вот то — война, то — революция.

— Это ужасно! — сочувственно откликнулся парижанин.— И всё потому, что не хватает денег. А мадам Муромская говорит, что либералы — против займа во Франции. Но, послушайте, разве это политика? Люди хотят быть нищими... Во Франции революцию делали богатые буржуа, против дворян, которые уже разорились, но держали короля в своих руках, тогда как у вас, то есть у нас, очень трудно понять — кто делает революцию?

Безбедов взмахнул головою и захохотал, хлопая по коленям ладонями, всхрапывая:

— Вот — именно — кто?

Турчанинов подождал, когда Валентин отсмеялся, и сказал как будто уже обиженно:

— Мое мнение: революции всегда делаются богатыми...

— Ясно! — вскричал Безбедов.

Самгин незаметно вышел из комнаты, озлобленно думая:

«Эта жирная свинья — притворяется! Он прекрасно видит, что юноше приятно поучать его. Он не только сам карикатурен, но делает карикатурным и того, кто становится рядом с ним».

После того, что сказала о Безбедове Марина, Самгин почувствовал, что его антипатия к Безбедову стала острее, но не отталкивала его от голубятника, а как будто привлекала к нему. Это было и неприятно и непонятно.

Через день, утром, он покачивался в плетеной бричке по дороге в Отрадное. Еще роса блестела на травах, но было уже душно; из-под ног пары толстых пегих лошадей взлетала теплая, едкая пыль, крепкий запах лошадиного пота смешивался с пьяным запахом сена и отравлял тяжелой дремотой. По сторонам проселочной дороги, на полях, на огородах шевелились мужики и бабы; вдали, в мареве, колебалось наивное кружево Монастырской рощи. Бричка была неудобная, на жестких рессорах, Самгина неприятно встряхивало, он не выспался и был недоволен тем, что пришлось ехать одному,— его место в коляске Марины занял Безбедов. За кучера сидел на козлах бородатый, страховидный

дворник Марины и почти непрерывно беседовал с лошадями,— голос у него был горловой, в словах звучало что-то похожее на холодный, сухой свист осеннего ветра. И при этом — неестественно красное лицо, точно со лба, щек содрана кожа. Густая темная борода кажется наклеенной. Еще в городе, садясь в бричку, Самгин подумал:

«Какое свирепое лицо».

А выехав за город — спросил:

— Вы откуда родом?

— Из Гурьева. Есть такой городок на Урал-реке. Раньше — Яицком звался.

— Казак?

— Казак. Только давно отбился от войска.

— Почему?

— Да... так, не полюбилось.

Спрашивать еще о чем-нибудь Самгин не захотел, а казак, помолчав, пробормотал:

— Оно, конешно, что ни люби — всё промежду пальцев. Не ухватишь.

«Это я слышал или читал»,— подумал Самгин, и его ударила скука: этот день, зной, поля, дорога, лошади, кучер и всё, всё вокруг он многократно видел, всё это сотни раз изображено литераторами, живописцами. В стороне от дороги дымился огромный стог сена, серый пепел сыпался с него, на секунду вспыхивали, судорожно извиваясь, золотисто-красненькие червячки, отовсюду из черно-серого холма выбивались курчавые синие струйки дыма, а над стогом дым стоял беловатым облаком.

— Подожгли? — спросил Самгин.

— Обязательно подожгли.

— Что, в прошлом году сильно бунтовали здесь?

Казак ответил не сразу:

— Тут мужик богатый, бунтовать некому.

Самгин усмехнулся, вспомнив слова Турчанинова: «Всё — было, всё — сказано». И всегда будет жить на земле человек, которому тяжело и скучно среди бесконечных повторений одного и того же. Мысль о трагической позиции этого человека заключала в себе столько же печали, сколько гордости, и Самгин подумал,

что, вероятно, Марине эта гордость знакома. Было уже около полудня, зной становился тяжелее, пыль — горячей, на востоке клубились темные тучи, напоминая горящий стог сена.

— Вот и Отрадное видать,— сказал кучер, показывая кнутовищем вдаль, на холм: там, прижимаясь к небольшой березовой роще, возвышался желтый дом с колоннами,— таких домов Самгин видел не менее десятка вокруг Москвы, о десятках таких домов читал.

Через четверть часа потные лошади поднялись по дороге, размытой дождями, на пригорок, в теплую тень березовой аллеи, потом остановились у крыльца новенького, украшенного резьбой, деревянного домика в один этаж. Над крыльцом дугою изгибалась большая затейливая вывеска,— на белом поле красной и синей краской были изображены: мужик в странной позе — он стоял на одной ноге, вытянув другую вместе с рукой над хомутом, за хомутом — два цепа; за ними — большой молоток; дальше — что-то непонятное и — девица с парнем; пожимая друг другу руки, они целовались. Под фигурами маленькие буквы говорили: «Контора», и Самгин догадался, что фигуры тоже изображают буквы.

Из окна конторы высунулось бледное чернобородое лицо Захария и исчезло; из-за угла вышли четверо мужиков; двое, не торопясь, сняли картузы, третий — высокий, усатый — только прикоснулся пальцем к соломенной шляпе, нахлобученной на лицо, а четвертый — лысый, бородатый,— счастливо улыбаясь, сказал звонко:

— С приездом!

«И это было»,— механически отметил Самгин, кланяясь мужикам и снимая пыльник.

С крыльца сбежал Захарий, подпоясывая белую рубаху, укоризненно говоря мужикам:

— Ну, что вы — сразу? Дайте вздохнуть человеку! — Он подхватил Самгина под локоть.— Пожалуйте в дом, там приготовлена трапеза...— И, проходя мимо казака, сказал ему вполголоса: — Поглядывай, Данило, я сейчас Васю пришлю.— И тихими словами

оправдал свое распоряжение: — Народ здесь — ужасающий, Клим Иванович, чумовой народ!

В дом прошли через кухню,— у плиты суетилась маленькая толстая старушка с быстрыми, очень светлыми глазами на темном лице; вышли в зал, сыроватый и сумрачный, хотя его освещали два огромных окна и дверь, открытая на террасу. Большой овальный стол был нагружен посудой, бутылками, цветами, окружен стульями в серых чехлах; в углу стоял рояль, на нем — чучело филина и футляр гитары; в другом углу — два широких дивана и над ними черные картины в золотых рамах. Вошла тоненькая, стройная девушка с толстой косой, принесла стеклянный кувшин молока и быстро исчезла,— ушел и Захарий, сказав:

— Вот, отдохните. Умыться — через кухню.

Самгин с наслаждением выпил стакан густого холодного молока, прошел в кухню, освежил лицо и шею мокрым полотенцем, вышел на террасу и, закурив, стал шагать по ней, прислушиваясь к себе, не слыша никаких мыслей, но испытывая такое ощущение, как будто здесь его ожидает что-то новое, неиспытанное. Под ногами поскрипывали половицы, из щелей между ними поднимался запах сырой земли; было очень тихо. Лестница террасы спускалась на полукруглую площадку,— она густо заросла травой, на ней лежали тени старых лип, черемух; между стволов торчали пеньки срубленного кустарника, лежала сломанная чугунная скамья. Узкая дорожка тянулась в глубину парка. Самгин сел на верхнюю ступеньку лестницы.

Из-за угла дома гуськом, один за другим, вышли мужики; лысый сел на ступень ниже Самгина, улыбнулся ему и звонко сказал:

— Городской человек и по табаку слышен.

Он — среднего роста, но так широкоплеч, что казался низеньким. Под изорванным пиджаком неопределенного цвета на нем — грязная холщовая рубаха, на ногах — серые клетчатые брюки с заплатами и растоптанные резиновые галоши. Широкое, скуластое лицо, маленькие, острые глаза и растрепанная борода придавали ему сходство с портретами Льва Толстого.

Самгин предложил ему папиросу.

— Аз не пышем,— сказал он, и от широкой, самодовольной улыбки глаза его стали ясными, точно у ребенка. Заметив, что барин смотрит на него вопросительно, он, не угашая улыбки, спросил: — Не понимаете? Это — болгарский язык будет, цыганский. Болгаре не говорят «я»,— «аз» говорят они. А курить, по-ихнему,— пыхать.

Высокий усатый мужик с бритым лицом протянул руку, говоря:

— Давайте мне, я — курю!

Самгин спросил:

— Вы — в Болгарии были?

— Зачем? Нам по чужим землям ходить не к чему, по своей еле ползаем...

— К японцам сунулись, так они нам морду набили,— угрюмо вставил усатый.

— Нет, языку этому меня цыган научил, коновал.

Подсели на лестницу и остальные двое, один — седобородый, толстый, одетый солидно, с широким желтым и незначительным лицом, с длинным белым носом; другой — маленький, костлявый, в полушубке, с босыми чугунными ногами, в картузе, надвинутом на глаза так низко, что виден был только красный тупой нос, редкие усы, толстая дряблая губа и ржавая бороденка. Все четверо они осматривали Самгина так пристально, что ему стало неловко, захотелось уйти. Но усатый, сдув пепел с папиросы, строго спросил:

— Скажите, господин, правда, что налоги с нас решено не брать и на войну нашего брата не гонять, а чтоб воевали только одни казаки, нам же обязанность одна — хлеб сеять?

Мужик с чугунными ногами проворчал, ковыряя пальцем гнилую ступень:

— Так тебе и скажут!

Самгин кратко рассказал о воззвании кадетской партии; мужики выслушали его молча, а лысый удовлетворенно вскричал:

— Так я же говорил — прокламация!

— Обман, значит,— вздохнул бородатый, а усач покосился на него и далеко плюнул сквозь зубы.

— Не фартит нам, господин,— звонко пожаловался

лысый,— давят нас, здешних грешников, налогами! Разорения — сколько хошь, а прикопления — никак невозможно исделать. Накопишь пятиалтынный, сейчас в карман лезут — подай сюда! И — прощай монета. И монета и штаны. Тут тебе и земство, тут тебе и всё...

Говорил он со вкусом и ловко, как говорят неплохие актеры, играя в «Плодах просвещения» роль того мужика, который жалуется: «Куренка, скажем, выгнать некуда». Когда Самгин отметил это, ему показалось, что и другие мужики театральны, готовы изображать обиженных и угнетенных.

К его удовольствию, усатый мужик оправдал это впечатление: прилепив слюною окурок папиросы стойми к ногтю большого пальца левой руки и рассматривая его, он сказал:

— Вы, господин, не верьте ему, он — богатый, у него пяток лошадей, три коровы, два десятка овец, огород отличный. Они, все трое, богачи, на отруба́ выбиваются, землю эту хотят купить.

Он сбил окурок щелчком, плюнул вслед ему и топнул ногой о землю, а лысый, сморщив лицо, спрятав глаза, взметнул голову и тонко засмеялся в небо.

— Ну, чего он говорит, господи, чего он говорит! Богатые, а? Мил-лай Петр Васильев, али богатые в деревнях живут когда? Э-эх,— не видано, чтобы богатый в деревне вырос, это он в городе, на легком хлебе...

Усатый Петр смотрел на него, сдвигая брови, на скулах у него вздулись желваки.

Опасаясь, что возникнет ссора, Самгин спросил: были бунты в их волости?

— Это нам неизвестно,— сказал мужик с белым носом, а усатый густо выговорил:

— Тут, кругом, столько черкесов нагнано,— не забунтуешь!

— Бунты — это нас не касаемо, господин! — заговорил торопливо лысый.— Конешно, у нас есть причина бунтовать, да — смыслу нету!

Вдохновляясь, поспешно нанизывая слово на слово, размахивая руками, он долго и непонятно объяснял различие между смыслом и причиной,— острые глазки его неуловимо быстро меняли выражение, поблескивая

жалобно и сердито, ласково и хитро. Седобородый, наморщив переносье, открывал и закрывал рот, желая что-то сказать, но ему мешала оса, летая пред его широким лицом. Третий мужик, отломив от ступени большую гнилушку, внимательно рассматривал ее.

— Значит — причина будет лень и бунтует — она! А смысл требует другова! Вошь — в соху не впряжешь, вот это смысл будет...

— Эку дичь порешь ты, дядя Митрий,— сказал усатый Петр и обратился к Самгину:

— Это он всё для того говорит, чтобы ничего не сказать. Вы его не слушайте, на драную одежу — не глядите, он нарошно простачком приоделся...

— Эх, Петр, напрасно ты,— сказал седобородый уныло,— пришли мы за одним делом, а ты...

Лысый перебил его:

— Мы тебя, Петруха, знаем! Мы тебя очень хорошо знаем! Ты — не скрипи...

— И я знаю, что вы — спелись! Ну, и — будете плакать,— он матерно выругался, встал и ушел, сунув руки в карманы. Мужик с чугунными ногами отшвырнул гнилушку и зашипел:

— Солдат, шалава, смутьян он тут из главных, сукин сын! Их тут — гнездо! Они — ни богу, ни чёрту, всё для себя. Из-за них и черкесов нагнали к нам.

— А черкес — он не разбирает, кто в чем виноват,— добавил лысый и звонко возопил, хлопнув руками по заплатам на коленях:

— Нет у нас порядку и — нету!

Седой взглянул в небо, раскаленное почти добела, и сказал:

— Быть грозе,— затем спросил Самгина:

— Вы кто будете: адвокат или просто — гость?

Это рассмешило лысого:

— Чудно спросил, ей-богу!

Самгин встал и пошел по дорожке в глубину парка, думая, что вот ради таких людей идеалисты, романтики годы сидели в тюрьмах, шли в ссылку, в каторгу, на смерть... Но об этом он подумал мимолетно и как бы не от себя,— его беспокоило: почему не едет Марина? Было жарко, точно в бане, тяжелая, неприятная лень

ослабляла тело. В конце дорожки, в кустах, оказалась беседка; на ступенях ее лежал башмак с французским каблуком и переплет какой-то книги; в беседке стояли два плетеных стула, на полу валялся расколотый шахматный столик. С холма, через кустарник, видно было поле, поблескивала ртуть реки, на горизонте вспухала синяя туча, по невидимой дороге клубилась пыль. И снова всё так знакомо, обычно, ограничено — скучно всё, скучно...

Тут Самгин вспомнил, что зимою у него являлась мысль о самоубийстве. Обидная мысль.

Пыль вдали становилась гуще,— вероятно, едет Марина.

Самгин задумался: на кого Марина похожа? И среди героинь романов, прочитанных им, не нашел ни одной женщины, похожей на эту. Скрипнули за спиной ступени, это пришел усатый солдат Петр. Он бесцеремонно сел в кресло и, срезая ножом кожу с ореховой палки, спросил негромко, но строго:

— Значит, царь сам править не умеет, а другим — не дает? Чего же нам ждать?

— В январе снова откроют Думу,— сказал Самгин, искоса взглянув на него.

— Так. Вы — какой партии будете?

Закуривая, Самгин не ответил, а солдат не стал ждать ответа, винтообразно срезая кору с палки, и, не глядя на Самгина, озабоченно заговорил:

— Как скажете: покупать землю, выходить на отруба, али — ждать? Ежели — ждать, мироеды всё расхватают. Тут — человек ходит, уговаривает: стряхивайте господ с земли, громите их! Я, говорит, анархист. Громить — просто. В Майдане у Черкасовых — усадьбу сожгли, скот перерезали, вообще — чисто! Пришла пехота, человек сорок резервного батальона, троих мужиков застрелили, четырнадцать выпороли, баб тоже. Толку в этом — нет.

Солдат говорил сам с собою, а Клим думал о странной позиции человека, который почему-то должен отвечать на все вопросы.

— Вы, на горке, в дому, чай пьете, а за кирпичным заводом, в ямах, собраньице собралось, пришлый че-

ловек речи говорит. Раздразнили мужика и всё дразнят. Порядка до-олго не будет,— сказал Петр с явным удовольствием и продолжал поучительно:

— Вы старайтесь, чтобы именье это продали нам. Сам у себя мужик добро зорить не станет. А не продадите — набедокурим, это уж я вам без страха говорю. Лысый да в соломенной шляпе который — Табаковы братья, они хитряки! Они — пальцем не пошевелят, а — дело сделают! Губернаторы на селе. Пастыри — пластыри.

— Гроза идет,— сказал Самгин, выходя из беседки,— солдат откликнулся:

— Пускай идет,— и со свистом рассек палкой воздух.— Не желаете беседовать? Не надо,— безобидно пробормотал он.

Возвратясь в дом, Самгин закусил, выпил две рюмки водки, прилег на диван и тотчас заснул. Разбудил его оглушительный треск грома,— в парке непрерывно сверкали молнии, в комнате, на столе всё дрожало и пряталось во тьму, густой дождь хлестал в стекла, синевато светилась посуда на столе, выл ветер и откуда-то доносился ворчливый голос Захария:

— Ольга, унеси молоко, скиснет! Теперь уж не приедут. Ах ты, господи...

Затем по стеклам дробно застучал град. Самгин повернулся лицом к стене, снова пытаясь уснуть, но вскоре где-то раздался сердитый окрик Марины:

— Есть тут кто-нибудь? Чаю скорее. Спроси Ольгу — белья женского нет ли, платья? Ну, халат какой-нибудь...

Самгин подошел к ней как раз в тот момент, когда молния встряхнула, зажгла сумрак маленькой комнаты и Марина показалась туго затянутой в шёлк.

— Хороша? — спросила она.— А всё капризы Лидии,— надо было заехать в монастырь, ах... Ну, уходи, раздеваться буду!

Ее крупная фигура покачивалась, и как будто это она встряхивала сумрак. Самгин возвратился в зал, вспомнив, что тихий роман с Никоновой начался в такой же дождливый вечер; это воспоминание тотчас же вызвало у него какую-то торжественную грусть. В ма-

ленькой комнате плеснались на пол мокрые тряпки, потом раздался возмущенный возглас:

— Тише, Ольга, ты меня уколола...

Вошла Марина в сером халате, зашпиленном английскими булавками, с полотенцем на шее и распущенными по спине волосами, похожая на княжну Тараканову с картины Флавицкого и на уголовную арестантку; села к столу, вытянув ноги в бархатных сапогах, и сказала Самгину:

— Ну-ко, хозяйничай, угощай!

Захарий, улыбаясь радостно и виновато, внес большой самовар, потоптался около стола и исчез. Выпив большую рюмку портвейна, облизнув губы, она сказала:

— Жил в этом доме старичишка умный, распутный и великий скаред. Безобразно скуп, а трижды в год переводил по тысяче рублей во Францию, в бретонский городок — вдове и дочери какого-то нотариуса. Иногда поручал переводы мне. Я спросила: «Роман?» — «Нет, говорит, только симпатия». Возможно, что не врал.

Вытирая полотенцем мокрые волосы, она продолжала:

— Философствовал, писал сочинение «История и судьба»,— очень сумбурно и мрачно писал. Прошлым летом жил у него эдакий... куроед, Томилин, питался только цыплятами и овощами. Такое толстое, злое, самовлюбленное животное. Пробовал изнасиловать девчонку, дочь кухарки,— умная девочка, между прочим, и, кажется, дочь этого, Турчанинова. Старик протащил Томилина со скандалом. Томилин — тоже философствовал.

— Я его знаю, он был репетитором моим,— сообщил Самгин.

— Вот как?

Марина посмотрела на него, улыбаясь, хотела что-то сказать, но вошли Безбедов и Турчанинов; Безбедов — в дворянском мундире и брюках, в туфлях на босых ногах,— ему удалось причесать лохматые волосы почти гладко, и он казался менее нелепым — осанистым, серьезным; Турчанинов, в поддевке и резиновых галошах, стал ниже ростом, тоньше, лицо у него

было несчастное. Шаркая галошами, он говорил, не очень уверенно:

— Человек должен ставить пред собой высокие цели...

— Очень правильно,— откликнулась Марина.— Но какие же?

Садясь рядом с нею, он сказал:

— Вообще — жить под большим знаменем... как, например, крестоносцы, алхимики.

Безбедов стоя наливал в стакан вино и бормотал:

— Нам старые знамена не подходят, мы люди самодельные.

— Что это значит? — спросил Турчанинов, видимо, искренно заинтересованный словом.

— Ну,— как сказать? — проворчал Безбедов, глядя в стакан.— Интеллигенция... самодельная. Нам нужно: хомут, узду и клочок сена пред глазами, чтоб лошадь шла вперед,— обязательно!

Турчанинов молча и вопросительно посмотрел на него — и спросил:

— Клочок сена?

— Ну да,— грубо сказал Безбедов,— вместо знамени.

— Брось, Валентин,— посоветовала Марина.

Дождь стал мельче, стучал в стекла порывисто и всё торопливее, точно терял силу и намеревался перестать. Гудел ветер, глухо шумели деревья.

В дверях появилась девушка и почему-то сердитым голосом сказала:

— Лидия Тимофеевна не придет, просила принести ей чаю и рюмку какого-нибудь вина.

— Крысавица,— сказал Безбедов, посмотрев вслед ей, когда она уносила чай.— Крысиная мордочка.

Турчанинов вздрагивал, морщился и торопливо пил горячий чай, подливая в стакан вино. Самгин, хозяйничая за столом, чувствовал себя невидимым среди этих людей. Он видел пред собою только Марину; она играла чайной ложкой, взвешивая ее на ладонях, перекладывая с одной на другую,— глаза ее были задумчиво прищурены.

Ложка упала, Самгин наклонился поднять ее и

увидал под столом ноги Марины, голые до колен. Безбедов подошел к роялю, открыл футляр гитары и объявил:

— Пусто. Впрочем, я не умею играть на гитаре.

— Пойду, взгляну, что с ней,— сказала Марина, вставая. Безбедов спросил:

— С гитарой?

Турчанинов взглянул на него удивленно и снова начал пить чай с вином, а Безбедов, шагая по скрипучему паркету, неистовым голосом, всхрапывая, стал декламировать:

Я — тот самый хан Намык,
Что здесь властвовать привык!
Все, от мала до велика,
Знают грозного Намыка!

Остановился, помолчал и признался:

— Забыл, как дальше.

Самгин вдруг понял, что Безбедов пьян, и это заставило его насторожиться. Глядя в потолок, Безбедов медленно припоминал:

Я прекрасно окружен,
У меня... сто сорок жен!
Но — на днях мне ясно стало,
Что и этого мне мало.

— Очень забавно,— сказал Турчанинов, вопросительно глядя на Самгина. Самгин усмехнулся, а Безбедов подошел к столу и, стоя за спиной Самгина, продолжал сипеть:

Чуть где подданный заплакал,
Я его — сажаю — на кол,
И, как видите, народ
Припеваючи живет!

— Опять забыл,— сказал он, схватясь за спинку стула Самгина; Турчанинов повторил, что стихи забавны, и крепко потер лоб, оглядываясь вокруг, а Безбедов, тряхнув стул, спросил:

— А вам — нравятся?

— Остроумно,— сказал Самгин.

Безбедов снова пошел по комнате, кашляя и говоря:

— Сочиняя — Савва Мамонтов, миллионер, железные дороги строил, художников подкармливал, оперетки писал. Есть такие французы? Нет таких французов. Не может быть,— добавил он сердито.— Это только у нас бывает. У нас, брат Всеволод, каждый рядится... несоответственно своему званию. И — силам. Все ходят в чужих шляпах. И не потому, что чужая — красивее, а... чёрт знает почему! Вдруг — революционер, а — почему? — Он подошел к столу, взял бутылку и, наливая вино, пробормотал:

— Выпьемте, Самгин, за...

Комната вдруг налилась синим светом, коротко и сухо грохнул гром,— Безбедов сел на стул, махнув рукою:

— Н-ну, поехали...

Минуту все трое молчали, потом Турчанинов встал, отошел в угол к диванам и оттуда сказал:

— Вы замечательно говорите...

— Я? Я — по-дурацки говорю. Потому что ничего не держится в душе... как в безвоздушном пространстве. Говорю всё, что в голову придет, сам перед собой играю шута горохового,— раздраженно всхрапывал Безбедов; волосы его, высохнув, торчали дыбом,— он выпил вино, забыв чокнуться с Климом, и, держа в руке пустой стакан, сказал, глядя в него: — И боюсь, что на меня, вот — сейчас, откуда-то какой-то страх зверем бросится.

— Это — нервы, это — от грозы,— успокоительно объяснил Турчанинов, лежа на диване.

Безбедов наклонился к Самгину, спрашивая:

— Вы — что думаете?

Самгин был раздражен речами Безбедова и, видя, что он всё сильнее пьянеет, опасался скандала, но, не в силах сдержать своего раздражения, сухо ответил:

— Один мой знакомый пел такие куплеты:

Да — для пустой души
Необходим груз веры...

Намыкался Намык — довольно,
На смерть идет он добровольно,

— хрипло проговорил Безбедов, покачивая стул.

Вошла Марина, уже причесанная, сложив косу на голове чалмой,— от этого она стала выше ростом.

— Всеволод Павлович,— вам готова комната, Валентин — проводи! В антресоли. Тебе, Клим Иванович, здесь постелют.

К Турчанинову она обратилась любезно, Безбедову — строго приказала, Самгин в ее обращении к нему уловил особенно ласковые ноты.

— Лидия, кажется, простудилась,— говорила она, хмурясь, глядя, как твердо шагает Безбедов.— Ночь-то какая жуткая! Спать еще рано бы, но — что же делать? Завтра мне придется немало погулять, осматривая имение. Приятного сна...

Самгин встал, проводил ее до двери, послушал, как она поднимается наверх по невидимой ему лестнице, воротился в зал и, стоя у двери на террасу, забарабанил пальцами по стеклу.

Вершины деревьев покачивал ветер; густейшая темнота над ними куда-то плыла, вот ее проколола крупная звезда,— ветер погасил звезду. В комнате было тихо, но казалось, что тишина покачивается, так же, как тьма за окном. За спиною Самгина осторожно топали босые ноги, шуршало белье, кто-то сильными ударами взбивал подушки, позванивала посуда. Самгин смотрел, как сквозь темноту на террасе падают светлые капли дождя, и вспоминал роман Мопассана «Наше сердце»,— сцену, когда мадам де Бюрн великодушно пришла ночью в комнату Мариоля. Вспомнил и любимую поговорку маляра у Чехова: «Всё может быть...» Думать чужими словами очень удобно, за них не отвечаешь, если они окажутся неверными.

«Мадам де Бюрн — женщина без темперамента и — все-таки... Она берегла свое тело, как слишком дорогое платье. Это — глупо. Марина — менее мещанка. В сущности, она даже едва ли мещанка. Стяжательница? Да, конечно. Однако это не главное ее...»

Чувствуя приятное головокружение, Самгин прижался лбом к стеклу.

«Я выпил лишнее. Она пьет больше меня... Это — фразы из учебника грамматики».

Затем он подумал, что вокруг уже слишком тихо для человека. Следовало бы, чтоб стучал маятник часов, действовал червяк-древоточец, чувствовалась бы «жизни мышья беготня». Напрягая слух, он уловил шорох листвы деревьев в парке и вспомнил, что кто-то из литераторов приписал этот шорох движению земли в пространстве.

«Глупо. Но вспоминать — не значит выдумывать. Литература — тоже действительность. Книга — реальность, ею можно убить муху, ее можно швырнуть в голову автора. Она способна опьянять, как вино и женщина».

Устав стоять, он обернулся,— в комнате было темно; в углу у диванов горела маленькая лампа-ночник, постель на одном диване была пуста, а на белой подушке другой постели торчала черная борода Захария. Самгин почувствовал себя обиженным,— неужели для него не нашлось отдельной комнаты? Схватив ручку шпингалета, он шумно открыл дверь на террасу,— там, в темноте, кто-то пошевелился, крякнув.

— Кто это?

Ответил — не сразу — знакомый голос кучера:

— Краулим.

Медленно выпрямился кто-то — очень высокий.

— Я да Вася,— добавил кучер.— Вон он какой, Вася-то!

Самгин зажег спичку,— из темноты ему улыбнулось добродушное, широкое, безбородое лицо. Постояв, подышав сырым прохладным воздухом, Самгин оставил дверь открытой, подошел к постели,— заметив попутно, что Захарий не спит,— разделся, лег и, погасив ночник, подумал:

«Пожалуй, еще и этот заговорит».

Но Захарий молчал, не шевелился, как будто его не было. Самгин подумал:

«Не смеет заговорить. И точно подслушивает».

Подождав еще минуты две-три, Самгин спросил вполголоса:

— Давно служите у Зотовой?

— Восьмой год,— тихонько ответил Захарий.

— А раньше чем занимались?

Захарий откликнулся не сразу, и это было невежливо.

— Монах я, в монастыре жил. Девять лет. Оттуда меня и взял супруг Марины Петровны...

«Ваял. Как вещь»,— отметил Самгин; полежал еще минуту и, закуривая, увидал, при свете спички, что Захарий сидит, окутав плечи одеялом.— Не хочется спать?

— Сплю я плохо,— шёпотом и нерешительно сказал Захарий.— У меня сердце заходит, когда лежу, останавливается. Будто падаешь куда. Так я больше сижу по ночам.

— Трудно в монастыре?

Захарий приглушенно покашлял в одеяло, прежде чем сказать:

— Которые верят, что от мира можно спастись... ну, тем — ничего, легко! Которые не размышляют. И мне сначала легко было, а после — тоже...

— После чего?

— Насмотрелся. Монахи — тоже люди. Заблуждаются. Иные — плоть преодолеть не могут, иные — от честолюбия страдают. Ну, и от размышления...

Было очень странно слушать полушёпот невидимого человека; говорил он медленно, точно нащупывая слова в темноте и ставя их одно к другому неправильно. Самгин спросил:

— Вы — что же,— по своей воле пошли в монахи?

— Мне тюремный священник посоветовал. Я, будучи арестантом, прислуживал ему в тюремной церкви, понравился, он и говорит: «Если — оправдают, иди в монахи». Оправдали. Он и схлопотал. Игумен — дядя родной ему. Пьяный человек, а — справедливый. Светские книги любил читать — Шехерезады сказки, «Приключения Жиль Блаза», «Декамерон». Я у него семнадцать месяцев келейником был.

Самгин отметил: дворник Марины, казак, похож на беглого каторжника, а этот, приказчик, сидел в тюрьме,— отметил и мысленно усмехнулся:

«Тайны сгущаются».

— Вам, конечно, любопытно, за что меня в тюрьму? — слышал он задумчивый неторопливый шепоток.— А видите, я — сирота, с одиннадцати лет

жил у крестного отца на кожевенном заводе. Сначала — мальчиком при доме, потом — в конторе сидел, писал; потом — осердился крестный на меня, разжаловал в рабочие, три года с лишком кожи квасил я. А он был женат на второй, так она его мышьяком понемножку травила, у нее любовник был, землемер. Помер крестный, дочь его, Евгенья, дело подняла в суде, тут и я тоже оказался виноват, будто бы знал, а — не донес. Евгенья — красавица была и страшно умная, выследила, что я землемеру от ее мачехи записки передавал. И от него к ней. Ну, вот. Всех троих нас поарестовали, восемь месяцев и сидел я в тюрьме. Землемера — оправдали и меня тоже, а Василису Александровну приговорили к церковному покаянию: согласились, что она ошиблась. Было мне в ту пору семнадцать лет.

«Тебе и сейчас не больше»,— подумал Самгин, приготовясь спросить его о Марине. Но Захарий сам спросил:

— Извините, Клим Иванович, читали вы книгу «Плач Едуарда Юнга о жизни, смерти и бессмертии»?

— Не читал.

— Ах, очень жаль, — вздохнул Захарий.

— Меня? — спросил Самгин.

— Нет, я о себе. Сокрушительных размышлений книжка,— снова и тяжелее вздохнул Захарий.— С ума сводит. Там говорится, что время есть бог и творит для нас или противу нас чудеса. Кто есть бог, этого я уж не понимаю и, должно быть, никогда не пойму, а вот — как же это, время — бог и, может быть, чудеса-то творит против нас? Выходит, что бог — против нас,— зачем же?

«Бред какой»,— подумал Самгин, видя лицо Захария, как маленькое, бесформенное и мутное пятно в темноте, и представляя, что лицо это должно быть искажено страхом. Именно — страхом,— Самгин чувствовал, что иначе не может быть. А в темноте шевелились, плавали бредовые слова:

— Там же сказано, что строение человека скрывает в себе семя смерти и жизнь питает убийцу свою,— зачем же это, если понимать, что жизнь сотворена бессмертным духом?

«Это он, кажется, против Марины»,— сообразил Самгин.

— Смерть уязвляет, дабы исцелить, а некоторый человек был бы доволен бессмертием и на земле. Тут, Клим Иванович, выходит, что жизнь как будто чья-то ошибка и несовершенна поэтому, а создал ее совершенный дух, как же тогда от совершенного-то несовершенное?

Щвырнув далеко от себя окурок папиросы, проследив, как сквозь темноту пролетел красный огонек и, ударясь о пол, рассыпался искрами, Самгин сказал:

— Вы об этом Марину Петровну спросите.

— Спрашивал. Ей известны все человеческие размышления, а книгу «Плач» она отметает, даже высмеивает, именует ее болтовней даже. А сам я думать могу, но размышлять не умею. Вы, пожалуйста, не говорите ей, что я спрашивал про «Плач».

— Хорошо,— обещал Самгин.— Она... очень умная?

Захарий тихонько охнул.

— Ох!

И, захлебываясь быстрым шёпотом, сказал:

— Необыкновенной мудрости. Ослепляет душу. Несокрушимого бесстрашия...

Он вдруг оборвал речь, беспокойно завозился, захлопал подушкой и, пробормотав: «Извините, мешаю вам уснуть»,— замолчал. Самгин подумал, что он, должно быть, закутался одеялом с головою. Тишина стала плотной, казалось, что ее можно коснуться рукой, и долго не слышно было ни звука,— потом в парке кто-то тяжко зашлепал по луже. Самгин, прислушиваясь, вспомнил проповедника Якова, человека о трех пальцах,— «камень — дурак, дерево — дурак». Вспомнил Диомидова, Дьякона, «взыскующих града». Сектантов — миллионы, социалистов — тысячи. Возможно, что Марина — права, интеллигенция не знает подлинной духовной жизни народа. Она ищет в народе только отражения своих материалистических верований. Марина, конечно, не может быть сектанткой...

Где-то очень далеко, волком, заливисто выл пес, с голода или со страха. Такая ночь едва ли возможна

в культурных государствах Европы,— ночь, когда человек, находясь в сорока верстах от города, чувствует себя в центре пустыни.

Заснул он на рассвете,— разбудили его Захарий и Ольга, накрывая стол для завтрака. Захарий был такой же, как всегда, тихий, почтительный, и белое лицо его, как всегда, неподвижно, точно маска. Остроносая, бойкая Ольга говорила с ним небрежно и даже грубовато.

Первой явилась к завтраку Марина в измятом, плохо выглаженном платье, в тяжелой короне волос, заплетенных в косу; ласково кивнув головою Самгину, она спросила:

— Мыши не съели тебя? Ужас, сколько мышей!

А Захарию строго сказала:

— Разворовали тут всё.

— Вася! — ответил он, виновато разводя руками.— Он всё раздает, что у него ни спроси. Третьего дня позволил лыко драть с молодых лип,— а вовсе и не время лыки-то драть, но ведь мужики — не взирают...

— Хорош охранитель,— усмехнулась Марина.— Вот, Клим Иванович, познакомься с Васей,— тут есть великан такой. Мужики считают его полуумным. Подкидыш, вероятно — барская шалость, может быть, родственник парижанину-то.

Пришла Лидия, тоже измятая, с кислым лицом, с капризно надутыми губами; ее Марина встретила еще более ласково, и это, видимо, искренно тронуло Лидию; обняв Марину за плечи, целуя голову ее, она сказала:

— С тобою всегда, везде хорошо!

— Вот какие мы,— откликнулась Марина, усаживая ее рядом с собою и говоря: — А я уже обошла дом, парк; ничего,— дом в порядке, парк зарос всякой дрянью, но — хорош!

Тонкая, смуглолицая Лидия, в сером костюме, в шапке черных курчавых волос, рядом с Мариной казалась не русской больше, чем всегда. В парке щебетали птицы, ворковал витютень, звучал вдали чей-то мягкий басок, а Лидия говорила жестяные слова:

— Он — очень наивный. Наука вовсе не отрицает,

что всё видимое создано из невидимого. Как остроумно сказал де Местр, Жозеф: «Из всех пороков человека молодость — самый приятный».

Вошел Безбедов, весь в белом — точно санитар, в сандалиях на босых ногах; он сел в конце стола, так, чтоб Марина не видела его из-за самовара. Но она всё видела.

— Тебе, Валентин, надобно брить физиономию, на ней что-то растет,— сказала она и безжалостно добавила: — Плесень какая-то.

И, улыбаясь встречу Турчанинову, она осыпала его любезностями. Он ответил, что спал прекрасно и что всё вообще восхитительно, но притворялся он плохо, было видно, что говорит неправду. Самгин молча пил чай и, наблюдая за Мариной, отмечал ее ловкую гибкость в отношении к людям, хотя был недоволен ею. Интересовало его мрачное настроение Безбедова.

«В нем тоже есть что-то преступное»,— неожиданно подумал он.

Завтракали утомительно долго, потом отправились осматривать усадьбу.

Марина и Лидия шли впереди, их сопровождал Безбедов, и это напомнило Самгину репродукцию с английской картины: из ворот средневекового нормандского замка величественно выходит его владелица с тонконогой борзой собакой и толстым шутом.

Утро было пестрое; над влажной землей гулял теплый ветер, встряхивая деревья; с востока плыли мелкие облака, серые, точно овчина; в просветах бледно-голубого неба мигало и таяло предосеннее солнце; желтый лист падал с берез; сухо шелестела хвоя сосен, и было скучнее, чем вчера.

Турчанинов остался в доме, но минут через пять догнал Самгина и пошел рядом с ним, помахивая тросточкой, оглядываясь и жалобно говоря:

— Нет, как хотите, но я бы не мог жить здесь! —Он тыкал тросточкой вниз на оголенные поля в черных полосах уже вспаханной земли, на избы по берегам мутной реки, запутанной в кустарнике.

— Я часа два сидел у окна, там, наверху,— у меня такое впечатление, что всё это неудачно начато и ни-

когда не будет кончено, не примет соответствующей формы.

Самгин искренно спросил:

— Скучно?

— Более чем скучно! Есть что-то безнадежное в этой пустынности. Совершенно непонятны жалобы крестьян на недостаток земли; нигде во Франции, в Германии не видел я столько пустых пространств.

Помолчав, он предложил Самгину папиросу, долго и неумело закуривал на ветру, а закурив — сказал, вздыхая:

— Мой сосед храпел... потрясающе! Он — болен?

— Кажется — да.

— Странный тип! Такой... дикий. И мрачно озлоблен. Злость тоже должна быть веселой. Французы умеют злиться весело. Простите, что я так говорю обо всем... я очень впечатлителен. Но — его тетушка великолепна! Какая фигура, походка! И эти золотые глаза! Валькирия, Брунгильда...

Тетушка, остановясь, позвала его, он быстро побежал вперед, а Самгин, чувствуя себя лишним, свернул на боковую дорожку аллеи,— дорожка тянулась между молодых сосен куда-то вверх. Шел Самгин медленно, смотрел под ноги себе и думал о том, какие странные люди окружают Марину: этот кучер, Захарий, Безбедов...

— Гуляешь?

Самгин вздрогнул,— между сосен стоял очень высокий, широкоплечий парень без шапки, с длинными волосами дьякона,— его круглое безбородое лицо Самгин видел ночью. Теперь это лицо широко улыбалось, добродушно блестели красивые темные глаза, вздрагивали ноздри крупного носа, дрожали и пухлые губы: сейчас вот засмеется.

«Вася»,— сообразил Самгин.

— Ничего,— гуляй,— сказал Вася приятным мягким баском. На его широких плечах — коричневый армяк, подпоясан веревкой, шея обмотана синим шарфом, на ногах — рыжие солдатские сапоги; он опирался обеими руками на толстую суковатую палку и, глядя сверху вниз на Самгина, говорил:

— Я тебя — знаю, видел ночью. Ты — ничего, ходи, не бойся!

— Вы — сторож? — спросил Самгин.

— Я-то? Ожидающий я буду.

— Они все ушли туда, вниз,— показал ему Самгин.

— Я — знаю. Я всё вижу: кто, куда...

Теперь Вася улыбался гордо, и от этой улыбки лицо его стало грубее, напряглось, глаза вспыхнули ярче.

— Живу тут, наверху. Хижина есть. Холодно будет — в кухню сойду. Иди, гуляй. Песни пой.

Эх, опустился белый голубь
На святу Ердань-реку...

— запел он и, сунув палку под мышку, потряс свободной рукою ствол молодой сосны.— Костерчик разведи, только — чтобы огонь не убежал. Погорит сушняк — пепел будет, дунет ветер — нету пеплу! Всё — дух. Везде. Ходи в духе...

Он мотнул головой и пошел прочь, в сторону, а Самгин, напомнив себе: «Слабоумный»,— воротился назад к дому, чувствуя в этой встрече что-то нереальное и снова подумав, что Марину окружают странные люди. Внизу, у конторы, его встретили вчерашние мужики, но и лысый и мужичок с чугунными ногами были одеты в добротные пиджаки, оба — в сапогах.

Лысый, сняв новый коричневый картуз, вежливо пожелал Самгину:

— Доброго здоровьица!

И спросил:

— Наследник — это вы будете?

Из окна высунулось бледное лицо Захария, он отчаянно закричал:

— Да нет же! Я же вам сказал...

Солдат, выплюнув соломинку, которую он жевал, покрыл его крик своим:

— Ты сказал, а мы — не поверили! И — спрячь морду!

Захарий скрылся. Мужики, молча выслушав объяснение Самгина, пошептались, потом лысый, вздохнув, сказал:

— Так. Ну, вам поверить можно, а то здесь... — Он безнадежно махнул рукой.

Солдат, вынув из кармана кисет, встряхнул его, спрятал и обратился к Самгину:

— Дадите, что ли, папироску?

А получив папиросу, сказал, строго разглядывая фигуру Клима:

— Вот бы вас, господ, года на три в мужики сдавать, как нашего брата в солдаты сдают. Выучились где вам полагается, и — поди в деревню, поработай там в батраках у крестьян, испытай ихнюю жизнь до точки.

— Нескладно говоришь,— вмешался лысый,— даже вовсе глупость! В деревне лишнего народу и без господ девать некуда, а вот хозяевам — свободы в деревне нету! В этом и беда...

— Глядите — идут! — сказал седобородый мужик тихонько; солдат взглянул вниз из-под ладони и, тоже тихонько, свистнул, затем пробормотал, нахмурясь:

— Зотова здесь, эге!

Мужики повернулись к Самгину затылками,— он зашел за угол конторы, сел там на скамью и подумал, что мужики тоже нереальны, неуловимы: вчера показались актерами, а сегодня — совершенно не похожи на людей, которые способны жечь усадьбы, портить скот. Только солдат, видимо, очень озлоблен. Вообще это — чужие люди, и с ними очень неловко, тяжело. За углом раздался сиплый голос Безбедова:

— А — вам какого еще чёрта надо? Сказали вам — не продается, ну?

Не желая встречи с Безбедовым, Самгин пошел в парк, а через несколько минут, подходя к террасе дома, услыхал недоумевающие слова Турчанинова:

— Бунтуют и — покупают землю! Значит — у них есть деньги? Почему же они бунтуют?

— Едем! — крикнула Марина, выходя на террасу.

Самгин сел в коляску рядом с Турчаниновым; Безбедов, угрюмо сопя, стоял пред Лидией,— она говорила ему:

— Вы распорядитесь, чтоб солдат поместили удобно. До свидания! Едемте, Павел.

Кучер, благообразный, усатый старик, похожий на

переодетого генерала, пошевелил вожжами,— крупные лошади стали осторожно спускать коляску по размытой дождем дороге; у выезда из аллеи обогнали мужиков,— они шли гуськом друг за другом, и никто из них не снял шапки, а солдат, приостановясь, развертывая кисет, проводил коляску сердитым взглядом исподлобья. Марина, прищурясь, покусывая губы, оглядывалась по сторонам, измеряя поля; правая бровь ее была поднята выше левой, казалось, что и глаза смотрят различно.

Самгин с непонятной ему обидой и печалью подумал, что бесспорный ум ее — весь в словах и покорно подчинен азартному ее стремлению к наживе. Турчанинов, катая ладонями по коленям тросточку, говорил дамам:

— В Париже особенно чувствуется, что мужчина обречен женщине...

А Лидия поучительно внушала ему, что в культе мадонны слишком явны элементы языческие, католичество чувственно, эстетично...

— В нем нет спасительного страха пред высшей силой...

Самгин вспомнил слова Безбедова о страхе и решил, что нужно переменить квартиру,— соседство с этим человеком совершенно невыносимо.

Ударив перчаткой по колену его, Марина сказала:

— Какое усталое и сердитое лицо у тебя. Тебе бы пожить в Отрадном недели две, отдохнуть...

— В беседах с мужиками о политике, об отрубах,— хмуро добавил Самгин.

Она усмехнулась:

— Зачем же? Не хочешь беседовать — не беседуй, храни свою мудрость для себя. Обиделись мужики-то! Лида очень предусмотрительно поступает, выписывая солдат.

— Это — твой совет,— напомнила Лидия, но Зотова отреклась:

— Ну, что ты, у тебя — свой ум, не дитя!

Лошади бежали быстро, но путь до города показался Самгину утомительно длинным.

На другой же день он взялся за дело утверждения Турчанинова в правах наследства; ему помогали в этом какие-то тайные силы,— он кончил дело очень быстро и

хорошо заработал на нем. Раньше почти равнодушный к деньгам, теперь он принял эти бумажки с чувством удовлетворения,— они обещали ему независимость, укрепляли его желание поехать за границу. Он даже настроился спокойней, крепче. Безбедов не так уж раздражал его, и намерение переменить квартиру исчезло. Но тут в жизнь его бурно вторглись один за другим два эпизода.

Сереньким днем он шел из окружного суда; ветер бестолково и сердито кружил по улице, точно искал места — где спрятаться, дул в лицо, в ухо, в затылок, обрывал последние листья с деревьев, гонял их по улице вместе с холодной пылью, прятал под ворота. Эта бессмысленная игра вызывала неприятные сравнения, и Самгин, наклонив голову, шел быстро.

Обыватели уже вставили в окна зимние рамы, и, как всегда, это делало тишину в городе плотнее, безответней. Самгин свернул в коротенький переулок, соединявший две улицы,— в лицо ему брызнул дождь, мелкий, точно пыль, заставив остановиться, надвинуть шляпу, поднять воротник пальто. Тотчас же за углом пронзительно крикнули:

— Караул...

Там слышен был железный шум пролетки; высунулась из-за угла, мотаясь, голова лошади, танцевали ее передние ноги; каркающий крик повторился еще два раза, выбежал человек в сером пальто, в фуражке, нахлобученной на бородатое лицо,— в одной его руке блестело что-то металлическое, в другой болтался небольшой ковровый саквояж; человек этот невероятно быстро очутился около Самгина, толкнул его и прыгнул с панели в дверь полуподвального помещения с новенькой вывеской над нею:

«Починка швейных машин и велосипедов».

«Иноков,— сообразил Самгин, когда из-под козырька фуражки на него сверкнули очень знакомые глаза.— Это Иноков. С револьвером. Экспроприация».

За углом — шумели, и хотя шум был не силен, от него кружилась голова. Дождь сыпался гуще, и голова лошади, высунувшись из-за угла, понуро качалась.

Самгин решал вопрос: идти вперед или воротиться назад? Но тут из двери мастерской для починки швейных машин вышел, не торопясь, высокий лысоватый человек с угрюмым лицом, в синей грязноватой рубахе, в переднике; правую руку он держал в кармане, левой плотно притворил дверь и запер ее, точно выстрелив ключом. Самгин узнал и его,— этот приходил к нему с девицей Муравьевой.

— Не узнаете? — негромко, но очень настойчиво спросил человек, придержав Самгина за рукав пальто, когда тот шагнул вперед.— А помните студента Маракуева? Дунаева? Я — Вараксин.

— Ах да, как же,— пробормотал Самгин, следя за правой рукою Вараксина, а тот спросил его:

— Вы — что? Нездоровится?

— Там что-то случилось,— сказал Самгин, указывая вперед,— Вараксин спокойно произнес:

— Пойдем, взглянем.

Он пошел сзади Самгина, тяжело шаркая подошвами по кирпичу панели, а Самгин шагал мягкими ногами, тоскливо уверенный, что Вараксин может вообразить чёрт знает что и застрелит его.

Взглянув на Вараксича через плечо, он сказал:

— Неузнаваемо изменились вы...

— А вы — не очень, — услышал он равнодушный голос.

За углом, на тумбе, сидел, вздрагивая всем телом, качаясь и тихонько всхлипывая, маленький, толстый старичок с рыжеватой бородкой, в пальто, измазанном грязью; старичка с боков поддерживали двое: постовой полицейский и человек в котелке, сдвинутом на затылок; лицо этого человека было надуто, глаза изумленно вытаращены, он прилаживал мокрую, измятую фуражку на голову старика и шипел, взвизгивал:

— С-сорок две тысячи, их ты! Среди белого дня! На людной улице-е!

Уже собралось десятка полтора зрителей — мужчин и женщин; из ворот и дверей домов выскакивали и осторожно подходили любопытные обыватели. На подножке пролетки сидел молодой белобрысый извозчик и жалобно, высоким голосом, говорил, запинаясь:

— Он, значит, схватил лошадь под уздцы и заворачивает в проулок...

— Ну и врешь! — крикнул из толпы человек с креслом на голове.

— Ей-богу — не вру! Я его кнутом хотел, а он револьвер показывает...

Кто-то одобрительно заметил:

— Ловко время выбрали, обеденный час!

Публика шумно спрашивала:

— Сколько их было? Куда побежали?

А рядом с Климом кто-то вполголоса догадывался:

— Похоже, что извозчик притворяется.

Дождь сыпался всё гуще, пространство сокращалось, люди шумели скупее, им вторило плачевное хлюпанье воды в трубах водостоков, и весь шум одолевал бойкий торопливый рассказ человека с креслом на голове; половина лица его, приплюснутая тяжестью, была невидима, виден был только нос и подбородок, на котором вздрагивала черная курчавая бороденка.

— Я — вон где шел, а они, двое,— навстречу, один в картузе, другой — в шляпе, оба — в пальтах. Ну, один бросился в пролетку, вырвал чемоданчик...

— Саквояж, старик сказал...

— Это — всё равно! Вырвал и побежал в проулок, другой — лошадь схватил, а извозчик спрыгнул и бежать.

— Я? От лошади?..

— Вот те и — я! Струсил, дубина...

— В проулок убежал, говоришь? — вдруг и очень громко спросил Вараксин.— А вот я в проулке стоял, и вот господин этот шел проулком сюда, а мы оба никого не видали,— как же это? Зря ты, дядя, болтаешь. Вон — артельщик говорит — саквояж, а ты — чемодан! Мебель твою дождик портит...

Начал Вараксин внушительно, кончил — насмешливо. Лицо у него было костлявое, истощенное, темные глаза смотрели из-под мохнатых бровей сурово. Его выслушали внимательно, и пожилая женщина тотчас же сказала:

— Вот эдак-то болтают да невиноватых и оговаривают

Самгин стоял у стены, смотрел, слушал и несколько раз порывался уйти, но Вараксин мешал ему, становясь перед ним то боком, то спиною,— и раза два угрюмо взглянул в лицо его. А когда Самгин сделал более решительное движение, он громко сказал:

— Вы, господин, не уходите,— вы свидетель,— и стал спокойно выспрашивать извозчика: — Сколько ж их было?

— Двое. Один — шуровал около старика, а другой — он лошадь схватил.

Самгин чувствовал себя неопределенно: он должен бы возмутиться насилием Вараксина, но — не возмущался. Прошлое снова грубо коснулось его своей цепкой, опасной рукою, но и это не волновало.

Вараксин, вынув руку из кармана, скрестил обе руки на груди,— из-под передника его высунулся козырек фуражки.

Самгин привычно отметил, что зрители делятся на три группы: одни возмущены и напуганы, другие чем-то довольны, злорадствуют, большинство осторожно молчит и уже многие поспешно отходят прочь,— приехала полиция: маленький пристав, остроносый, с черными усами на желтом нездоровом лице, двое околодочных и штатский — толстый, в круглых очках, в котелке; скакали четверо конных полицейских, ехали еще два экипажа, и пристав уже покрикивал, расталкивая зрителей:

— Кто очевидец? Этот? Задержите.

А штатский торопливо спрашивал человека с креслом:

— В проулок? Как одет?

Было очень неприятно видеть, что Вараксин снова, не спеша, сунул руку в карман.

— А вот люди никого не видали в проулке,— сказал кто-то.

— Какие люди?

— Я,— сказал Вараксин, встряхнув мокрыми волосами.— И вот этот господин.

И, показав на Самгина правой рукою, левой он провел по бороде — седоватой, обрызганной дождем.

«Как спокойно он ведет себя»,— подумал Клим и, когда пристав вместе со штатским стали спрашивать его, тоже спокойно сказал, что видел голову лошади за углом, видел мастерового, который запирал дверь мастерской, а больше никого в переулке не было. Пристав отдал ему честь, а штатский спросил имя, фамилию Вараксина.

— Николай Еремеев,— громко ответил Вараксин и, вынув из-за передника фуражку, не торопясь натянул ее на мокрую голову.

— Расходитесь, расходитесь,— покрикивал околодочный. Самгин взглянул в суровое лицо Вараксина и не сдержал улыбки,— ему показалось, что из глубоких глазниц слесаря ответно блеснула одобрительная улыбка.

«Мог застрелить,— думал Самгин, быстро шагая к дому под мелким, но редким и ленивым дождем.— Это не спасло бы его, но... мог!»

Он был доволен собою и вместе с этим чувствовал себя сконфуженно.

«Вот — пришлось принять косвенное участие в экспроприации,— думал он, мысленно усмехаясь.— Но — Иноков! Несомненно, это он послал Вараксина за мной... И эта... деятельность — по характеру Инокова как нельзя более».

Как всякий человек, которому удалось избежать опасности, Самгин чувствовал себя возвышенно и дома, рассказывая Безбедову о налете, вводил в рассказ комические черточки, говорил о недостоверности показаний очевидцев и сам с большим интересом слушал свой рассказ.

— Анархисты,— безучастно бормотал Безбедов, скручивая салфетку, а Самгин поучал его:

— Сомнительная достоверность свидетельских показаний давно подмечена юридической практикой, и, в сущности, она лучше всего обнажает субъективизм наших суждений о всех явлениях жизни...

— А ну их к чёрту, свидетелей,— сердито сказал Безбедов.— У меня подлец Блинов загнал две пары скобарей,— лучшие летуны. Предлагаю выкуп — не берет...

На другой день утром Самгин читал в местной газете: «Есть основания полагать, что налет был случаен, не подготовлен, что это простой грабеж». Газета монархистов утверждала, что это — «акт политической разнузданности», и обе говорили, что показания очевидцев о количестве нападавших резко противоречивы: одни говорят — нападали двое, другие видели только одного, а есть свидетель, который утверждает, что извозчик — участвовал в грабеже. Арестовано, кроме извозчика, двое: артельщик, которого ограбили, и столяр — один из очевидцев нападения. Эти заметки газет не вызвали у Самгина никаких особенных мыслей. Об экспроприациях газеты сообщали всё чаще, и Самгин хорошо помнил слова Марины: «действуют мародеры». Вообще эпизод этот потерял для Самгина свою остроту и скоро почти совершенно исчез из его памяти, вытесненный другим эпизодом.

Как-то вечером Самгин сидел за чайным столом, перелистывая книжку журнала. Резко хлопнула дверь в прихожей, вошел, тяжело шагая, Безбедов, грузно сел к столу и сипло закашлялся; круглое, пухлое лицо его противно шевелилось, точно под кожей растаял и переливался жир,— глаза ослепленно мигали, руки тряслись, он ими точно паутину снимал со лба и щек.

Самгин молча смотрел на него через очки и — ждал.

— Н-ну, вот,— заговорил Безбедов, опустив руки, упираясь ладонями в колена и покачиваясь.— Придется вам защищать меня на суде. По обвинению в покушении на убийство, в нанесении увечья... вообще — чёрт знает в чем! Дайте выпить чего-нибудь...

Самгин, не торопясь, пошел в спальню, взял графин воды, небрежно поставил его пред Безбедовым; всё это он делал, подчеркивая свое равнодушие, и равнодушно спросил:

— Что случилось?

— Влепил заряд дроби в морду Блинову, вот что! — сказал Безбедов и, взяв со стола графин, поставил его на колено себе, мотая головой, говоря со свистом: — Издевался надо мной, подлец! «Брось, говорит,— ничего не смыслишь в голубях». Я? Я — Мензбира читал! А он, идиот, учит: «Ты, говорит, не из любви голубей

завел, а из зависти, для конкуренции со мной, а конкурировать тебе надобно с ленью твоей, не со мной...»

Говорил он, точно бредил, всхрапывая, высвистывая слова, держал графин за горлышко и, встряхивая его коленом, прислушивался, как булькает вода.

Жутко было слышать его тяжелые вздохи и слова, которыми он захлебывался. Правой рукою он мял щеку, красные пальцы дергали волосы, лицо его вспухало, опадало, голубенькие зрачки точно растаяли в молоке белков. Он был жалок, противен, но — гораздо более — страшен.

Самгин не скоро получил возможность узнать: что же и как произошло?

Безбедов не отвечал на его вопросы, заставив Клима пережить в несколько минут смену разнообразных чувствований: сначала приятно было видеть Безбедова испуганным и жалким, потом показалось, что этот человек сокрушен не тем, что стрелял, а тем, что не убил, и тут Самгин подумал, что в этом состоянии Безбедов способен и еще на какую-нибудь безумную выходку. Чувствуя себя в опасности, он строго, деловито начал успокаивать его.

— Если вы хотите, чтоб я защищал вас,— вы должны последовательно рассказать...

Безбедов поставил графин на стол, помолчал, оглядываясь, и сказал:

— Ну... Встретились за городом. Он ходил новое ружье пробовать. Пошли вместе. Я спросил: почему не берет выкуп за голубей? Он меня учить начал и получил в ухо,— тут чёрт его подстрекнул замахнуться на меня ружьем, а я ружье вырвал, и мне бы —прикладом — треснуть...

Он замолчал, даже поднял руку, как бы желая закрыть себе рот, и этот судорожный наивный жест дал Самгину право утвердительно сказать:

— Вы знали, что ружье заряжено.

— Да. Он сказал, когда оно было в моих руках... когда я смотрел его,— угрюмо сознался Безбедов и схватился руками за растрепанную голову, хрипя:

— Тетка — вот что! Если он в суд подаст, тогда она... А он — подаст! Вы с ней миндальничаете...

— Не говорите глупостей,— предупредил Самгин и поставил профессиональный вопрос:

— Свидетели — были?

— Нет,— никого,— сказал Безбедов и так туго надул щеки, что у него налились кровью уши, шея, а затем, выдохнув сильную струю воздуха, спросил настойчиво и грубо:

— Вина нет у вас?

Встал и, покачиваясь, шаркая ногами, как старик, ушел. Раньше чем он вернулся с бутылкой вина, Самгин уверил себя, что сейчас услышит о Марине нечто крайне важное для него. Безбедов стоя налил чайный стакан, отпил половину и безнадежно, с угрюмой злостью повторил:

— Подаст, идиот! Раньше — побоялся бы тетки, а теперь, когда все на стену лезут и каждый день людей вешают,— подаст...

Следовало не только успокоить его, но и расположить в свою пользу, а потом поставить несколько вопросов о Марине. Сообразив это, Самгин, тоном профессионала, заговорил о том, как можно построить защиту:

— Вы, очевидно, действовали в состоянии невменяемом, — закон определяет его состоянием запальчивости и раздражения. Такое состояние не является без причины, его вызывает оскорбление, или же оно — результат легкой, не совсем нормальной возбудимости, свойственной субъекту. Последний случай требует медицинской экспертизы. Свидетелей — нет. Показания потерпевшего? Выстрел был сделан из его ружья. Он мог быть сделан случайно, во время осмотра оружия, вы могли и не знать, что оно заряжено. Наконец, если вы твердо помните, что потерпевший действительно замахнулся ружьем,— вы могли вступить с ним в борьбу из-за ружья, и выстрел тоже объясняется как случайный. Не исключен и мотив самообороны. Вообще — защита имеет неплохой материал...

Деловую речь адвоката Безбедов выслушал, стоя вполоборота к нему, склонив голову на плечо и держа стакан с вином на высоте своего подбородка.

— Ловко,— одобрил он негромко и, видимо, очень

обрадованный.— Очень ловко!—и, запрокинув голову, вылил вино в рот, крякнул.

— Но все-таки суда я не хочу, вы помогите мне уладить всё это без шума. Я вот послал вашего Мишку разнюхать — как там? И если... не очень,— завтра сам пойду к Блинову, чёрт с ним! А вы — тетку утихомирьте, расскажите ей что-нибудь... эдакое,— бесцеремонно и напористо сказал он, подходя к Самгину, и даже легонько дотронулся до его плеча тяжелой красной ладонью. Это несколько покоробило Клима,— усмехаясь, он сказал:

— А — сильно боитесь вы Марины Петровны!

— Боюсь,— сказал Безбедов, отступив на шаг, и, спрятав руки за спину, внимательно, сердито уставился в лицо Самгина белыми глазами, напомнив Москву, зеленый домик, Любашу, сцену нападения хулиганов.— Смешно? — спросил Безбедов.

— Не смешно, а — странно,— сказал Самгин, пожав плечами, поправляя очки.

Безбедов уклончиво покатал из стороны в сторону голубенькие зрачки свои, лицо его перекосилось, оплыло вниз; видно было, что он хочет сказать что-то, но — не решается. Самгин попробовал помочь ему:

— Человек она, кажется, очень властный...

— Человек? — бессмысленно повторил Безбедов.— Да, это — верно... Ну, спасибо! — неожиданно сказал он и пошел к двери, а Самгин, провожая его сердитым взглядом, подумал:

«Определенно преступный тип. Марину он не только боится, но, кажется, ненавидит. Почему?»

А на другой день Безбедов вызвал у Самгина странное подозрение: всю эту историю с выстрелом он рассказал как будто только для того, чтоб вызвать интерес к себе; размеры своего подвига он значительно преувеличил,— выстрелил он не в лицо голубятника, а в живот, и ни одна дробинка не пробила толстое пальто. Спокойно поглаживая бритый подбородок и щеки, он сказал:

— Помирились; дал ему две пары скобарей и двадцать целковых,— чёрт с ним!

Самгину даже показалось, что и это — ложь, да и не было выстрела, всё выдумано. Но он не захотел сказать Безбедову, что не верит ему, а только иронически заметил:

— Побрились.

— Слушаюсь старших,— ответил Безбедов, и по пузырю лица его пробежали морщинки, сделав на несколько секунд толстое, надутое лицо старчески дряблым. Нелепый случай этот, укрепив антипатию Самгина к Безбедову, не поколебал убеждения, что Валентин боится тетки, и еще более усилил интерес,— чем, кроме страсти к накоплению денег, живет она? Эту страсть она не прикрывала ничем.

Дня через два она встретила Самгина в магазине словами, в которых он не уловил ни сожаления, ни злобы:

— Сожгли Отрадное-то! Подожгли, несмотря на солдат. Захария немножко побили, едва ноги унес. Вся левая сторона дома сгорела и контора, сарай, конюшни. Ладно, что хлеб успела я продать.

Говорила она неестественно, обнажая зубы, покачивая правой рукою так, точно собиралась ударить Самгина.

— Лидии дом не нравился, она хотела перестраивать его. Я — ничего не теряю, деньги по закладной получила. Но все-таки надобно Лидию успокоить, ты сходи к ней,— как она там? Я — была, но не застала ее,— она с выборами в Думу возится, в этом своем «Союзе русского народа»... Действуй!

Самгин пошел и дорогой подумал, что он утверждает в правах наследства не Турчанинова, молодого, наивного иностранца, а вдову купца первой гильдии Марину Петровну Зотову.

«Хищница,— думал он.— Становится всё более откровенной, даже циничной».

Но возмущался он ее жестокой страстью холодно — от ума, убежденный, что эта страсть еще не определяет всю Марину. Да и неудобно ему было упрощать ее,— он чувствовал, что, упрощая Зотову, низводит себя до покорного слуги ее грубых целей. Но ее ум не может быть ограниченным только этими целями. Она копит

деньги, наверное, не ради только денег, а — для чего-то. Для чего же? Он не мог бы объяснить, как сложилось и окрепло в нем это убеждение, но убеждение сложилось крепко. В конце концов он обязан пред самим собою знать: чему же он служит?

Лидия приняла его в кабинете, за столом. В дымчатых очках, в китайском желтом халате, вышитом черными драконами, в неизбежной сетке на курчавых волосах, она резала ножницами газету. Смуглое лицо ее показалось вытянутым и злым.

— Ах, знаю, знаю! — сказала она, махнув рукою.— Сгорел старый, гнилой дом, ну — что ж? За это накажут. Мне уже позвонили, что там арестован какой-то солдат и дочь кухарки,— вероятно, эта — остроносая, дерзкая.

И, хлопнув обеими руками по вороху газет на столе, она продолжала быстро, тревожно, с истерическими выкриками:

— Но — что будет делать Россия, которая разваливается, что — скажи? Царь ко всему равнодушен, пишут мне, а другой человек, близкий к высоким сферам, сообщает: царь ненавидит то, что сам же дал,— эту Думу, конституцию и всё. Говорят о диктатуре, ты подумай! О диктатуре при самодержавии! Разве это бывало? — Наклонив голову, она смотрела на Самгина исподлобья, очки ее съехали почти на кончик носа, и казалось, что на лице ее две пары разноцветных глаз.— По всем сведениям, в Думу снова и в массе пройдут левые. Этим мы будем обязаны авантюристу Столыпину, который затевает разрушить общину, выделить из деревни сильных мужиков на хутора...

Самгин сказал:

— Ты, кажется, сочувствовала этой реформе?

— Нет,— резко сказала она.— То есть — да, сочувствовала, когда не видела ее революционного смысла. Выселить зажиточных из деревни — это значит обессилить деревню и оставить хуторян такими же беззащитными, как помещиков.— Откинулась на спинку кресла и, сняв очки, укоризненно покачала головою, глядя на Самгина темными глазами в кружках воспаленных век.

— Впрочем — я напрасно говорю, я знаю: ты равнодушен ко всему, что не разрушение. Марина сказала о тебе: «Невольный зритель...»

— Вот как? — спросил Самгин, неприятно удивленный.— А — что это значит?

— Это — ужасно, Клим! — воскликнула она, оправляя сетку на голове, и черные драконы с рукавов халата всползли на плечи ее, на щеки.— Подумай: погибает твоя страна, и мы все должны спасать ее, чтобы спасти себя. Столыпин — честолюбец и глуп. Я видела этого человека,— нет, он — не вождь! И вот, глупый человек учит царя! Царя...

Самгин слышал ее крики, но эта женщина, в широком, фантастическом балахоне, уже не существовала для него в комнате, и голос ее доходил издали, точно она говорила по телефону. Он соображал:

«Вот как говорит Марина про меня...»

Он слышал: террористы убили в Петербурге полковника Мина, укротителя Московского восстания, в Интерлакене стреляли в какого-то немца, приняв его за министра Дурново, военно-полевой суд не сокращает количества революционных выступлений анархистов,— женщина в желтом неутомимо и назойливо кричала,— но всё, о чем кричала она, произошло в прошлом, при другом Самгине. Тот, вероятно, отнесся бы ко всем этим фактам иначе, а вот этот окончательно не мог думать ни о чем, кроме себя и Марины.

«Невольный зритель? Это — верно, я сам говорил себе это».

Лишь на минуту он вспомнил царя, оловянно-серую фигурку маленького человечка, с голубыми глазами и безразлично ласковой улыбкой.

«Равнодушен и ненавидит... Несоединимо. Вернее — презирает. А я — ненавижу или презираю?»

Он невольно усмехнулся и вызвал у Лидии взрыв негодования.

— Неужели тебя всё это только смешит? Но — подумай! Стоять выше всех в стране, выше всех! — кричала она, испуганно расширив больные глаза.— Двуглавый орел, ведь это — священный символ нечеловеческой власти...

Самгин не заметил, когда и почему она снова заговорила о царе.

— Мы все — двуглавые,— сказал он, вставая.— Зотова, ты, я...

— Что ты хочешь сказать? — спросила Лидия и тоже встала.

Вслушиваясь в свои слова, он проговорил, надеясь обидеть Лидию:

— Царь, вероятно, устал от этой возни и презирает всех...

— Он? Помазанник божий и — презрение к людям? — возмущенно вскричала Лидия.— Опомнись! Так может думать только атеист, анархист! Впрочем — ты таков и есть по натуре.

Она безнадежно покачала головой, а затем, когда Самгин пожимал ее руку, спросила:

— Здесь у всех ужасно потные руки,— ты заметил?

«Дура. Бесплодная смоковница,— равнодушно думал Самгин, как бы делая надписи.— Насколько Марина умнее, интересней ее...»

И, поставив рядом с Мариной голубовато-серую фигурку царя, усмехнулся.

Город беспокоился, готовясь к выборам в Думу, по улицам ходили и ездили озабоченные, нахмуренные люди, на заборах пестрели партийные воззвания, члены «Союза русского народа» срывали их, заклеивали своими.

Всё это текло мимо Самгина, но было неловко, неудобно стоять в стороне, и раза два-три он посетил митинги местных политиков. Всё, что слышал он, все речи ораторов были знакомы ему; он отметил, что левые говорят громко, но слова их стали тусклыми, и чувствовалось, что говорят ораторы слишком напряженно, как бы из последних сил. Он признал, что самое дельное было сказано в городской думе, на собрании кадетской партии, членом ее местного комитета — бывшим поверенным по делам Марины.

Опираясь брюшком о край стола, покрытого зеленым сукном, играя тоненькой золотой цепочкой часов, а пальцами другой руки как бы соля воздух, желтолицый человечек звонко чеканил искусно округленные фразы;

в синеватых белках его вспыхивали угольки черных зрачков, издали казалось, что круглое лицо его обижено, озлоблено. Слушали его внимательно, молча, и молчание было такое почтительно скучное, каким бывает оно на торжественных заседаниях по поводу годовщины или десятилетия со дня смерти высокоуважаемых общественных деятелей.

Говорил оратор о том, что война поколебала международное значение России, заставила ее подписать невыгодные, даже постыдные условия мира и тяжелый для торговли хлебом договор с Германией. Революция нанесла огромные убытки хозяйству страны, но этой дорогой ценою она все-таки ограничила самодержавие. Спокойная работа Государственной думы должна постепенно расширять права, завоеванные народом, европеизировать и демократизировать Россию.

Он замолчал, поднял к губам стакан воды, но, сделав правой рукою такое движение, как будто хотел окунуть в воду палец,— поставил стакан на место и продолжал более напряженно, даже как бы сердито, но и безнадежно:

— Меньшевики, социалисты-реалисты, поняли, что революция сама по себе не способна творить, она только разрушает, уничтожает препятствия к назревшей социальной реформе. Они поняли, что культура невозможна вне сотрудничества классов. Социалисты-утописты с их мистической верой в силу рабочего класса — разбиты, сошли со сцены истории. Все понимают, что страна нуждается в спокойной, будничной работе в областях политики и культуры. В конце концов — всем необходимо отдохнуть от жестоких потрясений пережитой бури. Пред нами — грандиозная задача: поставить на ноги многомиллионное крестьянство. И — еще раз: эволюция невозможна без сотрудничества классов,— эта истина утверждается всей историей культурного развития Европы, и отрицать эту истину могут только люди, совершенно лишенные чувства ответственности пред историей...

Для того чтоб согласиться с этими мыслями, Самгину не нужно было особенно утруждать себя. Мысли эти давно сами собою пришли к нему и жили в нем, не

требуя оформления словами. Самгина возмутил оратор,— он грубо обнажил и обесцветил эти мысли, «выработанные разумом истории».

Самгин почувствовал необходимость освежить и углубить доводы разума истории, подкрепить их от себя, материалом своего, личного опыта. Он пережил слишком много, и хотя его разум сильно устал «регистрировать факты», «системы фраз», но не утратил эту уже механическую, назойливую и бесплодную привычку. Бесплодность накопления опыта тяготила и смущала его. Он не хотел сознаться, что усвоил скептическое отношение Марины к разуму, но он уже чувствовал, что ее речи действуют на него убедительнее книг. И, наконец, бывали моменты, когда Самгин с неприятной ясностью сознавал, что хотя лицо «текущего момента» густо покрыто и покрывается пылью успокоительных слов, но лицо это вставало пред ним красным и свирепым, точно лицо дворника Марины.

Он вспомнил брата: недавно в одном из толстых журналов была напечатана весьма хвалебная рецензия о книге Дмитрия по этнографии Северного края.

«Мне тоже пора сделать выводы из моих наблюдений»,— решил он и в свободное время начал перечитывать свои старые записки. Свободного времени было достаточно, хотя дела Марины постепенно расширялись, и почти всегда это были странно однообразные дела: умирали какие-то вдовы, старые девы, бездетные торговцы, отказывая Марине свое, иногда солидное, имущество.

— Дальние родственники супруга моего,— объясняла она.

Росла клиентура, к Самгину являлись из уездов и даже из соседней губернии почтительные бородатые купцы.

— Зотиха, Марина Петровна, указала нам,— говорили они, и чувствовалось, что для этих людей Марина — большой человек. Он объяснял это тем, что захолустные, полудикие люди ценят ее деловитый ум, ее знание жизни.

Зимними вечерами, в теплой тишине комнаты, он, покуривая, сидел за столом и не спеша заносил на

бумагу пережитое и прочитанное — материал своей будущей книги. Сначала он озаглавил ее: «Русская жизнь и литература в их отношении к разуму», но этот титул показался ему слишком тяжелым, он заменил его другим: «Искусство и интеллект»; потом, сообразив, что это слишком широкая тема, приписал к слову «искусство» — «русское» и, наконец, еще более ограничил тему: «Гоголь, Достоевский, Толстой в их отношении к разуму». После этого он стал перечитывать трех авторов с карандашом в руке, и это было очень приятно, очень успокаивало и как бы поднимало над текущей действительностью куда-то по косой линии.

Гоголь и Достоевский давали весьма обильное количество фактов, химически сродных основной черте характера Самгина,— он это хорошо чувствовал, и это тоже было приятно. Уродливость быта и капризная разнузданность психики объясняли Самгину его раздор с действительностью, а мучительные поиски героями Достоевского непоколебимой истины и внутренней свободы, снова приподнимая его, выводили в сторону из толпы обыкновенных людей, сближая его с беспокойными героями Достоевского.

Но нередко он бросал карандаш на стол, говоря себе:

«Я — не таков, как эти люди, более здоров, чем они, отношусь к жизни спокойнее».

Однако действительность, законно непослушная теориям, которые пытались утихомирить ее, осаждаясь на ее поверхности густой пылью слов,— действительность продолжала толкать и тревожить его.

В конце зимы он поехал в Москву, выиграл в судебной палате процесс, довольный собою отправился обедать в гостиницу и, сидя там, вспомнил, что не прошло еще двух лет с того дня, когда он сидел в этом же зале с Лютовым и Алиной, слушая, как Шаляпин поет «Дубинушку». И еще раз показалось невероятным, что такое множество событий и впечатлений уложилось в отрезок времени — столь ничтожный.

«И в бездонном мешке времени кружится земной шар»,— вспомнил он недавно прочитанную фразу и подумал, что к Достоевскому и Гоголю следует присо-

единить Леонида Андреева, Сологуба. А затем, просматривая карту кушаний, прислушиваясь к шуму голосов, подумал о том, что, вероятно, нигде не едят так радостно и шумно, как в Москве. Особенно бесцеремонно шумели за большим столом у стены, налево от него,— там сидело семеро, и один из них, высокий, тонкий, с маленькой головой, с реденькими усами на красном лице, тенористо и задорно врезывал в густой гул саркастические фразы:

— В Европе промышленники внушают министрам руководящие идеи, а у нас — наоборот: у нас необходимость организации фабрикантов указана министром Коковцовым в прошлом году-с!

За спиною Самгина, под пальмой, ворчливо разговаривали двое, и нетрезвый голос одного был знаком.

— Ерунда! Солдаты революции не делают.

— Тише!

— Расстреливать, как негров...

— Ты — сообрази: гвардия, преображенцы...

— Тем более: расстреливать! Что значит высылка в какое-то дурацкое село Медведь? Ун-ничтожать, как англичане сипаев...

— Это ты несерьезно говоришь.

— Я знаю больше тебя,— пьяным голосом вскричал свирепый человек, и Самгин тотчас вспомнил:

«Это — Тагильский. Неприятно, если узнает меня».

Он привстал, оглядываясь, нет ли где другого свободного столика?

Столика не нашлось, а малоголовый тенор, ударив ладонью по столу, отчеканил:

— Ни-ко-гда-с! Допущение рабочих устанавливать расценки приемлемо только при условии, что они берут на себя и ответственность за убытки предприятия-с!

Он встал и начал быстро пожимать руки сотрапезников, однообразно кивая каждому гладкой головкой, затем, высоко вскинув ее, заложив одну руку за спину, держа в другой часы и глядя на циферблат, широкими шагами длинных ног пошел к двери, как человек, совершенно уверенный, что люди поймут, куда он идет, и позаботятся уступить ему дорогу.

По газетам Самгин знал, что в Петербурге организовано «Общество заводчиков и фабрикантов» и что об этом же хлопочут и промышленники Москвы,— наверное, этот длинный — один из таких организаторов. Тагильский внятно бормотал:

— В Семеновском полку один гусь заговорил, что в Москве полк не тех бил,— понимаешь? Не тех! Солдаты тотчас выдали его...

Направо от Самгина сидели, солидно кушая, трое: широкоплечая дама с коротенькой шеей в жирных складках, отлично причесанный, с подкрученными усиками, студент в пенсне, очень похожий на переодетого парикмахера, и круглолицый барин с орденом на шее, с большими глазами в синеватых мешках; медленно и обиженно он рассказывал:

— Я сам был свидетелем, я ехал рядом с Бомпаром. И это были действительно рабочие. Ты понимаешь дерзость? Остановить карету посла Франции и кричать в лицо ему: «Зачем даете деньги нашему царю, чтоб он бил нас? У него своих хватит на это».

— Ужасно,— басом и спокойно сказала женщина, раскладывая по тарелкам пузатеньких рябчиков, и спросила: — А правда, что Лауница убили за то, что он хотел арестовать Витте?

— Но, мама,— заговорил студент, наморщив лоб,— установлено, что Лауница убили социалисты-революционеры.

Так же басовито и спокойно дама сказала:

— Я не спрашиваю — кто, я спрашиваю — за что? И я надеюсь, Борис, что ты не знаешь, что такое революционеры, социалисты и кому они служат. Возьми еще брусники, Матвей!

Человек с орденом взял брусники и, тяжко вздохнув, сообщил:

— Старик Суворин утверждает, что будто Горемыкин сказал ему: «Это неплохо, что усадьбы жгут, надо потрепать дворянство, пусть оно перестанет работать на революцию». Но, бог мой, когда же мы работали на революцию?

— Ужасно,— сказала дама, разливая вино.— И притом Горемыкин — педераст.

Студент усмехнулся, говоря:

— Ты, дядя, забыл о декабристах...

«Это — люди для комедии,— подумал Самгин.— Марина будет смеяться, когда я расскажу о них».

Его очень развлекла эта тройка. Он решил провести вечер в театре,— поезд отходил около полуночи. Но вдруг к нему наклонилось косоглазое лицо Лютова,— меньше всего Самгин хотел бы видеть этого человека. А Лютов уже трещал:

— Вот — непредвиденный случай! Глупо; как будто случай можно предвидеть! А ведь так говорят! Мне сказали, что ты прикреплен к Вологде на три года,— неверно?

Он был наряжен в необыкновенно пестрый костюм из толстой, пестрой, мохнатой материи, казался ниже ростом, но как будто еще более развинченным.

— Хотя — и в Вологде пьют. Ты еще не запил? Интересно, каким ты пером оброс?

Говорил он вполголоса, но все-таки было неприятно, что он говорит в таком тоне при белобрысом, остроглазом официанте. Вот он толкает его пальцем в плечо:

— Кабинетик можно, Вася?

— Слушаю. Закусочку?

— Неизбежно.

— А дальше?

— Сам сообрази, ангел.

«Показывает старомодный московский демократизм»,— отметил Самгин, наблюдая из-под очков за публикой,— кое-кто посматривал на Лютова иронически. Однако Самгин чувствовал, что Лютов искренно рад видеть его. В коридоре, по дороге в кабинет, Самгин осведомился: где Алина?

— Алина? — ненужно переспросил Лютов,— Алина пребывает во французской столице Лютеции и пишет мне оттуда длинные, свирепые письма,— французы ей не нравятся. С нею Костя Макаров поехал, Дуняша собирается...

Втолкнув Самгина в дверь кабинета, он усадил его на диван, сел в кресло против него, наклонился и предложил:

— Ну, рассказывай,— как?

Его вывихнутые глаза стали как будто спокойнее, не так стремились спрятаться, как раньше. На опухшем лице резко выступил узор красных жилок,— признак нездоровой печени.

— Потолстел,— сказал он, осматривая Самгина.— Ну, а что же ты думаешь, а?

— О чем? — спросил Самгин.

— Например — о попах? Почему мужики натолкали в парламент столько попов? Хорошие хозяева? Прикинулись эсерами? Или — еще что?

Говоря, он точно обжигался словами, то выдувая, то всасывая их.

«Начинаются фокусы»,— отметил Самгин, а Лютов торопливо говорил:

— Мужик попа не любит, не верит ему, поп — тот же мироед, и — вдруг?

— Мне кажется, что попов не так уж много в Думе. А вообще я плохо понимаю — что тебя волнует? — спросил Самгин.

Лютов, прищурясь, посмотрел на него, щелкнул пальцами.

— Не верю,— понимаешь! Над попом стоит епископ, над епископом — синод, затем является патриарх, эдакий, знаешь, Исидор, униат. Церковь наша организуется по-римски, по-католически, возьмет мужика за горло, как в Испании, в Италии,— а?

— Странная фантазия,— сказал Самгин, пожимая плечами.

— Фантазия? — вопросительно повторил Лютов и — согласился:— Ну — ладно, допустим! Ну, а если так: поп — чистейшая русская кровь, в этом смысле духовенство чище дворянства — верно? Ты не представляешь, что поп может выдумать что-то очень русское, неожиданное?

— Инквизицию, что ли? — с досадой спросил Самгин. Лютов серьезно сказал:

— Инквизиция — это само собой, но кроме того нечто сугубо мрачное — от лица всероссийского мужика?

— От мужика ты... мы ничего не услышим, кроме: отдайте мне землю,— ответил Самгин, неохотно и ворчливо.

Сморщив пятнистое лицо, покачиваясь, дергая головою, Лютов стал похож на человека, который, сидя в кабинете дантиста, мучается зубной болью.

— Так,— сказал он.— Очень просто. А я, брат, всё чего-то необыкновенного жду...

«Не устал еще от необыкновенного?» — хотел спросить Самгин, но вошел белобрысый официант и с ним — другой, подросток,— внесли закуски на подносах; Лютов спросил:

— Что, Вася, не признают хозяева союз ваш?

— Не желают,— ответил Вася, усмехаясь.

— Что же думаете делать?

Официант скрутил салфетку жгутом, ударил ею по ладони и сказал, вздохнув:

— Не знаю. Забастовка — не поможет, наголодались все, устали. Питерские рабочие препятствуют вывозу товаров из фабричных складов, а нам — что? Посуду перебить? Пожалуйте кушать,— добавил он и вышел.

Самгин снова определил поведение Лютова как демократизм показной.

Официант не понравился ему,— говорил он пренебрежительно, светленькие усики его щетинились неприятно, а короткая верхняя губа, приподнимаясь, обнажала мелкие, острые зубы.

— Неглупый парень,— сказал Лютов, кивнув головой вслед Василию и наливая водку в рюмки.— «Коммунистический манифест» вызубрил и вообще — читает! Ты, конечно, знаешь, в каких сотнях тысяч разошлась сия брошюрка? Это — отрыгнется! Выпьем...

Самгин спросил, чокаясь:

— Ты рад, что — отрыгнется?

— Ловко спрошено! — вскричал Лютов с восхищением.— Безразлично, как о чужом деле! Всё еще играешь равнодушного, баррикадных дел мастер? Со мной не следовало бы играть в конспирацию.

Самгин проглотил большую рюмку холодной померанцевой водки и, закусывая семгой, недоверчиво покосился на Лютова,— тот подвязывал салфетку на шею и говорил, обжигаясь словами:

— Я — купец, но у меня не гривенники на месте глаз. Я, брат, в своем классе — белая ворона, и я тебе прямо скажу: не чувствуя внутренней связи со своей средой, я иногда жалею... даже болею этим... Вот оно что! Бывает, что думаешь: лучше быть повешенным, чем взвешенным в пустоте. Но — причаститься своей среде — не могу, может быть, потому, что сил нет, недостаточно зоологичен. Вот на днях Четвериков говорил, что в рабочих союзах прячутся террористы, анархисты и всякие чудовища и что хозяева должны принять все меры к роспуску союзов. Разумеется, он — хозяин и дело обязывает его бороться против рабочих, но — видел бы ты, какая отвратительная рожа была у него, когда он говорил это! И вообще, брат, они так настроены, что если возьмут власть в свои руки...

Лицо Владимира Лютова побурело, глаза, пытаясь остановиться, дрожали, он слепо тыкал вилкой в тарелку, ловя скользкий гриб и возбуждая у Самгина тяжелое чувство неловкости. Никогда еще Самгин не слышал, не чувствовал, чтоб этот человек говорил так серьезно, без фокусов, без неприятных вывертов. Самгин молча налил еще водки, а Лютов, сорвав салфетку с шеи, продолжал:

— Тебе мое... самочувствие едва ли понятно, ты забронирован идеей, конспиративной работой, живешь, так сказать, на высоте, в башне, неприступен. А я давно уже привык думать о себе как о человеке — ни к чему. Революция окончательно убедила меня в этом. Алина, Макаров и тысячи таких же — тоже всё люди ни к чему и никуда,— странное племя: неплохое, но — ненужное. Беспочвенные люди. Если даже и революционеры, такие, например, как Иноков,— ты его знаешь, говорит он. Он может разрушить дом, церковь, но неспособен построить и курятника. А разрушать имеет право только тот, кто знает, как надобно строить, и умеет построить.

Самгин чувствовал, что эти неожиданные речи возмущают его,— он выпил еще рюмку и сказал:

— Так говорили, во главе с Некрасовым, кающиеся дворяне в семидесятых годах. Именно Некрасов под-

сказал им эти жалобы, и они были, в сущности, изложением его стихов прозой.

Снова вошел официант, и, заметив, что острый взгляд Васи направлен на него, Самгин почувствовал желание сказать нечто резкое; он сказал:

— Нельзя делать историю только потому, что ничего иного не умеешь делать.

— Именно,— согласился Лютов, а Самгин понял, что сказано им не то, что он повторил слова Степана Кутузова. Но все-таки продолжал:

— У нас многие занимаются деланием от скуки, от нечего делать.

— Мысль Толстого,— заметил Лютов, согласно кивнув головой, катая шарик хлеба.

Самгин замолчал, ожидая, когда уйдет официант, потом, с чувством озлобления на Лютова и на себя, заговорил, несвойственно своей манере, ворчливо, с трудом:

— Вообще интеллигенция не делает революций, даже когда она психически деклассирована. Интеллигент — не революционер, а реформатор в науке, искусстве, религии. И в политике, конечно. Бессмысленно и бесполезно насиловать себя, искусственно настраивать на героический лад...

— Не понимаю,— сказал Лютов, глядя в тарелку супа.

Самгин тоже не совсем ясно понимал — с какой целью он говорит? Но говорил:

— Ты смотришь на революцию как на твой личный вопрос,— вопрос интеллигента...

— Я? — удивился Лютов.— Откуда ты вывел это?

— Из всего сказанного тобой.

— Мне кажется, что ты не меня, а себя убеждаешь в чем-то,— негромко и задумчиво сказал Лютов и спросил:

— Ты — большевик или...?

— Ах, оставь,— сердито откликнулся Самгин. Минуту, две оба молчали, неподвижно сидя друг против друга. Самгин курил, глядя в окно, там блестело шёлковое небо, луна освещала беломраморные крыши,— очень знакомая картина.

«Он — прав,— думал Самгин,— убеждал я действительно себя».

— Реакция, — пробормотал Лютов. — Ленин, кажется, единственный человек, которого она не смущает...

Он съежился, посерел, стал еще менее похож на себя и вдруг — заиграл, превратился в человека, давно и хорошо знакомого; прихлебывая вино маленькими глотками, бойко заговорил:

— Слышал я, что мухи обладают замечательно острым зрением, а вот стекла от воздуха не могут отличить!

— Что это ты зимой о мухах вспомнил? — спросил Самгин, подозрительно взглянув на него.

— Не знаю. А есть мы, оказывается, не хотим. Ну, тогда выпьем!

Выпили. Встряхнув головой, потирая висок пальцем, Лютов вздохнул, усмехнулся.

— Не склеилась у нас беседа, Самгин! А я чего-то ждал. Я, брат, всё жду чего-то. Вот, например, попы,— я ведь серьезно жду, что попы что-то скажут. Может быть, они скажут: «Да будет — хуже, но — не так!» Племя — талантливое! Сколько замечательных людей выдвинуло оно в науку, литературу,— Белинские, Чернышевские, Сеченовы...

Но оживление Лютова погасло, он замолчал, согнулся и снова начал катать по тарелке хлебный шарик. Самгин спросил: где Стрешнева?

— Дуняша? Где-то на Волге, поет. Тоже вот Дуняша... не в форме, как говорят о борцах. Ей один нефтяник предложил квартиру, триста рублей в месяц — отвергла! Да,— не в себе женщина. Не нравится ей всё. «Шалое, говорит, занятие — петь». В оперетку приглашали — не пошла.

И, глядя в окно, он вздохнул.

— Боюсь — влопается она в какую-нибудь висельную историю. Познакомилась с этим, Иноковым, когда он лежал у нас больной, раненый. Мужчина — ничего, интересный, немножко — топор. Потом тут оказался еще один,— помнишь парня, который геройствовал, когда Туробоева хоронили? Рыбаков...

— Судаков,— поправил Самгин.

— Хорошая у тебя память... Гм... Ну вот, они — приятели ей. Деньжонками она снабжает их, а они ее воспитывают. Анархисты оба.

Лютов вынул часы и, держа их под столом, щелкнул крышкой; Самгин тоже посмотрел на свои часы, тут же думая, что было бы вежливей спросить о времени Лютова.

Простился Лютов очень просто, даже, кажется, грустно, без игры затейливыми словечками.

«Поблек,— думал Самгин, выходя из гостиницы в голубоватый холод площади.— Типичный русский бездельник. О попах — нарочно, для меня выдумал. Маскирует чудачеством свою внутреннюю пустоту. Марина сказала бы: человек бесплодного ума».

От сытости и водки приятно кружилась голова, вкусно морозный воздух требовал глубоких вдыханий и, наполняя легкие острой свежестью, вызывал бодрое чувство. В памяти гудел мотив глупой песенки:

Царь, подобно Муцию...

«Дуняша-то! Отвергла. Почему?»

Самгин взял извозчика и поехал в оперетку. Там кассир сказал ему, что все билеты проданы, но есть две свободные ложи и можно получить место.

С высоты второго яруса зал маленького театра показался плоскодонной ямой, а затем стал похож на опрокинутую горизонтально витрину магазина фруктов: в пене стружек рядами лежат апельсины, яблоки, лимоны. Самгин вспомнил, как Туробоев у Омона оправдывал анархиста Равашоля, и спросил сам себя:

«Мог бы я бросить бомбу? Ни в каком случае. И Лютов не способен. Я подозревал в нем что-то... своеобразное. Ничего нет... Кажется — я даже чего-то опасался в этом... выродке». И, почувствовав, что он может громко засмеяться, Самгин признался: «Я — выпил немножко сверх меры».

Над оркестром судорожно изгибался, размахивая коротенькими руками и фалдами фрака, черненький, большеголовый, лысый дирижер, у рампы отчаянно плясали два царя и тощий кривоногий жрец Калхас, похожий на Победоносцева.

«Оффенбах был действительно остроумен, превратив предисловие к „Илиаде“ в комедию. Следовало бы обработать в серию легких комедий все наиболее крупные события истории культуры, чтоб люди перестали относиться к своему прошлому подобострастно — как к его превосходительству...»

Думалось очень легко и бойко, но голова кружилась сильнее, должно быть, потому, что теплый воздух был густо напитан духами. Публика бурно рукоплескала, цари и жрец, оскалив зубы, благодарно кланялись в темноту зала плотному телу толпы, она тяжко шевелилась и рычала:

— Браво, браво!

Это было не весело, не смешно, и Самгин поморщился, вспомнив чей-то стих:

Пучина, где гибнет всё то, что живет.

«Откуда это?»

Подумав, он вспомнил: из книги немецкого демократа Иоганна Шерра. Именно этот профессор советовал смотреть на всемирную историю как на комедию, но в то же время соглашался с Гёте в том, что:

Быть человеком — значит быть бойцом.

«Чтобы придать комедии оттенки драмы, да? Пьянею»,— сообразил Самгин, потирая лоб ладонью. Очень хотелось придумать что-нибудь оригинальное и улыбнуться себе самому, но мешали артисты на сцене. У рампы стояла плечистая, полнотелая дочь царя Приама, дрыгая обнаженной до бедра ногой; приплясывал удивительно легкий, точно пустой, Калхас; они пели:

Смотрите
На Витте,
На графа из Портсмута,
Чей спорт любимый — смута...

«Это — глупо»,— решил Самгин, дважды хлопнув ладонями.

— Браво! — кричали из пучины.

— Пардон,— сказал кто-то, садясь рядом с Климом, и тотчас же подавленно вскричал:— Бог мой— вы? Как я рад!

Это — Брагин, одетый, точно к венцу,— во фраке, в белом галстуке; маленькая головка гладко причесана, прядь волос, опускаясь сверху виска к переносью, искусно — более, чем раньше,— прикрывает шишку на лбу, волосы смазаны чем-то крепко пахучим, лицо сияет радостью. Он правильно назвал встречу неожиданной и в минуту успел рассказать Самгину, что является одним из «сосьетеров» этого предприятия.

— Вы заметили, что мы вводим в старый текст кое-что от современности? Это очень нравится публике. Я тоже начинаю немножко сочинять, куплеты Калхаса — мои.— Говорил он стоя, прижимал перчатку к сердцу и почтительно кланялся кому-то в одну из лож.— Вообще — мы стремимся дать публике веселый отдых, но — не отвлекая ее от злобы дня. Вот — высмеиваем Витте и других, это, я думаю, полезнее, чем бомбы,— тихонько сказал он.

— Да,— согласился Самгин,— пусть все... улыбаются! Пусть человек улыбается сам себе.

— Замечательно сказано! — с восхищением прошептал Брагин.— Именно — сам себе!

— Пусть улыбнется! — строго повторил Самгин.

— Я и Думу тоже — куплетами! Вы были в Думе?

— Нет. В Думе — нет...

— Это — митинг и ничего государственного! Вы увидите — ее снова закроют.

— Не надо,— пусть говорят, — сказал Самгин.

— Да, разумеется,— лучше под крышей, чем на улицах! Но — газеты! Они всё выносят на улицу.

— А она — умная! Она смеется,— сказал Самгин и остатком неомраченного сознания понял, что он, скандально пьянея, говорит глупости. Откинувшись на спинку стула, он закрыл глаза, сжал зубы и минуту, две слушал грохот барабана, гул контрабаса, веселые вопли скрипок. А когда он поднял веки — Брагина уже не было, пред ним стоял официант, предлагая холодную содовую воду, спрашивая дружеским шепотком:

— Капельку нашатырного спиртику не прикажете?

Антракт Самгин просидел в глубине ложи, а когда погасили огонь — тихонько вышел и поехал в гостиницу за вещами. Опьянение прошло, на место его явилась скучная жалость к себе.

«В сущности, случай ничтожный, и всё дело в том, что я много выпил»,— утешал он себя, но не утешил.

На другой день, вечером, он сердито рассказывал Марине:

— Москва вызвала у меня впечатление пошлости и злобы. Одни торопливо и пошло веселятся, другие — собираются мстить за пережитые тревоги...

— Собираются! — воскликнула Марина.— Уже — начали, вон как Столыпин-то спешит вешать.

Она была очень довольна выигранным процессом и говорила весело. Самгин нашел, что говорить о работе Столыпина веселым тоном — по меньшей мере неприлично, и спросил насмешливо:

— А по-твоему, вешать надобно не спеша?

Улыбаясь, облизнув губы, Марина посмотрела в темный угол.

— Максималистов-то? Я бы на его месте тоже вешала. Вон как они в Фонарном-то переулке денежки цапнули. Да и лично Столыпин задет ими,— дочку ранили, дачу взорвали.

— Ужасно... просто относишься ты ко всем этим трагедиям,— сказал Самгин и отметил, что говорит с удивлением, а хотел сказать с негодованием.

— Я ведь не министр и особенно углубляться в эти семейные дела у меня охоты нет,— сказала Марина.

Самгин вспомнил, что она уже второй раз называет террор «семейным делом»; так же сказала она по поводу покушения Тамары Принц на генерала Каульбарса в Одессе. Самгин дал ей газету, где напечатана была заметка о покушении.

— Да,— знаю,— сказала Марина.— Лидии подробно известно это.— Встряхнув газету, как будто на ней осела пыль, она выговорила медленно, с недоумением:

— Детскость какая! Пришла к генералу дочь генерала и — заплакала, дурочка: ах, я должна застрелить

вас, а — не могу, вы — друг моего отца! Татьяна-то Леонтьева, которая вместо министра Дурново какого-то немца-коммивояжера подстрелила, тоже, кажется, генеральская дочь? Это уж какие-то семейные дела...

Ее устойчиво спокойное отношение к действительности возмущало Самгина, но он молчал, понимая, что возмущается не только от ума, а и от зависти. События проходили над нею, точно облака и, касаясь ее, как тени облаков, не омрачали настроения; спокойно сообщив: «Лидия рассказывает, будто Государственный совет хотели взорвать. Не удалось»,— она задумчиво спросила:

— Отчего это иногда не удается им?

Самгин усмехнулся, подумав, что, если б она была террористкой, ей бы, наверное, удалось взорвать и Государственный совет.

«Ей всё — чуждо,— думал он.— Точно иностранка. Или человек, непоколебимо уверенный, что „всё к лучшему в этом наилучшем из миров". Откуда у нее этот... оптимизм... животного?»

В «наилучшем из миров» бесплодно мучается некто Клим Самгин. Хотя он уже не с такою остротой, как раньше, чувствовал бесплодность своих исканий, волнений и тревог, но временами все-таки казалось, что действительность становится всё более враждебной ему и отталкивает, выжимает его куда-то в сторону, вычеркивая из жизни. Его особенно поразил неожиданный и резкий выпад против интеллигенции со стороны Томилина. В местной либеральной газете был напечатан подробный отчет о лекции, которую прочитал Томилин на родине Самгина. Лекция была озаглавлена «Интеллект и рок»,— в ней доказывалось, что интеллект и является выразителем воли рока, а сам «рок не что иное, как маска Сатаны — Прометея»; «Прометей — это тот, кто первый внушил человеку в раю неведения страсть к познанию, и с той поры девственная, жаждущая веры душа богоподобного человека сгорает в Прометеевом огне; материализм — это серый пепел ее». Томилин «беспощадно, едко высмеивал тонко организованную личность, кристалл, якобы способный отразить спектры всех огней жизни и совершенно лишенный силы огня

веры в простейшую и единую мудрость мира, заключенную в таинственном слове — бог».

Отчет заключался надеждой его автора, что «наш уважаемый сотрудник, смелый и оригинальный мыслитель, посетит наш город и прочтет эту глубоко волнующую лекцию. Нам весьма полезно подняться на высоту изначальных идей, чтоб спокойно взглянуть оттуда на трагические ошибки наши».

Столь крутой поворот знакомых мыслей Томилина возмутил Самгина не только тем, что так неожиданно крут, но еще и тем, что Томилин в резкой форме выразил некоторые, еще не совсем ясные, мысли, на которых Самгин хотел построить свою книгу о разуме. Не первый раз случалось, что осторожные мысли Самгина предупреждались и высказывались раньше, чем он решался сделать это. Он почувствовал себя обворованным рыжим философом.

«Марине, вероятно, понравится философия Томилина»,— подумал он и вечером, сидя в комнате за магазином, спросил: читала она отчет о лекции?

— Жулик,— сказала она, кушая мармелад.— Это я не о философе, а о том, кто писал отчет. Помнишь: на Дуняшином концерте щеголь ораторствовал, сынок уездного предводителя дворянства? Это — он. Перекрасился октябристом. Газету они покупают, кажется, уже и купили. У либералов денег нет. Теперь столыпинскую философию проповедовать будут: «Сначала — успокоение, потом — реформы».

Ленивенькие ее слова задели Самгина; говоря о таких вопросах, можно было бы не жевать мармелад. Он не сдержался и спросил:

— Тебя, видимо, не беспокоят «трагические ошибки»?

Вытирая пальцы чайной салфеткой, она сказала:

— Не люблю беспокоиться. Недостаточно интеллигентна для того, чтоб охать и ахать. И, должно быть, недостаточно — баба.

Самгин предусмотрительно замолчал, понимая, что она могла бы сказать:

«Ведь и ты не очень беспокоишься, ежедневно читая, как министр давит людей „пеньковыми галстуками“».

Против таких слов ему нечего было бы возразить. Он

читал о казнях, не возмущаясь, казни стали так же привычны, как ничтожные события городской хроники или как, в свое время, привычны были еврейские погромы: сильно возмутил первый, а затем уже не хватало сил возмущаться. Неотвязно следя за собою, он спрашивал себя: почему казни не возмущают его? Чувство биологического отвращения к убийству бездействовало. Он оправдал это тем, что несколько раз был свидетелем многих убийств, и вспоминал утешительную пословицу: «В драке волос не жалеют». Не жалеют и голов.

Марина, прихлебывая чай, спокойно рассказывала:

— Головастик этот, Томилин, читал и здесь года два тому назад, слушала я его. Тогда он немножко не так рассуждал, но уже можно было предвидеть, что докатится и до этого. Теперь ему надобно будет православие возвеличить. Религиозные наши мыслители из интеллигентов неизбежно упираются лбами в двери казенной церкви,— простой, сыромятный народ самостоятельнее, оригинальнее.— И, прищурясь, усмехаясь, она сказала: — Грамотность — тоже не всякому на пользу.

Самгин курил, слушал и, как всегда, взвешивал свое отношение к женщине, которая возбуждала в нем противоречивые чувства недоверия и уважения к ней, неясные ему подозрения и смутные надежды открыть, понять что-то, какую-то неведомую мудрость. Думая о мудрости, он скептически усмехался, но все-таки думал. И всё более остро чувствовал зависть к самоуверенности Марины.

«Откуда она смотрит на жизнь?» — спрашивал он.—

Изредка она говорила с ним по вопросам религии,— говорила так же спокойно и самоуверенно, как обо всем другом. Он знал, что ее еретическое отношение к православию не мешает ей посещать церковь, и объяснял это тем, что нельзя же не ходить в церковь, торгуя церковной утварью. Ее интерес к религии казался ему не выше и не глубже интересов к литературе, за которой она внимательно следила. И всегда ее речи о религии начинались «между прочим», внезапно: говорит о чем-нибудь обыкновенном, будничном и вдруг:

— А знаешь, мне кажется, что между обрядом обрезания и скопчеством есть связь; вероятно, обряд этот

заменил кастрацию, так же как «козлом отпущения» заменили живую жертву богу.

— Никогда не думал об этом и не понимаю: почему это интересно? — сказал Самгин, а она, усмехаясь, вздохнула с явным и обидным сожалением:

— Эх ты...

В другой раз она долго и туманно говорила об Изиде, Сете, Озирисе. Самгин подумал, что ее, кажется, особенно интересуют сексуальные моменты в религии и что это, вероятно, физиологическое желание здоровой женщины поболтать на острую тему. В общем он находил, что размышления Марины о религии не украшают ее, а нарушают цельность ее образа.

Гораздо более интересовали его ее мысли о литературе.

— Насколько реализм был революционен — он уже сыграл свою роль,— говорила она.— Это была роль словесных стружек: вспыхнул костер и — погас! Буревестники и прочие птички больше не нужны. Видать, что писатели понимают: наступили годы медленного накопления и развития новых культурных сил. Традиция — писать об униженных и оскорбленных — отжила, оскорбленные-то показали себя не очень симпатично, даже — страшновато! И — кто знает? Вдруг они снова встряхнут жизнь? Положение писателя — трудное: нужно сочинять новых героев, попроще, поделовитее, а это — не очень ловко в те дни, когда старые герои еще не все отправлены на каторгу, перевешаны.

Самгин слушал и соображал: цинизм это или ирония?

В другой раз она говорила, постукивая пальцами по книжке журнала:

— Арцыбашев вовремя указал выход неиспользованной энергии молодежи. Очень прямодушный писатель! Санин его, разумеется, будет кумиром.

Это была явная ирония, но дальше она заговорила своим обычным тоном:

— Пророками — и надолго! — будут двое: Леонид Андреев и Сологуб, а за ними пойдут и другие, вот увидишь! Андреев — писатель, небывалый у нас по смелости, а что он грубоват — это не беда! От этого он только понятнее для всех. Ты, Клим Иванович, напрас-

но морщишься,— Андреев очень самобытен и силен. Разумеется, попроще Достоевского в мыслях, но, может быть, это потому, что он — цельнее. Читать его всегда очень любопытно, хотя заранее знаешь, что он скажет еще одно — нет! — Усмехаясь, она подмигнула:

— Все-таки согласись, что изобразить Иуду единственно подлинным среди двенадцати революционеров, искренно влюбленным в Христа,— это шуточка острая! И, пожалуй, есть в ней что-то от правды: предатель-то действительно становится героем. Ходит слушок, что у эсеров действует крупный провокатор.

Тон ее речи тревожил внимание Самгина более глубоко, чем ее мысли.

Теперь она говорила вопросительно, явно вызывая на возражения. Он, покуривая, откликался осторожно, междометиями и вопросами; ему казалось, что на этот раз Марина решила исповедовать его, выспросить, выпытать до конца, но он знал, что конец — точка, в которой все мысли связаны крепким узлом убеждения. Именно эту точку она, кажется, ищет в нем. Но чувство недоверия к ней давно уже погасило его желание откровенно говорить с нею о себе, да и попытки его рассказать себя он признал неудачными.

Он сознавал, что Марина занимает первое место в его жизни, что интерес к ней растет, становится настойчивей, глубже, а она — всё менее понятна. Непонятно было и ее отношение к литературе. Почему она так высоко ценит Андреева? Этот литератор неприятно раздражал Самгина назойливой однотонностью языка, откровенным намерением гипнотизировать читателя одноцветными словами; казалось, что его рассказы написаны слишком густо-черными чернилами и таким крупным почерком, как будто он писал для людей ослабленного зрения. Не понравился Самгину истерический и подозрительный пессимизм «Тьмы»; предложение героя «Тьмы» выпить за то, чтоб «все огни погасли», было возмутительно, и еще более возмутил Самгина крик: «Стыдно быть хорошим!» В общем же этот рассказ можно было понять как сатиру на литературный гуманизм. Иногда Самгину казалось, что Леонид Андреев досказывает до конца некоторые его мысли, огрубляя, упро-

щая их, и что этот писатель грубит иронически, мстительно. Самгин особенно расстроился, прочитав «Мысль»,— в этом рассказе он усмотрел уже неприкрыто враждебное отношение автора к разуму и с огорчением подумал, что вот и Андреев, так же как Томилин, опередил его. Но — не только опередил, а еще зажег странное чувство, сродное испугу. С этим чувством, скрывая его, Самгин спросил Марину: что думает она о рассказе «Мысль»?

— Да — что же? — сказала она, усмехаясь, покусывая яркие губы.— Как всегда — он работает топором, но ведь я тебе говорила, что на мой взгляд — это не грех. Ему бы архиереем быть,— замечательные сочинения писал бы против Сатаны!

— Ты всё шутишь,— хмуро упрекнул ее Самгин. Она удивилась, приподняла брови.

— Я вполне серьезно думаю так! Он — проповедник, как большинство наших литераторов, но он — законченнее многих, потому что не от ума, а по натуре проповедник. И — революционер, чувствует, что мир надобно разрушить, начиная с его основ, с традиций, догматов, норм.

Она тихонько засмеялась, глядя в лицо Самгина, прищурясь, потом сказала, покачивая головой:

— Не веришь ты мне! И забыл, что все-таки я — ученица Степана Кутузова и — миру этому не слуга.

— Это уж совершенно непонятно,— сердито проговорил Самгин, пожимая плечами.

— Ну, что же я сделаю, если ты не понимаешь? — отозвалась она, тоже как будто немножко сердясь.— А мне думается, что всё очень просто: господа интеллигенты почувствовали, что некоторые излюбленные традиции уже неудобны, тягостны и что нельзя жить, отрицая государство, а государство нестойко без церкви, а церковь невозможна без бога, а разум и вера несоединимы. Ну, и получается иной раз, в поспешных хлопотах реставрации, маленькая, противоречивая чепуха.

Она взяла с дивана книгу, открыла ее:

— «Мелкого беса» читал?

— Нет еще.

— Ну, вот, погляди, как строго реалистически говорит символист.

— «Люди любят, чтоб их любили,— с удовольствием начала она читать.— Им нравится, чтоб изображались возвышенные и благородные стороны души. Им не верится, когда перед ними стоит верное, точное, мрачное, злое. Хочется сказать: „Это он о себе". Нет, милые мои современники, это я о вас писал мой роман о мелком бесе и жуткой его недотыкомке. О вас».

Хлопнув книгой по колену, она сказала:

— Над этим стоит подумать! Тут не в том смысл, что бесы Сологуба значительно уродливее и мельче бесов Достоевского, а — как ты думаешь: в чем? Ах, да, ты не читал! Возьми, интересно.

Самгин взял книгу и, не глядя на Марину, перелистывая страницы, пробормотал:

— И все-таки остается неясным, что ты хотела сказать.

Марина не ответила. Он взглянул на нее,— она сидела, закинув руки за шею; солнце, освещая голову ее, золотило нити волос, розовое ухо, румяную щеку; глаза Марины прикрыты ресницами, губы плотно сжаты. Самгин невольно загляделся на ее лицо, фигуру. И еще раз подумал с недоумением, почти со злобой: «Чем же все-таки она живет?»

Он всё более определенно чувствовал в жизни Марины нечто таинственное или, по меньшей мере, странное. Странное отмечалось не только в противоречии ее политических и религиозных мнений с ее деловой жизнью,— это противоречие не смущало Самгина, утверждая его скептическое отношение к «системам фраз». Но и в делах ее были какие-то темные места.

Зимою Самгин выиграл в судебной палате процесс против родственников купца Коптева — «менялы» и ростовщика; человек этот помер, отказав Марине по духовному завещанию тридцать пять тысяч рублей, а дом и остальное имущество — кухарке своей и ее паралличному сыну. Коптев был вдов, бездетен, но нашлись дальние родственники и возбудили дело о признании наследователя ненормальным, утверждая, что у Коптева не было оснований дарить деньги женщине, кото-

рую он видел, по их сведениям, два раза, и обвиняя кухарку в «сокрытии имущества». Марина сказала, что Коптев был близким приятелем ее супруга и что истцы лгут, говоря, будто завещатель встречался с нею только дважды.

— Глупость какая! — пренебрежительно сказала она.— Что же они — следили за его встречами с женщинами?

В этих словах Самгину послышалась нотка цинизма. Духовное завещание было безукоризненно с точки врения закона, подписали его солидные свидетели, а иск — вздорный, но все-таки у Самгина осталось от этого процесса впечатление чего-то необычного. Недавно Марина вручила ему дарственную на ее имя запись: девица Анна Обоимова дарила ей дом в соседнем губернском городе. Передавая документ, она сказала тем ленивым тоном, который особенно нравился Самгину:

— Кажется, в доме этом помещено какое-то училище или прогимназия,— ты узнай, не купит ли город его, дешево возьму!

— Что это — всё дарят, завещают тебе? — шутливо спросил он. Она небрежно ответила:

— Значит — любят.— Подумав, она сказала: — Нет, о продаже не заботься, я Захара пошлю.

Девица Анна Обоимова оказалась маленькой, толстенькой, с желтым лицом и, видимо, очарованной чем-то: в ее бесцветных глазах неистребимо застыла мягкая, радостная улыбочка, дряблые губы однообразно растягивались и сжимались бантиком,— говорила она обо всем вполголоса, как о тайном и приятном; умильная улыбка не исчезла с лица ее и тогда, когда девица сообщила Самгину:

— А брат и воспитанник мой, Саша, пошел, знаете, добровольцем на войну, да по дороге выпал из вагона, убился.

Ей было, вероятно, лет пятьдесят; затянутая в шерстяное платье мышиного цвета, гладко причесанная, в мягких ботинках, она двигалась осторожно, бесшумно и вызвала у Самгина вполне определенное впечатление — слабоумная.

Около нее ходил и ворковал, точно голубь, тощий лысоватый человек в бархатном пиджаке, тоже ласковый, тихий, с приятным лицом, с детскими глазами и темной аккуратной бородкой.

— А это — племянник мой,— сказала девица.

— Донат Ястребов, художник, бывший преподаватель рисования, а теперь — бездельник, рантье, но не стыжусь! — весело сказал племянник; он казался немногим моложе тетки, в руке его была толстая и, видимо, тяжелая палка с резиновой нашлепкой на конце, но ходил он легко. Таких людей Самгин еще не встречал, с ними было неловко, и не верилось, что они таковы, какими кажутся. Они очень интересовались здоровьем Марины, спрашивали о ней таинственно и влюбленно и смотрели на Самгина глазами людей, которые понимают, что он тоже всё знает и понимает. Жили они на Малой Дворянской, очень пустынной улице, в особняке, спрятанном за густым палисадником,— большая комната, где они приняли Самгина, была набита мебелью, точно лавка старьевщика.

Пришел Захарий — озабоченный, потный. Ястребов подбежал к нему, спрашивая торопливо:

— Ну, что, что?

— Взятку надобно дать,— устало сказал Захарий.

— Взяточку,— слышите, Аннушка? Взяточку просят,— с радостью воскликнул Ястребов.— Значит, дело в шляпе! — И, щелкнув пальцами, он засмеялся сконфуженно, немножко пискливо. Захарий взял его под руку и увел куда-то за дверь, а девица Обоимова, с неизменной улыбкой покачав головой, сказала Самгину:

— Все такие жадные, что даже стыдно иметь что-нибудь...

Самгин зашел к ней, чтоб передать письмо и посылку Марины. Приняв письмо, девица поцеловала его и всё время, пока Самгин сидел, она держала письмо на груди, прижав его ладонью против сердца.

«Что значат эти подарки со стороны каких-то слабоумных людей?» — размышлял Самгин.

Он был не очень уверен в своей профессиональной ловкости и проницательности, а после визита к девице Обоимовой у него явилось опасение, что Марина может

скомпрометировать его, запутав в какое-нибудь темное дело. Он стал замечать, что, относясь к нему всё более дружески, Марина вместе с тем постепенно ставит его в позицию служащего, редко советуясь с ним о делах. В конце концов он решил серьезно поговорить с нею обо всем, что смущало его.

К этой неприятной и нелегкой для него задаче он приступил у нее на дому, в ее маленькой уютной комнате. Осенний вечер сумрачно смотрел в окна с улицы и в дверь с террасы; в саду, под красноватым небом, неподвижно стояли деревья, уже раскрашенные утренними заморозками. На столе, как всегда, кипел самовар,— Марина, в капоте в кружевах, готовя чай, говорила, тоже как всегда,— спокойно, усмешливо:

— Если б столыпинскую реформочку ввели в 61 году, ну, тогда, конечно, мы были бы далеко от того места, где стоим, а теперь — что будет? Зажиточному хозяину руки развязаны, он отойдет из общины в сторонку и оттуда даже с бóльшим удобством начнет деревню сосать, а она — беднеть, хулиганить. Значит, милый друг, надобно фабричный котел расширять в расчете на миллионы дешевых рук. Вот чему революция-то учит! Я переписываюсь с одним англичанином,— в Канаде живет, сын приятеля супруга моего,— он очень хорошо видит, что надобно делать у нас...

— Дальнозорок,— сказал Самгин.

Подвинув ему стакан чаю, Марина вкусно засмеялась:

— Лидия — смешная! Проклинала Столыпина, а теперь — благословляет. Говорит: «Перестроимся по-английски; в центре — культурное хозяйство крупного помещика, а кругом — кольцо фермеров». Замечательно! В Англии — не была, рассуждает по романам, по картинкам.

Самгин уже привык верить ее чутью действительности, всегда внимательно прислушивался к ее суждениям о политике, но в этот час политика мешала ему.

— Прости, я перебиваю тебя,— сказал он.

— Что за церемонии?

— Что такое эта старушка Обоимова?

Марина подняла брови, глаза ее смеялись.

— Чем это она заинтересовала тебя?

— Нет, — серьезно! — сказал Самгин. — Она и этот ее...

— Ястребов?

— Показались мне слабоумными...

— Ну, это — слишком! — возразила Марина, прикрыв глаза.— Она — сентиментальная старая дева, очень несчастная, влюблена в меня, а он — ничтожество, лентяй. И враль — выдумал, что он художник, учитель и богат, а был таксатором, уволен за взятки, судился. Картинки он малюет, это верно.

Она вдруг замолчала и, вскинув голову, глядя в упор в лицо Самгина, сказала, блеснув глазами:

— Впрочем, я чувствую, что ты смущен, и, кажется, понимаю, чем смущен.

Ресницы ее дрожали, и казалось, что зрачки искрятся, голос ее стал ниже, внушительней; помешивая ложкой чай, она усмехнулась небрежно и неприятно, говоря:

— Ну, что ж? Очевидно — пришел час разоблачить тайны и загадки.

Помолчав, глядя через голову Самгина, она спросила:

— Ты «Размышления Якова Тобольского», иначе — Уральца, не читал? Помнишь,— рукопись, которую в Самаре купил. Не читал? Ну — конечно. Возьми, прочитай! Сам-то Уралец размышляет плохо, но он изложил учение Татариновой,— была такая монтанка, основательница секты купидонов...

— Не понимаю, какое отношение к моему вопросу,— сердито начал Самгин, но Марина сказала:

— Вот и поймешь.

— Что?

— Что я — тоже монтанка.

Самгин долго, тщательно выбирал папиросу и, раскуривая ее, определял,— как назвать чувство, которое он испытывает? А Марина продолжала всё так же небрежно и неохотно:

— Монтане — это не совсем правильно, Монтан тут ни при чем; люди моих воззрений называют себя — духовными...

«Сектантка? — соображал Самгин.— Это похоже на правду. Чего-то в этом роде я и должен был ждать от нее». Но он понял, что испытывает чувство досады, разочарования и что ждал от Марины вовсе не этого. Ему понадобилось некоторое усилие для того, чтоб спросить:

— Значит, ты... член сектантской организации?

— Я — кормщица корабля.

Она сказала это очень просто и как будто не гордясь своим чином, затем — продолжала с обидным равнодушием:

— Попы, по невежеству своему, зовут кормщиков — христами, кормщиц — богородицами. А организация,— как ты сказал,— есть церковь, и немалая, живет почти в четырех десятках губерний, в рассеянии,— покамест, до времени...

Пододвигая Самгину вазу с вареньем, а другою рукой придерживая ворот капота, она широко улыбнулась:

— Ой, как ты смешно мигаешь! И лицо вытянулось. Удивлен? Но — что же ты, милый друг, думал обо мне?

Правая рука ее была обнажена по локоть, левая — почти до плеча. Капот как будто сполз с нее. Самгин, глядя на дымок папиросы, сказал, не скрывая сожаления:

— Согласись, что это — неожиданно для меня. И вообще — крайне странно!

— Ну, разумеется! — откликнулась она.— Проще было бы, если б оказалось, что я содержу тайный дом свиданий...

— Понятней для меня ты не стала,— пробормотал Самгин с досадой, но и с печалью.— Такая умная, красивая. Подавляюще красивая...

Говоря, он не смотрел на нее, но знал, что ее глаза блестят иронически.

— Даже — подавляю? — спросила она. — Вот как?..— И внушительно произнесла:

— «Сократы, Зеноны и Диогены могут быть уродами, а служителям культа подобает красота и величие»,— знаешь, кто сказал это?

— Нет,— ответил Самгин, оглядываясь,— всё вокруг как будто изменилось, потемнело, сдвинулось теснее, а Марина — выросла. Она спрашивала его, точно ученика,— что он читал по истории мистических сект, по истории церкви? Его отрицательные ответы смешили ее.

— Может быть, читал хоть роман Мельникова «На горах»?

— «В лесах» — читал.

— Ну, это — хорошо, что «На горах» не читают; там автор писал о том, чего не видел, и наплел чепухи. Все-таки — прочитай.

— Чепуху? — спросил Самгин.

— Знать надобно всё, тогда, может быть, что-нибудь узнаешь,— сказала она, смеясь.

Этот смех, вообще — неуместный, задевал в Самгине его чувство собственного достоинства, возбуждал желание спорить с нею, даже резко спорить, но воле к сопротивлению мешали грустные мысли:

«Она очень свободно открывает себя предо мною. Я — ничего не мог сказать ей о себе, потому что ничего не утверждаю. Она — что-то утверждает. Утверждает — нелепость. Возможно, что она обманывает себя сознательно, для того чтоб не видеть бессмыслицы. Ради самозащиты против мелкого беса...»

У нее распустилась прическа, прядь волос упала на плечо и грудь,— Марина говорила вполголоса:

— Тогда Саваоф, в скорби и отчаянии, восстал против Духа и, обратив взор свой на тину материи, направил в нее злую похоть свою, отчего и родился сын в образе змия. Это есть — Ум, он же — Ложь и Христос, от чего — всё зло мира и смерть. Так учили они...

«Это, конечно, мистическая чепуха,— думал Самгин, разглядывая Марину исподлобья, сквозь стекла очков.— Не может быть, чтоб она верила в это».

— И радость — радения о Духе — была убита умом...

— Радение? — спросил Самгин.— Это — кажется, нечто вроде афинских ночей или черной мессы?

— Грязная выдумка попов,— спокойно ответила

Марина, но тотчас же заговорила полупрезрительно, резко:

— До чего вы, интеллигенты, невежественны и легковерны во всем, что касается духа народа! И сколько впитано вами церковного яда... и — ты, Клим Иванович! Сам жаловался, что живешь в чужих мыслях, угнетен ими...

Нахмурясь, Самгин сказал:

— Не помню... сомневаюсь, чтоб я жаловался! Но если и так, то ведь и ты не можешь сказать, что живешь своими мыслями...

— Почему — не могу? — спросила она, усмехаясь.— Какие у тебя основания утверждать, что — не могу? Разве ты знаешь, что прочитано, что выдумано мною? А кроме того: прочитать — еще не значит поверить и принять...

Она как-то воинственно встряхнулась, забросила волосы за плечо и сказала весьма решительно:

— Ну — довольно! Я тебе покаялась, исповедовалась, теперь ты знаешь, кто я. Уж разреши просить, чтобы всё это — между нами. В скромность, осторожность твою я, разумеется, верю, знаю, что ты — конспиратор, умеешь молчать и о себе и о других. Но — не проговорись как-нибудь случайно Валентину, Лидии.

Несколько секунд она молчала, закрыв глаза,— Самгин успел пробормотать:

— Предупреждение совершенно излишне...

— Годится, на всякий случай,— сухо откликнулась она.— Теперь — о делах Контева, Обоимовой. Предупреждаю: дела такие будут повторяться. Каждый член нашей общины должен, посмертно или при жизни,— это в его воле,— сдавать свое имущество общине. Брат Обоимовой был членом нашей общины, она — из другой, но недавно ее корабль соединился с моим. Вот и всё...

Самгин, подумав, сказал:

— Мне остается поблагодарить тебя за доверие.— И неожиданно для себя прибавил: — У меня действительно были какие-то... мутные мысли!

— Если они исчезли, это — хорошо,— заметила Марина.

— Да, исчезли,— подтвердил он и, так как она молчала, прихлебывая чай, сказал недоуменно: — Ты не обидишься, если я скажу... повторю, что все-таки трудно понять, как ты, умница такая...

Марина не дала ему договорить,— поставив чашку на блюдце, она сжала пальцы рук в кулак, лицо ее густо покраснело, и, потрясая кулаком, она проговорила глуховатым голосом:

— Я ненавижу поповское православие, мой ум направлен на слияние всех наших общин — и сродных им — в одну. Я — христианство не люблю,— вот что! Если б люди твоей... касты, что ли, могли понять, что такое христианство, понять его воздействие на силу воли...

Самгин не вслушиваясь в ее слова, смотрел на ее лицо,— оно не стало менее красивым, но явилось в нем нечто незнакомое и почти жуткое: ослепительно сверкали глаза, дрожали губы, выбрасывая приглушенные слова, и тряслись, побелев, кисти рук. Это продолжалось несколько секунд. Марина, разняв руки, уже улыбалась, хотя губы еще дрожали.

— Вот как разбередил ты меня! — сказала она, оправляя кружева на груди.

Самгин сочувственно улыбнулся, не находя, что сказать, и через несколько минут, прощаясь с нею, ощутил желание поцеловать ей руку, чего никогда не делал. Он не мог себе представить, что эта женщина, равнодушная к действительности, способна ненавидеть что-то.

«Вот как? — оглушенно думал он, идя домой, осторожно спускаясь по темной, скупо освещенной улице от фонаря к фонарю.— Но если она ненавидит, значит — верит, а не забавляется словами, не обманывает себя надуманно. Замечал я в ней что-нибудь искусственное?» — спросил он себя и ответил отрицательно.

Всё, что он слышал, было совершенно незначительно в сравнении с тем, что он видел. Цену слов он знал и не мог ценить ее слова выше других, но в памяти его глубоко отчеканилось ее жутковатое лицо и горячий, страстный блеск золотистых глаз.

«Да, она объяснила себя, но — не стала понятней,

нет! Она объяснила свое поведение, но не противоречие между ее умом и...верованиями».

Недели две он жил под впечатлением этого неожиданного открытия. Казалось, что Марина относится к нему суше, сдержаннее, но как будто еще заботливей, чем раньше. Не назойливо, мимоходом, она справлялась, доволен ли он работой Миши, подарила ему отличный книжный шкаф, снова спросила: не мешает ли ему Безбедов?

Нет, Безбедов не мешал, он почему-то приуныл, стал молчаливее, реже попадал на глаза и не так часто гонял голубей. Блинов снова загнал две пары его птиц, а недавно, темной ночью, кто-то забрался из сада на крышу с целью выкрасть голубей и сломал замок голубятни. Это привело Безбедова в состояние мрачной ярости; утром он бегал по двору в ночном белье, несмотря на холод, неистово ругал дворника, прогнал горничную, а затем пришел к Самгину пить кофе и, желтый от злобы, заявил:

— Подожгу флигель,— к чёрту всё!

— Предупредите меня об этом за день, чтоб я успел выехать из квартиры,— серьезно и не глядя на него сказал Самгин,— голубятник помолчал и так же серьезно прохрипел:

— Ладно.

Вслед за тем его взорвало:

— Р-россия, чёрт ее возьми! — хрипел он, задыхаясь.— Везде — воры и чиновники! Попы, лакеи, извозчики, дворники, все — чиновники! Служащие. Кому служат? Сатане, что ли? Сатана — тоже чиновник.

Самгин пил кофе, читая газеты, и не следил за глупостями неприятного гостя, но тот вдруг заговорил тише и как будто разумнее:

— Этот парижский пижон, Турчанинов, правильно сказал: «Для человека необходима отвлекающая точка». Бог, что ли, музыка, игра в карты...

Посмотрев на него через газету, Самгин сказал:

— А — голуби?

— А голубям — башки свернуть. Зажарить. Нет,— в самом деле,— угрюмо продолжал Безбедов.— До самоубийства дойти можно. Вы идете лесом или — всё

равно — полем, ночь, темнота, на земле, под ногами, какие-то шишки. Кругом — чертовщина: революции, экспроприации, виселицы, и... вообще — деваться некуда! Нужно, чтоб пред вами что-то светилось. Пусть даже и не светится, а просто: существует. Да — чёрт с ней — пусть и не существует, а выдумано, вот — чертей выдумали, а верят, что они есть.

Он шумно встал и ушел. Болтовня его не оставила следа в памяти Самгина.

А Миша постепенно вызывал чувство неприязни к нему. Молчаливый, скромный юноша не давал явных поводов для неприязни, он быстро и аккуратно убирал комнаты, стирал пыль не хуже опытной и чистоплотной горничной, переписывал бумаги почти без ошибок, бегал в суд, в магазины, на почту, на вопросы отвечал с предельной точностью. В свободные минуты сидел в прихожей на стуле у окна, сгибаясь над книгой.

— Что читаешь? — спрашивал Самгин.

— Журнал «Современный мир», книгу третью, роман Арцыбашева «Санин».

Самгин внушал ему:

— Отвечая, не следует вставать предо мною: ты — не солдат, я — не офицер.

— Хорошо,— сказал Миша и больше не вставал, лишив этим Самгина единственной возможности делать ему выговоры, а выговоры делать хотелось, и — нередко. Неосновательность своего желания Самгин понимал, но это не уменьшало настойчивости желания. Он спрашивал себя:

«Что неприятно мне в этом мальчишке?»

И нашел, что неприятен прямой, пристальный взгляд красивых, но пустовато светлых глаз Миши, взгляд — как бы спрашивающий о чем-то, хотя и почтительно, однако — требовательно. Всё чаще бывало так, что, когда Миша, сидя в углу приемной, переписывал бумаги, Самгину казалось, что светлые прозрачные глаза следят за ним.

— Затвори дверь ко мне в кабинет,— приказывал он.

Еще более неприятно было установить, что его отношение к Мише совпадает с отношением Безбедова, кото-

рый смотрел на юношу, дико выкатывая глаза, с неприкрытой злостью и говорил с ним презрительно, рычащими словами.

«Не стоит обращать на это внимания»,— уговаривал он себя. От этих и вообще от всех мелких мыслей его успешно отвлекали размышления о Марине. Он пытался определить: проще или сложнее стало его отношение к этой женщине? То, что ему казалось в ней здравым смыслом,— ее деловитость, независимая и даже влиятельная позиция в городе, ее начитанность,— всё это заставляло его забывать, что Марина — сектантка, какая-то «кормщица», «богородица». Он решил, что это, вероятно, игра воли к власти, выражение желания кем-то командовать, может быть, какое-то извращение сладострастия,— игра красивого тела.

«Идол»,— напоминал он себе.

Но этому противоречил взрыв гнева, которым она так поразила его.

«Она тверда и неподвижна, точно камень среди ручья; тревоги жизни обтекают ее, не колебля, но — что же она ненавидит? Христианство, сказала она».

Всё чаще ему казалось, что знакомство с Мариной имеет для него очень глубокое, решающее значение, но он не мог или не решался определить: какое именно?

«Я слишком много думаю о ней и, кажется, преувеличиваю, раздуваю ее»,— останавливал он себя, но уже безуспешно.

На днях она сказала ему:

— Утихомирится житьишко,— поеду за границу, посмотрю — что такое? В Англию поеду...

Было очень трудно представить, что ее нет в городе. В час предвечерний он сидел за столом, собираясь писать апелляционную жалобу по делу очень сложному, и, рисуя пером на листе бумаги мощные контуры женского тела, думал:

«Будь я романистом...»

Начал он рисовать фигуру Марины маленькой, но постепенно, незаметно всё увеличивал, расширял ее и, когда испортил весь лист,— увидал пред собой ряд женских тел, как бы вставленных одно в другое и заклю-

ченных в чудовищную фигуру с уродливыми формами.

«Да, будь я писателем, я изобразил бы ее как тип женщины из новой буржуазии».

Перевернув испорченный лист, он снова нарисовал Марину, какой воображал ее, дал в руку кадуцей Меркурия, приписал крылышки на ногах и вдруг вспомнил слова Безбедова об «отвлекающей точке». Бросив перо, он снял очки, прошелся по комнате, закурил папиросу, лег на диван. Да, Марина отвлекает на себя его тревожные мысли, она — самое существенное в жизни его, и если раньше он куда-то шел, то теперь остановился пред нею или рядом с ней. Он предпочел бы не делать этого открытия, но, сделав, признал, что — верно: он стал относиться спокойнее к жизни и проще, более терпимо к себе. Несомненно — это ее влияние. Самгин вздохнул, поправил подушку под головой. У стены, на стуле, стояло небольшое овальное зеркало в потускневшей золотой раме — подарок Марины, очень простая и красивая вещь; Миша еще не успел повесить зеркало в спальной. Сквозь предвечерний сумрак Самгин видел в зеркале крышу флигеля с полками, у трубы, для голубей, за крышей — голые ветви деревьев.

Отражалось в зеркале и удлиненное, остробородое лицо в очках, а над ним — синенькие струйки дыма папиросы; они очень забавно ползают по крыше, путаются в черных ветвях дерева.

«Чем ей мешает христианство? — продолжал Самгин обдумывать Марину.— Нет, это она сказала не от ума,— а разгневалась, должно быть, на меня... В будущем году я тоже съезжу за границу...»

Дым в зеркале стал гуще, перекрасился в сероватый, и было непонятно — почему? Папироса едва курилась. Дым краснел, а затем под одной из полок вспыхнул острый, красный огонь,— это могло быть отражением лучей солнца.

Но Самгин уже знал: начинается пожар,— ленты огней с фокусной быстротою охватили полку и побежали по коньку крыши, увеличиваясь числом, вырастая; желтые, алые, остроголовые, они, пронзая крышу, убегали всё дальше по хребту ее и весело кланялись в обе стороны. Самгин видел, что лицо в зеркале нахму-

рилось, рука поднялась к телефону над головой, но, не поймав трубку, опустилась на грудь.

«Пожар,— строго внушил он себе.— Этот негодяй — поджег».

Не отрывая глаз от игры огня, Самгин не чувствовал естественной в этом случае тревоги; это удивило его и потребовало объяснения.

«Первый раз вижу, как возникает пожар,— объяснил он.— Нужно позвонить».

Но — не пошевелился. Приятно было сознавать, что он должен позвонить пожарной команде, выбежать на двор, на улицу, закричать,— должен, но может и не делать этого.

«Могу,— сказал он себе и улыбнулся отражению в зеркале.— Дела и книги успею выбросить в окно».

Но все-таки он позвонил; из пожарной части ему сказали кратко и сердито:

— Знаем.

Зеркало, густо покраснев, точно таяло,— почти половина хребта крыши украсилась огнями, красные клочья отрывались от них, исчезая в воздухе.

Когда Самгин выбежал на двор, там уже суетились люди,— дворник Панфил и полицейский тащили тяжелую лестницу, верхом на крыше сидел, около трубы, Безбедов и рубил тес. Он был в одних носках, в черных брюках, в рубашке с накрахмаленной грудью и с незастегнутыми обшлагами; обшлага мешали ему, ерзая по рукам от кисти к локтям; он вонзил топор в крышу и, обрывая обшлага, заревел:

— Воды-ы!

«Испугался, идиот,— подумал Самгин.— Или жалко стало?»

К Безбедову влез длинный, тощий человек в рыжей фуфайке, как-то неестественно укрепился на крыше и, отдирая доски руками, стал метать их вниз, пронзительно вскрикивая:

— Бер-регись, бер-регися-а!

А рядом с Климом стоял кудрявый парень, держа в руках железный лом, и — чихал; чихнет, улыбнется Самгину и, мигая, пристукивая ломом о булыжник, ждет следующего чиха. Во двор, в голубоватую кисею

дыма, вбегали пожарные, влача за собою длинную змею с медным жалом. Стучали топоры, трещали доски, падали на землю, дымясь и сея золотые искры; полицейский пристав Эгге уговаривал зрителей:

— Разойдитесь, господа!

Серебряная струя воды выгоняла из-под крыши густейшие облака бархатного дыма, всё было необыкновенно оживлено, весело, и Самгин почувствовал себя отлично. Когда подошел к нему Безбедов, облитый водою с головы до ног, голый по пояс, он спросил его:

— Голуби — погибли?

Безбедов махнул рукой.

— К чёрту! А я собрался в гости, на именины, одеваюсь и — вот... Все задохнулись, ни один не вылетел.

Лицо у него было мокрое, вся кожа как будто сочилась грязными слезами, дышал он тяжело, широко открывая рот, обнажая зубы в золотых коронках.

— Как это случилось? — спросил Самгин, неожиданно для себя строгим тоном.

Безбедов, поднимаясь на крышу, проворчал:

— Не знаю. Огонь — вор.

И, плюнув, повторил:

— Вор.

Чувствовалось, что Безбедов искренно огорчен, а не притворяется. Через полчаса огонь погасили, двор опустел, дворник закрыл ворота; в память о неудачном пожаре остался горький запах дыма, лужи воды, обгоревшие доски и, в углу двора, белый обшлаг рубахи Безбедова. А еще через полчаса Безбедов, вымытый, с мокрой головою и надутым, унылым лицом, сидел у Самгина, жадно пил пиво и, поглядывая в окно на первые звезды в черном небе, бормотал:

— Вот увидите, завтра Блинов с утра начнет гонять, чтобы подразнить меня...

Самгин давно не беседовал с ним, и антипатия к этому человеку несколько растворилась в равнодушии к нему. В этот вечер Безбедов казался смешным и жалким, было в нем даже что-то детское. Толстый, в синей блузе с незастегнутым воротом, с обнаженной белой

пухлой шеей, с безбородым лицом, он очень напоминал «Недоросля» в изображении бесталанного актера. В его унылой воркотне слышалось нечто капризное.

«Нет, он не поджигал, неспособен»,— решил Самгин, слушая.

— Завидую вам,— всё у вас продумано, решено, и живете вы у Христа за пазухой, спокойно. А вот у меня — бури в душе...

Самгин улыбался, заботясь вежливо, чтоб улыбки казались не очень обидными. Безбедов вздохнул.

— К этому пиву — раков бы... Да, бури! Дым и пыль. Вот — вы людей защищаете, в газете речь вашу хвалили. А я людей — не люблю. Все они — дрянь, и защищать некого.

— Ну, полноте! — сказал Самгин,— вовсе вы не такой свирепый...

— Такой! — возразил Безбедов, хлопнул ладонью о подоконник, сморщился и замахал ладонью в воздухе, чтоб охладить ее.— Мне, знаете, следовало бы террористом быть, анархистом, да ленив я, вот что! И дисциплина там у них, казарма.

В его стакан бросилась опоздавшая умереть муха,— вылавливая ее из пены мизинцем, он продолжал, возбуждаясь:

— Хороших людей я не видал. И не ожидаю, не хочу видеть. Не верю, что существуют. Хороших людей — после смерти делают. Для обмана.

— Расстроила вас потеря голубей, вот вы и ворчите,— заметил Самгин, чувствуя, что этот дикарь начинает надоедать, а Безбедов, выпив пиво, упрямо говорил, глядя в пустой стакан:

— Маркович, ювелир, ростовщик — насыпал за витриной мелких дешевеньких камешков, разного цвета, а среди них бросил пяток крупных. Крупные-то — фальшивые, я — знаю, мне это Левка, сын его, сказал. Вот вам и хорошие люди! Их выдумывают для поучения, для меня: «Стыдись, Валентин Безбедов!» А мне — нисколько не стыдно.

Встряхнув головою и глядя в упор на Самгина, он вызывающе просипел:

— Не стыдно.

— Ну, если б не стыдно было, так вы — не говорили бы на эту тему,— сказал Самгин. И прибавил поучительно: — Человек беспокоится потому, что ищет себя. Хочет быть самим собой, быть в любой момент верным самому себе. Стремится к внутренней гармонии.

— Гармония — гармонией, а — кто на ней играет? — спросил Безбедов, широко и уродливо усмехаясь.

Самгин нахмурился, говоря:

— Плохой каламбур.

— А если я не хочу быть самим собой? — спросил Безбедов и получил в ответ два сухих слова:

— Ваша воля.

Несколько секунд Безбедов молчал, разглядывая собеседника, его голубые стеклянные зрачки стали как будто меньше, острей; медленно раздвинув толстые губы в улыбку, он сказал:

— Ну — вас не обманешь! Верно, мне — стыдно, живу я, как скот. Думаете,— не знаю, что голуби — ерунда? И девки — тоже ерунда. Кроме одной, но она уж наверное — для обмана! Потому что — хороша! И может меня в руки взять. Жена была тоже хороша и — умная, но — тетка умных не любит...

Он прервал свою речь, так хлопнув губами, точно откупорил бутылку, быстро взглянул на Клима и, наливая пиво в стакан, пробормотал:

— Они ссорились. Тетка и жена...

«Пьянеет»,— отметил Самгин и насторожился, ожидая, что Безбедов начнет говорить о Марине. Но он, сразу выпив пиво, заговорил, брызгая пеной с губ:

— А может быть, о стыде я зря говорю, для приличия. Арцыбашева — читаете? Вот это честный писатель, небывало честный! Он, по-моему, человека из подполья,— Достоевского-то человека,— вывел на свободу окончательно. Он прямо говорит: человек имеет право быть мерзавцем, это — его естественное назначение. Цель жизни — удовлетворение всех желаний, пусть они — злые, вредные для других, наплевать на других! Драка будет? Всё равно — деремся! А искренний человек, сильный человек — всегда мерзавец, с

общепринятой кочки зрения. Кочку эту выдумали слабенькие дураки для самозащиты. Вот как он говорит!

Всё это он сказал не свойственно ему быстро, и Самгин догадался, что Безбедов, видимо, испуган словами о Марине.

— Я не читал «Санина»,— заговорил он, строго взглянув на Безбедова.— В изложении вашем — роман его — грубая ирония, сатира на индивидуализм Ницше...

— Ну,— чёрт его знает, может быть, и сатира! — согласился Безбедов, но тотчас же сказал:— У Потапенко есть роман «Любовь», там женщина тоже предпочитает мерзавца этим... честным деятелям. Женщина, по-моему,— знает лучше мужчины вкус жизни. Правду жизни, что ли...

«Сейчас — о Марине»,— предупредил себя Самгин, чувствуя, что хмельная болтовня Безбедова возрождает в нем антипатию к этому человеку. Но выжить его было трудно, и соблазняла надежда услышать что-нибудь о Марине.

Он встал, прошелся по комнате и, остановясь перед книжным шкафом, закурил папиросу. Безбедов, качаясь на стуле, бормотал:

— Сатира, карикатура... Хм? Ну — ладно, дело не в этом, а в том, что вот я не могу понять себя. Понять — значит поймать.— Он хрипло засмеялся.— Я привык выдумывать себя то — таким, то — эдаким, а — в самом-то деле: каков я? Вероятно — ничтожество, но — в этом надобно убедиться. Пусть обидно будет, но надобно твердо сказать себе: ты — ничтожество и — сиди смирно!

Самгин невольно и крепко прикусил мундштук папиросы, искоса взглянул на карикатурную фигуру Безбедова и, постукивая пальцами по стеклу шкафа, мысленно выругался:

«Скотина».

— Даже хочется преступление совершить, только бы остановиться на чем-нибудь,— честное слово!

— Вот как,— неопределенно и негромко сказал Самгин, чувствуя, что больше не может терпеть присутствие этого человека.

— Уверяю вас,— откликнулся Безбедов.— Мне очень трудно, особенно теперь...

— Почему — теперь?

— Есть причина. Живу я где-то на задворках, в тупике. Людей — боюсь, вытянут и заставят делать что-нибудь... ответственное. А я не верю, не хочу. Вот — делают, тысячи лет делали. Ну, и — что же? Вешают за это. Остается возня с самим собой.

Самгин кашлянул и сказал, не отходя от шкафа:

— У меня голова разболелась...

— От дыма,— пояснил Безбедов, качнув головой.

— Пойду, пройдусь.

— Валяйте,— разрешил Безбедов и, вставая со стула, покачнулся.— Ну — и я пойду. Там у меня вода протекла... Ночую у девок, ничего...

Он пошел к двери, но круто повернулся, направляясь к Самгину и говоря голосом, пониженным до сиплого шёпота:

— Вы, Клим Иванович, с теткой в дружбе, а у меня к вам... есть... какое-то чувство... близости.

Подошел вплоть и, наваливаясь на Самгина, прижимая его к шкафу, пытаясь обнять, продолжал еще тише, со свистом, как бы сквозь зубы:

— Она — со всеми в дружбе, она — хитрейшая актриса, чёрт ее... Она выжмет человека и — до свидания! Она и вас...

— Я о ней другого мнения,— поспешно и громко сказал Самгин, отодвигаясь от пьяного, а тот, опустив руки, удивленно и трезво спросил:

— Что вы кричите? Я не боюсь. Другого? Ну — хорошо...

И пошел прочь, но, схватясь за косяк двери, остановился и проговорил, размахивая левой рукою:

— А красавец Мишка — шпиончик! Он приставлен следить за мной. И за вами. Уж это — так...

Самгин, проводив его взглядом, ошеломленно опустился на стул.

«Какая... пошлость!»

Слово «пошлость» он не сразу нашел, и этим словом значение разыгранной сцены не исчерпывалось. В неожиданной, пьяной исповеди Безбедова было что-то дву-

смысленное, подозрительно похожее на пародию, и эта двусмысленность особенно возмутила, встревожила. Он быстро вышел в прихожую, оделся, почти выбежал на двор и, в темноте, шагая по лужам, по обгоревшим доскам, решительно сказал себе:

«Переменить квартиру».

Но через несколько минут вдруг понял, что возмущение речами пьяного, в сущности, оскорбительно и унижает его.

«Чем я возмущен? Тем, что он сказал о Марине? Это — идиотская ложь. Марина менее всего — актриса».

Тут он невольно замедлил шаг,— в словах Безбедова было нечто, весьма похожее на то, что говорил Марине он, Самгин, о себе.

«Но не могла же она рассказать ему об этом!»

Он быстро, но очень придирчиво просмотрел отношение Марины к нему, к Безбедову.

«Возможно, даже наверное, она безжалостна к людям и хитрит. Она — человек определенной цели. У нее есть оправдание: ее сектантство, желание создать какую-то новую церковь. Но нет ничего, что намекало бы на неискренность ее отношения ко мне. Она бывает груба со мной на словах, но она вообще грубовата».

Он чувствовал, что Марину необходимо оправдать от подозрений, и чувствовал, что торопится с этим. Ночь была не для прогулок, из-за углов вылетал и толкал сырой холодный ветер, черные облака стирали звезды с неба, воздух наполнен печальным шумом осени.

В конце концов Самгин решил поговорить с Мариной о Безбедове и возвратился домой, заставив себя остановиться на словах Безбедова о Мише.

В этом решении было что-то удобное, и оно было необходимо. Разумеется, Марина не может нуждаться в шпионе, но — есть государственное учреждение, которое нуждается в услугах шпионов. Миша излишне любопытен. Лист бумаги, на котором Самгин начертил фигуру Марины и, разорвав, бросил в корзину, оказался на столе Миши, среди черновиков.

— Зачем ты это взял? — спросил Самгин.

— Мне понравилось,— ответил Миша.

— Что именно понравилось?

— Меркурий. Вы его нарисовали женщиной,— сказал Миша, глядя прямо в глаза.

«Честный взгляд»,— отметил Самгин и спросил еще: — А откуда ты знаешь о Меркурии?

— Я читал мифологию греков.

— Ага,— сказал Самгин и после этого, незаметно для себя, стал говорить с юношей на вы. Но хотя мифология, конечно, может интересовать юношу, однако ж юноша все-таки неприятен, и на новой квартире нужно будет взять другого письмоводителя. Того, что было сказано Безбедовым о Марине, Самгин не хотел помнить, но — помнил. Он стал относиться к ней более настороженно, недоверчиво вслушивался в ее спокойные, насмешливые речи, тщательнее взвешивал их и менее сочувственно принимал иронию ее суждений о текущей действительности; сами по себе ее суждения далеко не всегда вызывали его сочувствие, чаще всего они удивляли. Казалось, что Марина становится уверенней в чем-то, чувствует себя победоносней, веселее.

Самгину действительность изредка напоминала о себе неприятно: в очередном списке повешенных он прочитал фамилию Судакова, а среди арестованных в городе анархистов — Вараксина, «жившего под фамилиями Лосева и Ефремова». Да, это было неприятно читать, но, в сравнении с другими, это были мелкие факты, и память недолго удерживала их. Марина по поводу казней сказала:

— Хоть бы им, идиотам, намекнул кто-нибудь, что они воспитывают мстителей.

— Дума часто внушает им это,— сказал Самгин. Она резко откликнулась:

— Я под намеком подразумеваю не слова...

И глаза ее вспыхнули сердито. Вот эти ее резкости и вспышки, всегда внезапные, не согласные с его представлением о Марине, особенно изумляли Самгина.

Около нее появился мистер Лионель Крэйтон, человек неопределенного возраста, но как будто не старше сорока лет, крепкий, стройный, краснощекий; густые волнистые волосы на высоколобом черепе серого

цвета — точно обесцвечены перекисью водорода, глаза тоже серые и смотрят на всё так напряженно, как это свойственно людям слабого зрения, когда они не решаются надеть очки. Глаза — мягкие, улыбался он охотно, любезно, обнажая ровные желтоватые зубы,— от этой зубастой улыбки его бритое, приятное лицо становилось еще приятней. Знакомя его с Климом, Марина сказала:

— Инженер, геолог, в Канаде был, духоборов наших видел.

— О да! — подтвердил Крэйтон.— Люди очень — как это? — крепостные?..

— Крепкие? — подсказал Самгин.

— Да, спасибо! Но молодые — уже американцы.

По-русски он говорил не торопясь, проглатывая одни слога, выпевая другие,— чувствовалось, что он честно старается говорить правильно. Почти все фразы он облекал в форму вопросов:

— Так много церквей, это всё ортодоксы? И все исключили Льва Толстого? Изумруды на Урале добывают только французы?

Но спрашивал он мало, а больше слушал Марину, глядя на нее как-то подчеркнуто почтительно. Шагал по улицам мерным, легким шагом солдата, сунув руки в карманы черного мохнатого пальто, носил бобровую шапку с козырьком, и глаза его смотрели из-под козырька прямо, неподвижно, не мигая. Часто посещал церковные службы и, восхищаясь пением, говорил глубоким баритоном:

— Оу! Языческо прекрасно,— правда?

Так же восхищал его мороз:

— Это делает меня таким,— говорил он, показывая крепко сжатый кулак.

Было в нем что-то устойчиво скучное, упрямое. Каждый раз, бывая у Марины, Самгин встречал его там, и это было не очень приятно, к тому же Самгин замечал, что англичанин выспрашивает его, точно доктор — больного. Прожив в городе недели три, Крэйтон исчез.

Отвечая Самгину на вопросы о Крэйтоне, Марина сказала — неохотно и недружелюбно:

— Что я знаю о нем? Первый раз вижу, а он — косноязычен. Отец его — квакер, приятель моего супруга, помогал духоборам устраиваться в Канаде. Лионель этот,— имя-то на цветок похоже,— тоже интересуется диссидентами, сектантами, книгу хочет писать. Я не очень люблю эдаких наблюдателей, соглядатаев. Да и неясно: что его больше интересует — сектантство или золото? Вот в Сибирь поехал. По письмам он интереснее, чем в натуре.

Поговорить с нею о Безбедове Самгину не удавалось, хотя каждый раз он пытался начать беседу о нем. Да и сам Безбедов стал невидим, исчезая куда-то с утра до поздней ночи. Как-то, гуляя, Самгин зашел к Марине в магазин и застал ее у стола, пред ворохом счетов, с толстой торговой книгой на коленях.

— Деньги — люблю, а считать — не люблю, даже противно,— сердито сказала она.— Мне бы американской миллионершей быть, они, вероятно, денег не считают. Захарий у меня тоже не мастер этого дела. Придется взять какого-нибудь приказчика, старичка.

— Почему — старика? — шутливо спросил Самгин.

— Спокойнее,— ответила она, шурша бумагами.— Не ограбит. Не убьет.

— А какого дела мастер Захарий?

— Захарий-то? Да — никакого. Обыкновенный мечтатель и бродяга по трудным местам,— по трудным не на земле, а — в книгах.

Небрежно сбросив счета на диван, она оперлась локтями на стол и, сжав лицо ладонями, улыбаясь, сказала:

— Обижен на тебя Захарий, жаловался, что ты — горд, не пожелал объянить ему чего-то в Отрадном и с мужиками тоже гордо вел себя.

Самгин, пожав плечами, ответил:

— Я — тоже не мастер по части объяснений. Самому многое неясно. А с мужиками и вообще не умею говорить.

Марина перебила его речь, спросив:

— А Валентин жаловался на меня?

Самгин даже вздрогнул, почувствовав нечто подозрительное в том, что она предупредила его.

Ее глаза улыбались знакомо, но острее, чем всегда, и острота улыбки заставила его вспомнить о ее гневе на попов. Он заговорил осторожно:

— Он любит жаловаться на себя. Он вообще словоохотлив.

— Болтун,— вставила Марина.— Но поругивает и меня, да?

— Нет. Впрочем,— назвал тебя хитрой.

— Только-то?

Она тихонько и неприятно засмеялась, глядя на Самгина так, что он понял: не верит ему. Тогда, совершенно неожиданно для себя, он сказал вполголоса и протирая платком очки:

— Вечером, после пожара, он говорил... странно! Он как будто старался внушить мне, что ты устроила меня рядом с ним намеренно, по признаку некоторого сродства наших характеров и как бы в целях взаимного воспитания нашего...

Выговорив это, Самгин смутился, почувствовал, что даже кровь бросилась в лицо ему. Никогда раньше эта мысль не являлась у него, и он был поражен тем, что она явилась. Он видел, что Марина тоже покраснела. Медленно сняв руки со стола, она откинулась на спинку дивана и, сдвинув брови, строго сказала:

— Ну, это ты сам выдумал!

— Он был нетрезв,— пробормотал Самгин, уронив очки на ковер, и, когда наклонился поднять их, услышал над своей головой:

— Ты хочешь напомнить: «Что у трезвого — на уме, то у пьяного — на языке»? Нет, Валентин — фантазер, но это для него слишком тонко. Это — твоя догадка, Клим Иванович. И — по лицу вижу — твоя!

Скрестив руки на груди, занавесив глаза ресницами, она продолжала:

— Не знаю — благодарить ли тебя за такое высокое мнение о моей хитрости или — обругать, чтоб тебе стыдно стало? Но тебе, кажется, уже и стыдно.

Самгин чувствовал себя отвратительно.

«Веду я себя с нею глупо, как мальчишка»,— думал он.

Марина молчала, покусывая губы и явно ожидая: что он скажет?

Он сказал:

— Видишь ли — в его речах было нечто похожее на то, что я рассказывал тебе про себя...

— Еще лучше! — вскричала Марина, разведя руками, и, захохотав, раскачиваясь, спросила сквозь смех: — Да — что ты говоришь, подумай! Я буду говорить с ним — таким — о тебе! Как же ты сам себя ставишь? Это всё мизантропия твоя. Ну — удивил! А знаешь, это — плохо!

Несколько оправясь, Самгин заговорил:

— Я не мог не отметить некоторого, так сказать, пародийного совпадения...

— Оставь,— сказала Марина, махнув на него рукой.— Оставь — и забудь это.— Затем, покачивая головою, она продолжала тихо и задумчиво:

— До чего ты — странный человек! И чем так провинился пред собой, за что себя наказываешь?

Это было сказано очень хорошо, с таким теплым, искренним удивлением. Она говорила и еще что-то таким же тоном, и Самгин благодарно отметил:

«Так никто не говорил со мной». Мелькнуло в памяти пестрое лицо Дуняши, ее неуловимые глаза,— но нельзя же ставить Дуняшу рядом с этой женщиной! Он чувствовал себя обязанным сказать Марине какие-то особенные, тоже очень искренние слова, но не находил достойных. А она, снова положив локти на стол, опираясь подбородком о тыл красивых кистей рук, говорила уже деловито, хотя и мягко:

— Я спросила у тебя о Валентине вот почему: он добился у жены развода, у него — роман с одной девицей, и она уже беременна. От него ли, это — вопрос. Она — тонкая штучка, и вся эта история затеяна с расчетом на дурака. Она — дочь помещика,— был такой шумный человек, Радомыслов: охотник, картежник, гуляка; разорился, кончил самоубийством. Остались две дочери, эдакие, знаешь «полудевы», по Марселю Прево, или того хуже: «девушки для радостей»,— поют, играют, ну и всё прочее.

Сделав паузу, скрывая нервную зевоту, она про
должала в том же легком тоне:

— У Валентина кое-что есть и — немало, но — о
под опекой. По-вашему, юридически, это называется,-
если не ошибаюсь,— недееспособен. Опека наложен
по завещанию отца, за расточительность, опекун -
крестный его отец Логинов, фабрикант стекла, челове
старый, больной,— фактически опека в моих рука
Года три тому назад, когда Валентину минуло двадца
два, он, тайно от меня, подал прошение на высочайш
имя об отмене опеки, ему — отказали в этом. Первы
его брак не совсем законен, но жена оказалась умниц
и честным человеком... впрочем, это — неважно.

Устало вздохнув, Марина оглянулась, понизи
голос.

— Теперь Валентин затеял новую канитель,
им руководят девицы Радомысловы и веселые люди
кружка. Цель у них — ясная: обобрать болвана,
я уже сказала. Вот какая история. Он рассказы
тебе?

— Никогда, ни слова,— сказал Самгин, очень
вольный; что может сказать так решительно.

Почесывая нос мизинцем, она спросила:

— Флигель-то он сам поджег?

— Нет, не думаю.

— Грозил, что подожжет.

— Грозил? Кому?

— Мне. А — почему ты спросил?

— Я тоже слышал это от него,— признал Сам

Марина вздохнула:

— Вот видишь! Но это, конечно, озорство. В
с ним надоела мне, но — до тридцати лет я с
опеку не сниму, слово дала! Тебе надобно будет
няться этим делом...

Самгин наклонил голову,— она устало потянул
усмехаясь:

— Вообразил себя артистом на биллиарде, по
сот рублей проигрывал. На бегах играл, на петуш
боях, вообще — старался в нищие попасть. Впр
ты сам видишь, каков он...

— Да,— сказал Самгин.

Он ушел от Марины, чувствуя, что его отношение к ней стало определеннее.

«Как нелепо способен я вести себя»,— подумал он почти со стыдом, затем спросил себя: верил ли он кому-нибудь так, как верит этой женщине? На этот вопрос он не нашел ответа и задумался о том, что и прежде смущало его: вот он знает различные системы фраз, и среди них нет ни одной, внутренно сродной ему. Система фраз Марины тоже не трогает его, не интересует, особенно чужда. Но о чем бы ни говорила Марина, ее волевой тон, ее уверенность в чем-то неуловимом — действует на него оздоровляюще,— это он должен признать. И одним этим нельзя объяснить обаяния ее. Он нисколько не зависим от нее — женщины, красивое тело ее не будит в нем естественных эмоций мужчины, этим он даже готов был гордиться пред собою. И все-таки: в чем же скрыта ее власть над ним? На этот вопрос он не стал искать ответа, ибо, впервые откровенно признав ее власть, смутился. Пережитая сцена настроила его мягко, особенно ласково размягчали тихие слова: «За что наказываешь себя?»

Впечатление несколько отемнялось рассказом о Безбедове и необходимостью заняться неприятным делом против него по поводу опеки.

«Это — странное дело»,— подумал Самгин и вспомнил две строки чьих-то стихов:

Никогда в моей жизни я не пил
Капли счастья, не сдобренной ядом!

Но через десяток дней, прожитых в бережной охране нового, лирического настроения, утром явилась Марина:

— Миша,— ступай, скажи кучеру,— ехал бы к Лидии Тимофеевне, ждал меня там.

А когда юноша ушел, она оживленно воскликнула:

— Можешь представить — Валентин-то? Удрал в Петербург. Выдал вексель на тысячу рублей, получил за него семьсот сорок и прислал мне письмо: кается во грехах своих, роман зачеркивает, хочет наняться матросом на корабль и плавать по морям. Всё — врет,

конечно, поехал хлопотать о снятии опеки, Радомысловы научили.

— Что же ты думаешь делать? — спросил Самгин.

— А — ничего! — сказала она.— Вот — вексель выкуплю, Захария помещу в дом для порядка.— Удрал, негодяишка! — весело воскликнула она и спросила: — Разве ты не заметил, что его нет?

— Мы редко видим друг друга,— сказал Самгин.

— Он уже третьего дня в Москве был, письмо-то оттуда.

Она ушла во флигель, оставив Самгина довольным тем, что дело по опеке откладывается на неопределенное время. Так оно и было,— протекли два месяца — Марина ни словом не напоминала о племяннике.

Пред весною исчез Миша, как раз в те дни, когда для него накопилось много работы, и после того, как Самгин почти примирился с его существованием. Разозлясь, Самгин решил, что у него есть достаточно веский повод отказаться от услуг юноши. Но утром на четвертый день позвонил доктор городской больницы и сообщил, что больной Михаил Локтев просит Самгина посетить его. Самгин не успел спросить, чем болен Миша,— доктор повесил трубку; но приехав в больницу, Клим сначала пошел к доктору.

Большой, тяжелый человек в белом халате, лысый, с круглыми глазами на красном лице, сказал:

— Избит, но — ничего опасного нет, кости — целы. Скрывает, кто бил и где,— вероятно, в публичном, у девиц. Двое суток не говорил — кто он, но вчера я пригрозил ему заявить полиции, я же обязан! Приходит юноша, избитый почти до потери сознания, ну и... Время, знаете, требует... ясности!

Настроенный еще более сердито, Самгин вошел в большой белый ящик, где сидели и лежали на однообразных койках — однообразные люди, фигуры в желтых халатах; один из них пошел навстречу Самгину и, подойдя, сказал знакомым ровным голосом, очень тихо:

— Простите, что беспокою, Клим Иванович, но доктор не хочет выписать меня и угрожает заявить полиции, а это — не надо!

Голова и половина лица у него забинтованы, смотрел он в лицо Самгина одним правым глазом, глубоко врезанным под лоб, бледная щека дрожала, дрожали и распухшие губы.

«Боится меня»,— сообразил Самгин.

— Я не сделал ничего дурного, поверьте, вам это может подтвердить мой учитель...

— Учитель? — спросил Самгин.

— Да, Василий Николаевич Самойлов, готовит меня на аттестат зрелости. Я вполне могу работать...

Прислушиваясь, подходили, подкрадывались больные, душил запах лекарств, кто-то стонал так разнотонно и осторожно, точно учился делать это; глаз Миши смотрел прямо и требовательно.

— Вы хотите выписаться? Хорошо,— сказал Самгин. Миша осторожно отступил на шаг в сторону.

«Учится. Метит в университет,— а наскандалил где-то»,— думал Самгин, переговорив с доктором, шагая к воротам по дорожке больничного сада. В калитке ворот с ним столкнулся человек в легком не по сезону пальто, в шапке с наушниками.

— Кажется, господин Самгин? — спросил он и, не ожидая подтверждения, сказал: — Уделите мне пять минут.

Самгин взглянул в неряшливую серую бороду на бледном отечном лице и сказал, что — не имеет времени, просит зайти в приемные часы. Человек ткнул пальцем в свою шапку и пошел к дверям больницы, а Самгин — домой, определив, что у этого человека, вероятно, мелкое уголовное дело. Человек явился к нему ровно в четыре часа, заставив Самгина подумать:

«Аккуратность бездельника».

Он долго и осторожно стягивал с широких плеч старенькое пальто, очутился в измятом пиджаке с карманами на груди и подпоясанном широким суконным поясом, высморкался, тщательно вытер бороду платком, причесал пальцами редкие седоватые волосы, наконец, не торопясь, прошел в приемную, сел к столу и — приступил к делу:

— Я — Самойлов. Письмоводитель ваш, Локтев,— мой ученик и — член моего кружка. Я — не партийный

человек, а так называемый культурник; всю жизнь возился с молодежью, теперь же, когда революционная интеллигенция истребляется поголовно, считаю особенно необходимым делом пополнение убыли. Это, разумеется, вполне естественно и не может быть поставлено в заслугу мне.

Самгин уже определил его словами хромого мельника: «Объясняющий господин».

Говорил Самойлов не спеша, усталым глуховатым голосом и легко, как человек, привыкший говорить много. Глаза у него были темные, печальные, а под ними — синеватые мешки. Самгин, слушая его, барабанил пальцами по столу, как бы желая намекнуть этим шумом, что говорить следует скорее. Барабанил и думал:

«Да, это именно объясняющий господин, из тех, что возлагают социальные обязанности». Он ждал чего-то смешного от этого человека и, в следующую минуту,— дождался:

— Вы, разумеется, знаете, что Локтев — юноша очень способный и душа — на редкость чистая. Но жажда знания завлекла его в кружок гимназистов и гимназисток — из богатых семей; они там, прикрываясь изучением текущей литературы... тоже литература, я вам скажу! — почти вскрикнул он, брезгливо сморщив лицо.— На самом деле это — болваны и дурехи с преждевременно развитым половым любопытством,— они там...— Самойлов быстро покрутил рукою над своей головой.— Вообще там обнажаются, касаются и... чёрт их знает что!

Он развел руками, синеватые мешки под глазами его вдруг взмокли; выдернув платок из кармана брюк и вытирая серые слезы, он сказал дрожащим голосом и так, как будто слова царапали ему горло:

— Можно ли было ожидать, а? Нет, вы скажите: можно ли было ожидать? Вчера — баррикады, а сегодня — п-пакости, а? А всё эти поэты... с козой там... и «Хочу быть смелым», как это? — «Хочу одежды с тебя сорвать». Вообще — онанизм и свинство!

Ругался он тоже мягко и, видимо, сожалел о том, что надо ругаться. Самгин хмурился и молчал, ожидая:

что будет дальше? А Самойлов вынул из кармана пиджака коробочку карельской березы, книжку папиросной бумаги, черешневый мундштук, какую-то спичечницу, разложил всё это по краю стола и, фабрикуя папиросу пальцами, которые дрожали, точно у алкоголика, продолжал:

— Ну, одним словом: Локтев был там два раза и первый раз только сконфузился, а во второй — протестовал, что вполне естественно с его стороны. Эти... обнаженцы обозлились на него и, когда он шел ночью от меня с девицей Китаевой,— тоже гимназистка,— его избили. Китаева убежала, думая, что он убит, и — тоже глупо! — рассказала мне обо всем этом только вчера вечером. Н-да. Тут, конечно, испуг и опасение, что ее исключат из гимназии, но... все-таки не похвально, нет!

Свернув папиросу объема небольшой сигары, он обильно дымил крепким синим дымом ядовитого запаха; казалось, что дым идет не только из его рта, ноздрей, но даже из ушей. Самгин, искоса следя за ним, нетерпеливо ждал. Этот человек напомнил ему далекое прошлое, дядю Хрисанфа, маленького «дядю Мишу» Любаши Сомовой и еще каких-то ветхозаветных людей. Но он должен был признать, что глаза у Самойлова — хорошие, с тем сосредоточенным выражением, которое свойственно только человеку, совершенно поглощенному одной идеей.

— Естественно, вы понимаете, что существование такого кружка совершенно недопустимо, это — очаг заразы. Дело не в том, что Михаила Локтева поколотили. Я пришел к вам потому, что отзывы Миши о вас как человеке культурном... Ну, и — вообще, вы ему импонируете морально, интеллектуально... Сейчас все заняты мелкой политикой,— Дума тут,— но, впрочем, не в этом дело! — Он, крякнув, раздельно, внушительно сказал:

— Невозможно допустить, чтоб эта скандальная организация была разглашена газетами, сделалась материалом обывательской сплетни, чтоб молодежь исключили из гимназии и тому подобное. Что же делать? Вот мой вопрос.

— Прежде всего — нужно установить, сколько правды в рассказе Локтева,— внушительно ответил Самгин, но Самойлов, взглянув на него исподлобья, спросил:

— А что он вам рассказал?

— Он — вам рассказал, а не мне,— с досадой заметил Самгин.

Очень удивленно глядя на него, Самойлов проговорил:

— Мне рассказала Китаева, а не он, он — отказался,— голова болит. Но дело не в этом. Я думаю — так: вам нужно вступить в историю, основание: Михаил работает у вас, вы — адвокат, вы приглашаете к себе двух-трех членов этого кружка и объясняете им, прохвостам, социальное и физиологическое значение их дурацких забав. Так! Я — не могу этого сделать, недостаточно авторитетен для них, и у меня — надзор полиции; если они придут ко мне — это может скомпрометировать их. Вообще я не принимаю молодежь у себя.

«Вот и возложил обязанность»,— подумал Самгин, мысленно усмехаясь; досада возрастала, Самойлов становился всё более наивным, смешным, и очень хотелось убедить его в этом, но преобладало сознание опасности: «Втянет он меня в этот скандал, чёрт его возьми!»

Самгин совершенно не мог представить: как это будет? Придут какие-то болваны, а он должен внушать им правила поведения. С некоторой точки зрения это может быть интересно, даже забавно, однако — не настолько, чтоб ставить себя в смешную позицию проповедника половой морали.

— Над этим надо подумать,— солидно сказал он.— Дайте мне время. Я должен допросить Локтева. Он и сообщит вам мое решение.

— Так,— согласился Самойлов, вставая и укладывая свои курительные принадлежности в карман пиджака; выкурил он одну папиросу, но дыма сделал столько, как будто курили пятеро.— Значит, я — жду. Будемте знакомы!

Мягко пожав руку Самгина, он походкой очень усталого человека пошел в прихожую, бережно натя-

нул пальто, внимательно осмотрел шапку и, надев ее, сказал глухо:

— Время-то какое подлое, а? Следите за литературой? Какова? Погром вековых традиций...

И повернулся к Самгину широкой, но сутулой спиною человека, который живет, согнув себя над книгами. Именно так подумал о нем Самгин, открывая вентиляторы в окне и в печке.

«Ослепленный книжник. Не фарисей, но — наивнейший книжник. Что же я буду делать?»

Самгин был уверен, что этот скандал не ускользнет от внимания газет. Было бы крайне неприятно, если б его имя оказалось припутанным. А этот Миша — существо удивительно неудобное. Сообразив, что Миша, наверное, уже дома, он послал за ним дворника. Юноша пришел немедля и остановился у двери, держа забинтованную голову как-то особенно неподвижно, деревянно. Неуклонно прямой взгляд его одинокого глаза сегодня был особенно неприятен.

— Проходите. Садитесь,— сказал Самгин не очень любезно.— Ну-с,— у меня был Самойлов и познакомил с вашим приключением... с вашими похождениями. Но мне нужно подробно знать, что делалось в этом кружке. Кто эти мальчики?

Миша осторожно кашлянул, поморщился и заговорил не волнуясь, как бы читая документ:

— Собирались в доме ювелира Марковича, у его сына, Льва,— сам Маркович — за границей. Гасили огонь и в темноте читали... бесстыдные стихи, при огне их нельзя было бы читать. Сидели парами на широкой тахте и на кушетке, целовались. Потом, когда зажигалась лампа,— оказывалось, что некоторые девицы почти раздеты. Не все — мальчики, Марковичу — лет двадцать, Пермякову — тоже так...

— Пермяков — сын владельца гастрономического магазина? — спросил Самгин.

— Да,— сказал Миша, продолжая называть фамилии.

Было очень неприятно узнать, что в этой истории замешан сын клиента.

Самгин нервно закурил папиросу и подумал:

«Если этого юношу когда-нибудь арестуют,— он будет отвечать жандарму с такой же точностью».

— Сколько раз были вы там? — спросил он.

— Три.

— Вас эти забавы не увлекали?

— Нет.

— Будто бы?

— Нет. Я говорю правду.

Самгин, испытывая не очень приятное чувство, согласился: «Да, не лжет».

И спросил:

— Ведь это — кружок тайный? Что же, вас познакомили сразу со всеми, поименно?

— Пермякова и Марковича я знал по магазинам, когда еще служил у Марины Петровны; гимназистки Китаева и Воронова учили меня, одна — алгебре, другая — истории: они вошли в кружок одновременно со мной, они и меня пригласили, потому что боялись. Они были там два раза и не раздевались, Китаева даже ударила Марковича по лицу и ногой в грудь, когда он стоял на коленях перед нею.

Ровный голос, твердый тон и этот непреклонно прямой глаз раздражали Самгина,— не стерпев, он сказал:

— Вы отвечаете мне, как... судебному следователю. Держитесь проще!

— Я всегда так говорю,— удивленно ответил Миша.

«Он — прав»,— согласился Самгин, но раздражение росло, даже зубы заныли.

Очень неловко было говорить с этим мальчиком. И не хотелось спрашивать его. Но всё же Самгин спросил:

— Кто вас бил?

— Пермяков и еще двое взрослых, незнакомых, не из кружка. Пермяков — самый грубый и... грязный. Он им говорил: «Бейте насмерть!»

— Ну, я думаю, вы преувеличиваете,— сказал Самгин, зажигая папиросу.

Миша твердо ответил:

— Нет, Китаева тоже слышала,— это было у ворот дома, где она квартирует, она стояла за воротами. Очень испугалась...

— Почему вы не рассказали всё это вашему учителю? — вспомнил Самгин.

— Не успел.

Миша ответил не сразу, и его щека немножко покраснела,— Самгин подумал:

«Кажется — врет».

Но Миша тотчас же добавил:

— Василий Николаевич очень... строго понимает всё...

«Вот как?» — подумал Самгин, чувствуя что-то новое в словах юноши.— Что же вы — намерены привлечь Пермякова к суду, да?

— Нет! — быстро и тревожно воскликнул Миша.— Я только хотел рассказать вам, чтоб вы не подумали что-нибудь... другое. Я очень прошу вас не говорить никому об этом! С Пермяковым я сам...— Глаз его покраснел и как-то странно округлился, выкатился,— торопливо и настойчиво он продолжал: — Если это разнесется — Китаеву и Воронову исключат из гимназии, а они обе — очень бедные, Воронова — дочь машиниста водокачки, а Китаева — портнихи, очень хорошей женщины! Обе — в седьмом классе. И там есть еще реалист, еврей, он тоже случайно попал. Клим Иванович,— я вас очень прошу...

— Понимаю,— сказал Самгин, облегченно вздохнув.— Вы совершенно правильно рассуждаете, и... это делает вам честь, да! Девиц нельзя компрометировать, портить им карьеру. Вы пострадали, но...

Не найдя, как удобнее закончить эту фразу, Самгин пожал плечами, улыбнулся и встал:

— Ну, идите, отдыхайте, лечитесь. Вам, наверное, нужны деньги? Могу предложить за месяц — за два вперед.

— Благодарю вас,— за месяц,— сказал Миша, осторожно наклоняя голову.

Самгин первый раз пожал ему руку,— рука оказалась горячей и жесткой.

Проводив его, Самгин постоял у двери в прихожую, определяя впечатление, очень довольный тем, что эта пошлая история разрешилась так просто.

«Юноша оказался... неглупым! Осторожен. Приятная

ошибка. Надобно помочь ему, пусть учится. Будет скромным, исполнительным чиновником, учителем или чем-нибудь в этом роде. В тридцать — тридцать пять лет женится, расчетливо наплодит детей, не больше тройки. И до смерти будет служить, безропотно, как Анфимьевна...»

Насвистывая тихонько арию жреца из «Лакме», он сел к столу, развернул очередное «дело о взыскании», но, прикрыв глаза, погрузился в поток воспоминаний о своем пестром прошлом. Воспоминания развивались, как бы истекая из слов: «Чем я провинился пред собою, за что наказываю себя»?

Было немножко грустно, и снова ощущалось то ласковое отношение к себе, которое испытал он после беседы о Безбедове с Мариной.

Через день, сидя у Марины, он рассказывал ей о Мише. Он застал ее озабоченной чем-то, но, когда сказал, что юноша готовится к экзамену зрелости, она удивленно и протяжно воскликнула:

— Ах, тихоня! Вот шельма хитрая! А я подозревала за ним другое. Самойлов учит? Василий Николаевич— замечательное лицо! — тепло сказала она.— Всю жизнь — по тюрьмам, ссылкам, под надзором полиции, вообще — подвижник. Супруг мой очень уважал его и шутя звал фабрикантом революционеров. Меня он недолюбливал и после смерти супруга перестал посещать. Сын протопопа, дядя у него — викарный...

«Почему фабрикант революционеров вызывает ее симпатию?» — спросил себя Самгин, а вслух сказал, улыбаясь:

— Ты очень умеешь быть объективной.

Марина промолчала, занося что-то карандашом в маленькую записную книжку. Рассказ Самгина о кружке Пермякова не заинтересовал ее,— послушав, она равнодушно сказала:

— Нечто похожее было в Петербурге в 1903 году, кажется. Да и об этом, здешнем, я что-то слышала от Лидии.

И тихонько засмеялась, говоря:

— Вот ей бы пристало заняться такими забавами, а то зря возится с «взыскующими града»: жулики и

пакостники они у нее. Одна сестра оказалась экономкой из дома терпимости и ходила на собрания, чтобы с девицами знакомиться. Ну, до свидания, запираю лавочку!

Самгин ушел, удовлетворенный ее равнодушием к истории с кружком Пермякова. Эти маленькие волнения ненадолго и неглубоко волновали его; поток, в котором он плыл, становился всё уже, но — спокойней, события принимали всё более однообразный характер, действительность устала поражать неожиданностями, становилась менее трагичной, туземная жизнь текла так ровно, как будто ничто и никогда не возмущало ее.

Весной снова явился Лионель Крэйтон; оказалось, что он был не в Сибири, а в Закавказье.

— Очень богатый край, но — в нем нет хозяина,— уверенно ответил он на вопрос Клима: понравилось ли ему Закавказье? И спросил: — Вы — были там?

— Нет,— сказал Самгин.

— Я думаю, это — очень по-русски,— зубасто улыбнулся Крэйтон.— Мы, британцы, хорошо знаем, где живем и чего хотим. Это отличает нас от всех европейцев. Вот почему у нас возможен Кромвель, но не было и никогда не будет Наполеона, вашего царя Петра и вообще людей, которые берут нацию за горло и заставляют ее делать шумные глупости.

Марина, вскрывая ножницами толстый пакет, спросила:

— Глупости — походы на Индию?

— И — это,— согласился Крэйтон.— Но — не только это.

Самгин отметил, что англичанин стал развязнее, говорит — свободнее, но и — небрежней, коверкает слова, уже не стесняясь. Когда он ушел, Самгин сообщил свое впечатление Марине.

— Да, как будто нахальнее стал,— согласилась она, разглаживая на столе документы, вынутые из пакета. Помолчав, она сказала: — Жалуется, что никто у нас ничего не знает и хороших «Путеводителей» нет. Вот что, Клим Иванович, он все-таки едет на Урал, и ему нужен русский компаньон,— я, конечно, указала

на тебя. Почему? — спросишь ты. А — мне очень хочется знать, что он будет делать там. Говорит, что поездка займет недели три, оплачивает дорогу, содержание и — сто рублей в неделю. Что ты скажешь?

— Скучно с ним,— сказал Самгин.

— Это — отказ?

— Нет, надо подумать.

— Ты — не думай, а решись поскучать.

Самгин не прочь был сделать приятное ей, даже считал это обязанностью.

И через два дня он сидел в купе первого класса против Крэйтона, слушая его медленные речи.

— Даже с друзьями — ссорятся, если живут близко к ним. Германия — не друг вам, а очень завистливый сосед, и вы будете драться с ней. К нам, англичанам, у вас неправильное отношение. Вы могли бы хорошо жить с нами в Персии, Турции.

Самгин слушал его суховатый баритон и сожалел, что англичанина не интересует пейзаж. Впрочем, пейзаж был тоже скучный — ровная, по-весеннему молодо зеленая самарская степь, черные полосы вспаханной земли; маленькие мужики и лошади медленно кружатся на плывущей земле, двигаются серые деревни с желтыми пятнами новых изб.

— Александретта, выход в Средиземное море,— слышал Самгин сквозь однообразный грохот поезда. Длинный палец Крэйтона уверенно чертил на столике прямые и кривые линии, голос его звучал тоже уверенно.

«Он совершенно уверен, что мне нужно знать систему его фраз. Так рассуждают, наверное, десятки тысяч людей, подобных ему. Он удобно одет, обут, у него удивительно удобные чемоданы, и вообще он чувствует себя вполне удобно на земле»,— думал Самгин со смешанным чувством досады и снисхождения.

— Вы очень много посвящаете сил и времени абстракциям,— говорил Крэйтон и чистил ногти затейливой щеточкой.— Всё, что мы знаем, покоится на том, чего мы никогда не будем знать. Нужно остановиться на одной абстракции. Допустите, что это — бог, и предоставьте цветным расам, дикарям тратить воображе-

ние на различные, более или менее наивные толкования его внешности, качеств и намерений. Нам пора привыкнуть к мысли, что мы — христиане, и мы действительно христиане, даже тогда, когда атеисты.

«Он не может нравиться Марине»,— удовлетворенно решил Самгин и спросил: — Марина Петровна сказала мне, что ваш отец — квакер?

— Да,— ответил Крэйтон, кивнув головою.— Он — умер. Но — он прежде всего был фабрикант... этих: веревки, толстые, тонкие? Теперь это делает мой старший брат.

И, показав веселые зубы, Крэйтон завязал пальцем в воздухе узел, шутливо говоря:

— Это — очень полезно, веревки!

«В конце концов счастливый человек — это человек ограниченный»,— снисходительно решил Самгин, а Крэйтон спросил его, очень любезно:

— Я вас утомляю?

— О нет, что вы! — возразил Самгин.— Я молчу, потому что внимательно слушаю...

— Вы — мало русский, у вас все говорят очень охотно и много.

«Не больше тебя»,— подумал Самгин. Он улегся спать раньше англичанина, хотя спать не хотелось. Сквозь веки он следил, как его спутник аккуратно раздевается, развешивает костюм,— вот он вынул из кармана брюк револьвер, осмотрел его, спрятал под подушку.

Самгин мысленно усмехнулся и напомнил себе, что его револьвер — в кармане пальто.

Среди ночи он проснулся, пошел в уборную, но, когда вышел из купе в коридор, кто-то сильно толкнул его в грудь и тихо сказал:

— Назад, дура!

Самгин ударился плечом о ребро двери, вскрикнул:

— Что такое? — в ответ ему повторили:

— Прочь, дура!

Огонь в коридоре был погашен, и Самгин скорее почувствовал, а не увидел в темноте пятно руки с револьвером в ней. Раньше чем он успел сделать что-нибудь, сквозь неплотно прикрытую занавеску ворва-

лась полоска света, ослепив его, и раздался изумленный шёпот:

— О, чёрт, опять вы!

— Я вас не знаю,— довольно громко сказал Самгин — первое, что пришло в голову, хотя понимал уже, что говорит Инокову.

— Убирайтесь,— прошептал Иноков и, толкнув его в купе, закрыл дверь.

Самгин нащупал пальто, стал искать карман, выхватил револьвер, но в эту минуту поезд сильно тряхнуло, пронзительно завизжали тормоза, озлобленно зашипел пар,— Самгин пошатнулся и сел на ноги Крэйтона, тот проснулся и, выдергивая ноги, лягаясь, забормотал по-английски, потом свирепо закричал:

— Кто такой?

— Тише,— сказал Самгин, тяжело перевалясь на свое место,— слышите?

Впереди, около паровоза, стреляли,— Самгин механически считал знакомые щелчки: два, один, три, два, один, один. При первом же выстреле Крэйтон зажег спичку, осветил Самгина и, тотчас погасив огонек, сказал вполголоса:

— Держите револьвер дулом вниз, у вас дрожат руки.

Самгин, опустив руку, зажал ее вместе с револьвером коленями.

— Бандиты? — догадался Крэйтон и, пробормотав: «Вот — Америка!» — строго сказал: — Когда откроют дверь — стреляем вместе,— так?

— Да, да,— ответил Самгин, прислушиваясь к шуму в коридоре вагона и голосу, командовавшему за окном:

— Кондуктор, погаси фонарь! Кому я говорю, дура? Стрелять буду,— не болтай фонарем.

«Иноков... Это — Иноков. Второй раз!» — ошеломленно думал Самгин.

— Э, дура!

Хлопнул выстрел, звякнуло стекло, на щебень упало что-то металлическое, и раздался хриплый крик:

— Эй, вы, там! Башки из окон не высовывать, из вагонов не выходить!

Было странно слышать, что голос звучит как будто

не сердито, а презрительно. В вагоне щелкали язычки замков, кто-то постучал в дверь купе.

— Не открывать! — строго сказал Крэйтон.

— Напали на поезд! — прокричал в коридоре истерический голосок. Самгину казалось, что всё еще стреляют. Он не был уверен в этом, но память его непрерывно воспроизводила выстрелы, похожие на щелчки замков.

Время тянулось необычно медленно, хотя движение в вагоне становилось шумнее, быстрей. За окном кто-то пробежал, скрипя щебнем, громко крикнув:

— Живо!

Самгин так крепко сжимал револьвер коленями, что у него заболела рука; он сунул оружие под ляжку себе и плотно прижал его к мякоти дивана.

— Странно,— сказал Крэйтон.— Они не торопятся, эти ваши бандиты.

Судорожно вздыхал и шипел пар под вагоном,— было несколько особенно длинных секунд, когда Самгин не слышал ни звука, кроме этого шипения, а потом, около вагона, заговорили несколько голосов, и один, особенно громко, сказал:

— Здесь, в этом!

— Не выпускать никого!

Вагон осторожно дернуло, брякнули сцепления, Крэйтон приподнял занавеску окна; деревья за окном шевелились, точно стирая тьму со стекла, мутно проплыло пятно просеки, точно дорога к свету.

— Что же — нас взяли в плен? — грубо спросил Крэйтон.— Мы — едем!

Да, поезд шел почти с обычной скоростью, а в коридоре топали шаги многих людей. Самгин поднял занавеску, а Крэйтон, спрятав руку с револьвером за спину, быстро открыл дверь купе, спрашивая:

— Что происходит?

Против двери стоял кондуктор со стеариновой свечою в руке, высокий и толстый человек с белыми усами, два солдата с винтовками и еще несколько человек, невидимых в темноте.

— Почтовый вагон ограбили,— сказал кондуктор, держа свечку на высоте своего лица и улыбаясь.— Вот

отсюда затормозили поезд, вот видите — пломба сорвана с тормоза...

— Сколько ж их было? — густым басом спросил толстый человек.

— Говорят — четверо.

— Кто говорит?

— Товарищ.

— Какой — товарищ, чей?

— Наш, из бригады.

— Везде — товарищи!

Женский голос напряженно крикнул:

— Сколько же, сколько убитых?

Ей сердито ответили:

— Убитых нет!

— Вы скрываете! Они стреляли.

— Солдату из охраны руку прострелили, только и всего,— сказал кондуктор. Он всё улыбался, его бритое солдатское лицо как будто таяло на огне свечи.— Я одного видел,— поезд остановился, я спрыгнул на путь, а он идет, в шляпе. Что такое? А он кричит: «Гаси фонарь, застрелю», и — бац в фонарь! Ну, тут я упал...

— Четверо? — проворчал Крэйтон над ухом Самгина.— Храбрые ребята.

А Самгин подумал:

«Какое презрение надобно иметь к людям, чтобы вчетвером нападать на целый поезд».

Он всё время вспоминал Инокова, не думая о нем, а просто видя его рядом с Любашей, рядом с собою, в поле, когда развалилась казарма, рядом с Елизаветой Спивак.

«Писал стихи».

Он слышал, что кто-то шепчет:

— Обратите внимание: у господина в очках — револьвер.

Самгин, с невольной быстротой, бросил револьвер на диван, а шёпот вызвал громкий ответ:

— Ну, что ж такое? Револьвер и у меня есть, да, наверное, и у многих. А вот что убитых нет, это подозрительно! Это, знаете...

— Да, странно...

— При наличии солдат...

— Солдат — не филин, он тоже ночью спит. А у них — бомба. Руки вверх, и — больше никаких! — уныло проговорил один из солдат.

— Все-таки надо было стрелять!

— Подняв руки вверх? Бросьте, господин. Мы по начальству отвечать будем, а вы нам — человек неизвестный.

— Он говорит верно,— сказал Крэйтон.

На Самгина эти голоса людей, невидимых во тьме, действовали, как тяжелое сновидение.

«Инокова, конечно, поймают...»

Он был недоволен собою, ему казалось, что он вел себя недостаточно мужественно и что Крэйтон заметил это.

«Иноков не мог бы причинить мне вреда»,— упрекнул он себя. Но тут возник вопрос: «А что я мог бы сделать?»

И Самгин вошел в купе, решив не думать на эту тему, прислушиваясь к оживленной беседе в коридоре.

— В десять минут обработали!

— В семь.

— Вы считали?

— Солдат говорил дерзко,— это не подобает солдату. Я сам — военный.

— Кондуктор,— почему нет огня?

— Провода порваны, ваше благородие.

Вошел Крэйтон, сел на диван и сказал, покачивая головою:

— Ваши соотечественники — фаталисты.

Самгин промолчал, оправляя постель,— в коридоре бас высокого человека умиротворенно произнес:

— Что ж, господа: возблагодарим бога за то, что остались живы, здоровы...

— Скоро Уфа.

Зевнув, заговорил Крэйтон:

— Вы напрасно бросаете револьвер так. Автоматические револьверы требуют осторожности.

— Я бросил на мягкое,— сердито отозвался Самгин, лег и задумался о презрении некоторых людей ко всем остальным. Например — Иноков. Что ему право,

мораль и всё, чем живет большинство, что внушается человеку государством, культурой? «Классовое государство ремонтирует старый дом гнилым деревом»,— вдруг вспомнил он слова Степана Кутузова. Это было неприятно вспомнить, так же как удачную фразу противника в гражданском процессе. В коридоре всё еще беседовали, бас внушительно доказывал:

— Вы же видите: Дума не в силах умиротворить страну. Нам нужна диктатура, надо, чтоб кто-нибудь из великих князей...

— Вы дайте нам маленьких, да умных!

— Господа! Все так переволновались, а мы мешаем спать.

— Очень умно сказано,— проворчал Крэйтон и закрыл купе.

Самгин уснул и был разбужен бешеными криками Крэйтона:

— Вы не имеете права сдерживать меня,— кричал он, не только не заботясь о правильности языка, но даже как бы нарочно подчеркивая искажения слов; в двери купе стоял, точно врубленный, молодой жандарм и говорил:

— Не приказано.

— Но я должен давать несколько телеграмм — понимаете?

— Никого не приказано выпускать,— повторил жандарм и обратился к Самгину:— Объясните им: поезд остановлен за семафором, вокзал — дальше.

— Вы слышите? Не позволяют давать телеграмм! Я — бежал, скочил, может быть, ломал ногу, они меня схватили, тащили здесь — заткнули дверь этим!

Размахивая шляпой, он указал ею на жандарма; лицо у него было серое, на висках выступил пот, челюсть тряслась и глаза, налитые кровью, гневно блестели. Он сидел на постели в неудобной позе, вытянув одну ногу, упираясь другою в пол, и рычал:

— Вы должны знать, когда вы арестуете! Это — дикость! Я — жалуюсь! Я протестую моему послу Петербург!

— Успокойтесь! — посоветовал Самгин.— Сейчас выясним, в чем дело.

Поглаживая ногу, Крэйтон замолчал, и тогда в вагоне стало подозрительно тихо. Самгин выглянул из-под руки жандарма в коридор: двери всех купе были закрыты, лишь из одной высунулась воинственная, ершистая голова с седыми усами; неприязненно взглянув на Самгина, голова исчезла.

«Чертовщина какая-то»,— подумал Самгин и спросил жандарма: в чем дело?

— Проверка документов,— вежливо и тихо ответил жандарм.— Поезд был остановлен автоматическим тормозом из этого вагона. Сосед ваш думали, что уже вокзал, спрыгнули, ушибли ногу и — сердятся.

— Ногу я сломил! — вновь зарычал Крэйтон.— Это я тоже будут протестовать. Она была немножко сломлен, раньше, но — это ничего!

Жандарм посторонился, его место заняли чернобородый офицер и судейский чиновник, горбоносый, в пенсне, с костлявым ироническим лицом. Офицер потребовал документы. Крэйтон выхватил бумажник из бокового кармана пиджака, крякнул, скрипнул зубами и бросил документ на колени Самгина. Самгин — передал офицеру вместе со своим, а тот, прочитав, подал через плечо свое судейскому. Всё это делалось молча, только Крэйтон, отирая платком пот с лица, ворчливо бормотал горячо шипящие английские слова. Самгин, предчувствуя, что в этом молчании нарастают какие-то серьезные неприятности для него, вздохнул и закурил папиросу. Судейский чиновник, прочитав документы, поморщился, пошептал что-то на ухо офицеру и затем сказал:

— Разрешите заявить, господа, наши искренние извинения за причиняемое вам беспокойство...

Крэйтон, махнув на него шляпой, зарычал сквозь зубы:

— О, нет! Это меня не... удовлетворяет. Я — сломал ногу. Это будет материальный убиток, да! И я не уйду здесь. Я требую доктора...— Офицер подвинулся к нему и стал успокаивать, а судейский спросил Самгина — не заметил ли он в вагоне человека, который внешне отличался бы чем-нибудь от пассажира первого класса?

— Нет,— сказал Самгин.

— И ночью, перед тем, как поезд остановился между станциями, не слышали шума около вашей двери?

— Я — проснулся, когда поезд уже стоял,— ответил Самгин, а Крэйтон закричал:

— Я — тоже спал, да! Я был здоровый человек и хорошо спал. Теперь вы сделали, что я буду плохо спать. Я требую доктора.

Офицер очень любезно сказал ему, что сейчас поезд подойдет к вокзалу.

— И железнодорожный врач — к вашим услугам.

—О, благодарю! Но предпочел бы, чтоб в его услугах нуждались вы. Здесь есть наш консул? Вы не знаете? Но вы, надеюсь, знаете, что везде есть англичане. Я хочу, чтоб позвали англичанина. Я тут не уйду.

Судейский продолжал ставить перед Самгиным какие-то пустые вопросы, потом тихонько попросил его:

— Вы успокойте вашего соседа, а то он своей истерикой вызовет внимание публики, едва ли приятное для него и для вас.

Самгин хотел сказать, что не нуждается в заботах о нем, но — молча кивнул головой. Чиновник и офицер ушли в другое купе, и это несколько успокоило Крэйтона; он вытянулся, закрыл глаза и, должно быть, крепко сжал зубы,— на скулах вздулись желваки, неприятно изменив его лицо.

Через несколько минут поезд подошел к вокзалу, явился старенький доктор, разрезал ботинок Крэйтона, нашел сложный перелом кости и утешил его, сказав, что знает в городе двух англичан: инженера и скупщика шерсти. Крэйтон вынул блокнот, написал две записки и попросил немедленно доставить их соотечественникам. Пришли санитары, перенесли его в приемный покой на вокзале, и там он, брезгливо осматриваясь, с явным отвращением нюхая странно теплый, густой воздух, сказал Самгину:

— Приятное путешествие наше сломано, я очень грустно опечален этим. Вы едете домой, да? Вы расскажете всё это Марина Петровна, пусть она будет смеяться. Это все-таки смешно!

И, вздохнув, философически заключил:

— Так очень многое кончается в жизни. Один человек в Ливерпуле обнял свою невесту и выколол булавкой глаз свой,— это его не очень огорчило. «Меня хорошо кормит один глаз»,— сказал он, потому что был часовщик. Но невеста нашла, что одним глазом он может оценить только одну половинку ее, и не согласилась венчаться.— Он еще раз вздохнул и щелкнул языком: — По-русски это — прилично, но, кажется, неинтересно...

Самгин дождался, когда пришел маленький, тощий, быстроглазый человек во фланелевом костюме, и они с Крэйтоном заговорили, улыбаясь друг другу, как старые знакомые. Простясь, Самгин пошел в буфет, с удовольствием позавтракал, выпил кофе и отправился гулять, думая, что за последнее время все события в его жизни разрешаются быстро и легко.

Явилась даже смелая мысль: интересно бы встретить Инокова еще раз, но, конечно, в его свободное от профессиональных занятий время.

«Я дважды спас его от виселицы,— как оценивает он это?.. А Крэйтон — весьма типичен. Человек аристократической расы. Уверенность в своем превосходстве над всеми людьми».

Город был какой-то низенький, он точно сидел, а не стоял на земле. Со степи широкой волною налетал ветер, вздымая на улицах прозрачные облака чернова-той теплой пыли. Среди церковных глав Самгин отличил два минарета, и только после этого стал замечать на улицах людей с монгольскими лицами. Река Белая оказалась мутно-желтой, а Уфа — голубоватее и прозрачней. На грязных берегах лежало очень много сплавного леса и почти столько же закопченных солнцем башкир в лохмотьях. В общем было как-то непоколебимо, навсегда скучно, и явилась мысль, что Иноковы, Кутузовы и другие люди этого типа рискуют свободой и жизнью — бесполезно, не победить им, не разрушить эту теплую, пыльную скуку. Уныние не столько тяготило, как успокаивало. Вспомнилось стихотворение Шелли «Озимандия»:

Пустыня мертвая и небеса над ней.

Через два дня, вечером, у него сидела Марина, в платье цвета оксидированного серебра. Крэйтон предугадал верно: она смеялась, слушая рассказ о нападении на поезд, о злоключениях и бешенстве англичанина.

— Нет, как хочешь, а — все-таки — молодцы! Это — ловко!

«Сказать ей про Инокова?» — спросил себя Самгин.

— Ах, Лионель, чудак! — смеялась она почти до слез и вдруг сказала серьезно, не скрывая удовольствия: — Так ему и надо! Пускай попробует, чем пахнет русская жизнь. Он ведь, знаешь, приехал разнюхивать, где что продается. Сам он, конечно, молчит об этом. Но я-то уж чувствую!

И, помолчав, облизнув губы, она продолжала, приподняв одну бровь, усмехаясь:

— Теперь — купец у власти, а капиталов у него — не велик запас, так он и начнет иностранцев звать: «Покупайте Россию!»

— Шутишь ты, всё шутишь,— сказал Самгин, чтоб сказать что-нибудь; она ответила:

— Вижу — скучно тебе, вот и шучу. Да и — что мне делать? Сыта, здорова...

Она замолчала, взяв со стола книгу, небрежно перелистывая ее и нахмурясь, как бы решая что-то. Самгин подождал ее речей и начал рассказывать об Инокове, о двух последних встречах с ним,— рассказывал и думал: как отнесется она? Положив книгу на колено себе, она выслушала молча, поглядывая в окно, за плечо Самгина, а когда он кончил, сказала вполголоса:

— Интересный человек! Конечно, попадет на вешалку. Уж попадет... Тебе, наверное, дико будет услышать это, а я — пристрастна к таким людям.

— Ты знаешь, что я многого не понимаю в тебе,— сказал Самгин.

— Знаю,— согласилась она; очень просто прозвучало это ее слово.

— А хотелось бы понять,— добавил Самгин.— У меня к тебе сложилось отношение, которое... требует ясности...

Смеясь, она спросила:

— Не посвататься ли хочешь?

Но тотчас же сказала:

— Это я тоже шучу. Понимаю, что свататься ты не намерен. А рассказать себя я тебе — не могу, рассказывала, да ты — не веришь.— Она встала, протянув ему руку через стол и говоря несколько пониженным голосом:

— Вот что, через несколько дней в корабле моем радение о духе будет,— хочешь, я скажу Захарию, чтоб он показал тебе праздник этот? В щелочку,— добавила она и усмехнулась.

Ее предложение не удивило и не обрадовало Самгина, но смутило его как неожиданность, смысл которой — непонятен. Он видел, что глаза Марины улыбаются необычно, как будто она против воли своей сказала что-то непродуманное, рискованное и, недовольная собою, сердится.

— Я буду страшно благодарен,— торопливо сказал он, а Марина повторила:

— В щелочку, издали. Ну,— будь здоров!

Проводив ее, Самгин быстро вбежал в комнату, остановился у окна и посмотрел, как легко и солидно эта женщина несет свое тело по солнечной стороне улицы; над головою ее — сиреневый зонтик, платье металлически блестит, и замечательно красиво касаются камня панели туфельки бронзового цвета.

«Идол. Златоглазый идол»,— с чувством восхищения подумал он, но это чувство тотчас исчезло, и Самгин пожалел — о себе или о ней? Это было не ясно ему. По мере того как она удалялась, им овладевала смутная тревога. Он редко вспоминал о том, что Марина — член какой-то секты. Сейчас вспомнить и думать об этом было почему-то особенно неприятно.

«Вот, наконец, открываются двери тайны»,— сказал он себе и присел на стул, барабаня пальцами по колену, покручивая бородку. Шутка не удалась ему.

Возникало опасение какой-то утраты. Он поспешно начал просматривать свое отношение к Марине. Всё, что он знал о ней, совершенно не совпадало с его представлением о человеке религиозном, хотя он не мог бы сказать, что имеет вполне точное представление о

таком человеке; во всяком случае это — человек, ограниченный мистикой, метафизикой.

«Слишком умна для того, чтобы веровать. Но ведь не может же быть какой-то секты без веры в бога или чёрта!» — размышлял он.

То, что она говорила о разуме, определенно противоречило ее житейской практике. Ее слова о духе и вообще всё, что она, в разное время, говорила ему о своих взглядах на религию, церковь,— было непонятно, неинтересно и не удерживалось в его памяти. Помнил он только взрыв ее гнева против попов, но и это ничего не объясняло ему, он даже подумал: «Тут я, кажется, преувеличил что-то или чего-то не понял. Я никогда не спорил с нею на эту тему, не могу, не хочу спорить, но — почему я как будто боюсь поссориться с нею?»

Чувство тревоги — росло. И в конце концов вдруг догадался, что боится не ссоры, а чего-то глупого и пошлого, что может разрушить сложившееся у него отношение к этой женщине. Это было бы очень грустно, однако именно эта опасность внушает тревогу.

«Но ведь, в сущности, вопрос решается очень просто: не пойду»,— подумал он.

Но это не было решением. На другой день после праздника Троицы — в Духов день — Самгин так же сидел у окна, выглядывая из-за цветов на улицу. За окном тяжко двигался крестный ход: обыватели города, во главе с духовенством всех церквей, шли за город, в поле — провожать икону богородицы в далекий монастырь, где она пребывала и откуда ее приносили ежегодно в субботу на пасхальной неделе «гостить», по очереди, во всех церквах города, а из церквей, торопливо и не очень «благолепно», носили по всем домам каждого прихода, собирая с «жильцов» десятки тысяч священной дани в пользу монастыря.

Самгин смотрел на плотную, празднично одетую, массу обывателей,— она заполняла украшенную молодыми березками улицу так же плотно, густо, как в Москве, идя под красными флагами, за гробом Баумана, не видным под лентами и цветами. Так же, как тогда, сокрушительно шаркали десятки тысяч подошв по бу-

лыжнику мостовой. Сухой шорох ног стачивал камни, вздымая над обнаженными головами серенькое облако пыли, а в пыли тускловато блестело золото сотен хоругвей. Ветер встряхивал хоругви, шевелил волосы на головах людей, ветер гнал белые облака, на людей падали тени, как бы стирая пыль и пот с красных лысин. В небе басовито и непрерывно гудела медь колоколов, заглушая пение многочисленного хора певчих. Яростно, ослепительно сверкая, толпу возглавлял высоко поднятый над нею золотой квадрат иконы с двумя черными пятнами в нем, одно — побольше, другое — поменьше. Запрокинутая назад, гордо покачиваясь, разбрасывая стрелы золотых лучей, икона стояла на длинных жердях, жерди лежали на плечах людей, крепко прилепленных один к другому,— Самгин видел, что они несут тяжелую ношу свою легко.

За иконой медленно двигались тяжеловесные, золотые и безногие фигуры попов, впереди их — седобородый большой архиерей, на голове его — золотой пузырь, богато украшенный острыми лучиками самоцветных камней, в руке — длинный посох, тоже золотой. Казалось, что чем дальше уходит архиерей и десятки неуклюжих фигур в ризах,— тем более плотным становится этот живой поток золота, как бы увлекая за собою всю силу солнца, весь блеск его лучей. Течение толпы было мощно и всё в общем своеобразно красиво,— Самгин чувствовал это.

Но он предпочел бы серый день, более сильный ветер, больше пыли, дождь, град — меньше яркости и гулкого звона меди, меньше — праздника. Не впервые видел он крестный ход и всегда относился к парадам духовенства так же равнодушно, как к парадам войск. А на этот раз он усиленно искал в бесконечно текущей толпе чего-нибудь смешного, глупого, пошлого. Вспомнил, что в романе «Воскресение» Лев Толстой назвал ризу попа золотой рогожей,— за это пошленький литератор Ясинский сказал в своей рецензии, что Толстой — гимназист. Было досадно, что икону, заключенную в тяжелый ящик киота, люди несут так легко.

«Марина была бы не тяжелее, но красивей, величественнее...».

Утром, в газетном отчете о торжественной службе вчера в соборе, он прочитал слова протоиерея: «Радостью и ликованием проводим защитницу нашу»,— вот это глупо: почему люди должны чувствовать радость, когда их покидает то, что — по их верованию — способно творить чудеса? Затем он вспомнил, как на похоронах Баумана толстая женщина спросила:

— «Кого хоронят?»

— «Революцию, тетка»,— ответили ей.

Это несколько разогрело мысли Самгина,— он, уже с негодованием, подумал:

«Ради этого стада, ради сытости его Авраамы политики приносят в жертву Исааков, какие-то Самойловы фабрикуют революционеров из мальчишек...»

Тут он вспомнил:

«А может, мальчика-то не было?..»

Он уже не скрывал от себя, что негодование разогревает в себе искусственно и нужно это ему для того, чтобы то, что он увидит сегодня, не оказалось глупее того, что он уже видит.

«Мальчишество,— упрекнул он себя и усмехнулся, подумав: — Очевидно, она много значит для меня, если я так опасаюсь увидеть ее в глупом положении».

Толпа прошла, но на улице стало еще более шумно,— катились экипажи, цокали по булыжнику подковы лошадей, шаркали по панели и стучали палки темненьких старичков, старушек, бежали мальчишки. Но скоро исчезло и это,— тогда из-под ворот дома вылезла черная собака и, раскрыв красную пасть, длительно зевнув, легла в тень. И почти тотчас мимо окна бойко пробежала пестрая сытая лошадь, запряженная в плетеную бричку,— на козлах сидел Захарий в сером измятом пыльнике.

«Значит — далеко ехать»,— сообразил Самгин, поспешно оделся и вышел к воротам.

Захарий молча кивнул ему головой и, подождав, когда он уселся, быстро погнал лошадь, подпрыгивая на козлах, точно деревянный. Город был пустой, и шум раздавался в нем, точно в бочке. Ехать пришлось недолго; за городом, на огородах, Захарий повернул на узкую дорожку среди заборов и плетней, к двухэтажному де-

ревянному дому; окна нижнего этажа были частью заложены кирпичом, частью забиты досками, в окнах верхнего не осталось ни одного целого стекла, над воротами дугой изгибалась ржавая вывеска, но еще хорошо сохранились слова: «Завод искусственных минеральных вод».

Самгин вздохнул и поправил очки. Въехали на широкий двор; он густо зарос бурьяном, из бурьяна торчали обугленные бревна, возвышалась полуразвалившаяся печь, всюду в сорной траве блестели осколки бутылочного стекла. Самгин вспомнил, как бабушка показала ему ее старый, полуразрушенный дом и вот такой же двор, засоренный битыми бутылками,— вспомнил и подумал:

«Возвращаюсь в детство».

Лошадь осторожно вошла в открытые двери большого сарая,— там, в сумраке, кто-то взял ее за повод, а Захарий, подбежав по прыгающим доскам пола к задней стенке сарая, открыл в ней дверь, тихо позвал:

— Пожалуйте!

Самгин, мигая, вышел в густой, задушенный кустарником сад; в густоте зарослей, под липами, вытянулся длинный одноэтажный дом, с тремя колоннами по фасаду, с мезонином в три окна, облепленный маленькими пристройками,— они подпирали его с боков, влезали на крышу. В этом доме кто-то жил,— на подоконниках мезонина стояли цветы. Зашли за угол, и оказалось, что дом стоит на пригорке и задний фасад его — в два этажа. Захарий открыл маленькую дверь и посоветовал:

— Осторожно.

В темноте под ногами заскрипели ступени лестницы, распахнулась еще дверь, и Самгина ослепил яркий луч солнца.

— Подождите минутку, я — сейчас! — тихо сказал Захарий и, притворив дверь, исчез.

Самгин снял шляпу, поправил очки, оглянулся: у окна, раскаленного солнцем,— широкий кожаный диван, пред ним, на полу,— старая, истоптанная шкура белого медведя, в углу — шкаф для платья с зеркалом во всю величину двери; у стены — два кожаных кресла

и маленький круглый стол, а на нем графин воды, стакан. В комнате душно, голые стены ее окрашены голубоватой краской, и всё в ней как будто припудрено невидимой, но едкой пылью. Самгин сел в кресло, закурил, налил в стакан воды и не стал пить: вода была теплая, затхлая. Прислушался,— в доме было неестественно тихо, и в этой тишине, так же как во всем, что окружало его, он почувствовал нечто обидное. Бесшумно открылась дверь, вошел Захарий,— бросилось в глаза, что волос на голове у него вдвое больше, чем всегда было, и они — волнистее, точно он вымыл и подвил их.

— Пожалуйте,— шёпотом пригласил он.— Только — папироску бросьте и там не курите, спичек не зажигайте! Кашлять и чихать тоже воздержитесь, прошу! А уж если терпенья не хватит — в платочек покашляйте.

Он взял Самгина за рукав, свел по лестнице на шесть ступенек вниз, осторожно втолкнул куда-то на мягкое и прошептал:

— Вот, садитесь, отсюда всё будет видно. Только уж, пожалуйста, тихо! На стене тряпочка есть, найдете ее...

В темноте Самгин наткнулся на спинку какой-то мебели, нашупал шершавое сиденье, осторожно уселся. Здесь было прохладнее, чем наверху, но тоже стоял крепкий запах пыли.

«Посмотрим, как делают религию на заводе искусственных минеральных вод! Но — как же я увижу?» Подвинув ногу по мягкому на полу, он уперся ею в стену, а пошарив по стене рукою, нашел тряпочку, пошевелил ее, и пред глазами его обнаружилась продолговатая, шириною в палец, светлая полоска.

Придерживая очки, Самгин взглянул в щель и почувствовал, что он как бы падает в неограниченный сумрак, где взвешено плоское, правильно круглое пятно мутного света. Он не сразу понял, что свет отражается на поверхности воды, налитой в чан,— вода наполняла его в уровень с краями, свет лежал на ней широким кольцом; другое, более узкое, менее яркое кольцо лежало на полу, черном, как земля. В центре кольца на воде,— точно углубление в ней,— бесфор-

менная тень, и тоже трудно было понять — откуда она?

«Какой-то фокус».

Напрягая зрение, он различил высоко под потолком лампу, заключенную в черный колпак,— ниже, под лампой, висело что-то неопределенное, похожее на птицу с развернутыми крыльями, и это ее тень лежала на воде.

«Не очень остроумно»,— подумал Самгин, отдуваясь и закрыв глаза. Сидеть — неудобно, тишина — неприятна, и подумалось, что все эти наивные таинственности, может быть, устроены нарочно, только затем, чтоб поразить его.

Под полом, в том месте, где он сидел, что-то негромко щелкнуло, сумрак пошевелился, посветлел, и, раздвигая его, обнаруживая стены большой продолговатой комнаты, стали входить люди — босые, с зажженными свечами в руках, в белых, длинных до щиколоток рубахах, подпоясанных чем-то неразличимым. Входили они парами, мужчина и женщина, держась за руки, свечи держали только женщины; насчитав одиннадцать пар, Самгин перестал считать. В двух последних парах он узнал краснолицего свирепого дворника Марины и полуумного сторожа Васю, которого он видел в Отрадном. В длинной рубахе Вася казался огромным, и хотя мужчины в большинстве были рослые,— Вася на голову выше всех. Люди становились полукругом перед чаном, затылками к Самгину; но по тому, как торжественно вышагивал Вася, Самгин подумал, что он, вероятно, улыбается своей гордой, глупой улыбкой.

Огни свеч расширили комнату,— она очень велика и, наверное, когда-то служила складом,— окон в ней не было, не было и мебели, только в углу стояла кадка и на краю ее висел ковш. Там, впереди, возвышался небольшой, в квадратную сажень помост, покрытый темным ковром,— ковер был так широк, что концы его, спускаясь на пол, простирались еще на сажень. В средине помоста — задрапированный черным стул или кресло. «Ее трон»,— сообразил Самгин, продолжая чувствовать, что его обманывают.

Он сосчитал огни свеч: двадцать семь. Четверо муж-

чин — лысые, семь человек седых. Кажется, большинство их, так же как и женщин, всё люди зрелого возраста. Все — молчали, даже не перешептывались. Он не заметил, откуда появился и встал около помоста Захарий; как все, в рубахе до щиколоток, босой, он один из всех мужчин держал в руке толстую свечу; к другому углу помоста легко подбежала маленькая,— точно подросток,— коротковолосая полуседая женщина, тоже с толстой свечой в руке.

«Сейчас появится она, все эффекты готовы»,— решил Самгин.

Марина вышла не очень эффектно: сначала на стене, за стулом, мелькнула ее рука, отбрасывая черный занавес, потом явилась вся фигура, но — боком; прическа ее зацепилась за что-то, и она так резко дернула рукою материю, что сорвала ее, открыв угол двери. Затем, шагнув вперед, она поклонилась, сказав:

— Здравствуйте, сестры и братья по духу!

Полсотни людей ответили нестройным гулом, голоса звучали глухо, как в подвале, так же глухо прозвучало и приветствие Марины; в ответном гуле Самгин различил многократно повторенные слова:

— Матушка, родимая, владычица духовная...

Каждый из них, поклонясь Марине, кланялся всем братьям и снова — ей. Рубаха на ней, должно быть, шёлковая, она — белее, светлей. Как Вася, она тоже показалась Самгину выше ростом. Захарий высоко поднял свечу и, опустив ее, погасил,— то же сделала маленькая женщина и все другие. Не разрывая полукруга, они бросали свечи за спины себе, в угол. Марина громко и сурово сказала:

— Так исчезнет свет ложный! Воспоем славу невидимому творцу всего видимого, великому духу!

В сумраке серый полукруг людей зашевелился, сомкнулся в круг. Запели нестройно, разноголосо и даже мрачно — на церковный мотив:

Пресветлому началу
Всякого рождения,
Единому сущему,
Ему же нет равных

И вовеки не будет,
Поклоняемся духовно!
Ни о чем не молим,
Ничего не просим,—
Просим только света духа
Темноте земной души...

Самгин видел фигуру Марины, напряженно пытался рассмотреть ее лицо, но оно было стерто сумраком.

«Вероятно, это она сочинила»,— подумал он.

Круг людей медленно двигался справа налево, двигался всей массой и почти бесшумно, едва слышен был шорох подошв о дерево пола. Когда кончили петь,— заговорила Марина:

— Зажигайте огонь духовный!

У чана с водою встал Захарий, протянул над ним руки в широких рукавах и заговорил не своим, обычным, а неестественно высоким, вздрагивающим голосом:

— Сестры и братья,— четвертый раз мы собрались порадеть о духе святе, да снизойдет и воплотится пречистый свет! Во тьме и мерзости живем и жаждем сошествия силы всех сил!

Круг вращался быстрее, ноги шаркали слышней и заглушали голос Захария.

— Отречемся благ земных и очистимся,— кричал он.— Любовью друг ко другу воспламеним сердца!

Плотное серое кольцо людей, вращаясь, как бы расталкивало, расширяло сумрак. Самгин яснее видел Марину,— она сидела, сложив руки на груди, высоко подняв голову. Самгину казалось, что он видит ее лицо — строгое, неподвижное.

«Привыкли глаза. Она действительно похожа на статую какого-то идола».

— Испепелится плоть — узы дьявола — и освободит дух наш из плена обольщений его,— выкрикивал Захарий,— его схватили, вовлекли в хоровод, а он все еще кричал, и ему уже вторил тонкий, истерический голос женщины:

— Ой — дух! Ой — свят...

— Рано! — оглушительно рявкнул густой бас.— Куда суешься? Пустельга!

На место Захария встал лысый бородатый человек и загудел:

— Тут есть сестры-братья, которые первый раз с нами радеют о духе. И один человек усумнился: правильно ли Христа отрицаемся! Может, с ним и другие есть. Так дозволь, кормщица наша мудрая, я скажу.

Марина не пошевелилась, а круг пошел медленнее, но лысый, взмахнув руками, сказал:

— Ходите, ходите по воле! Голос мой далече слышен!

Он густо кашлянул и продолжал еще более сильно:

— Мы — бога во Христе отрицаемся, человека же — признаём! И был он, Христос, духовен человек, однако — соблазнил его Сатана, и нарек он себя сыном бога и царем правды. А для нас — несть бога, кроме духа! Мы — не мудрые, мы — простые. Мы так думаем, что истинно мудр тот, кого люди безумным признают, кто отметает все веры, кроме веры в духа. Только дух — сам от себя, а все иные боги — от разума, от ухищрений его, и под именем Христа разум же скрыт,— разум церкви и власти.

Нечто похожее Самгин слышал от Марины, и слова старика легко ложились в память, но говорил старик долго, с торжественной злобой, и слушать его было скучно.

«Вероятно — лавочник, мясник какой-нибудь»,— определил Самгин, когда лысый оратор встал в цепь круга и трубным голосом крикнул:

— Шибче! Ой — дух, ой — свят!

— Ой свят, ой дух,— несогласно и не очень громко повторили десятки голосов, женские голоса звучали визгливо, раздражающе. Когда лысый втиснулся в цепь, он как бы покачнул, приподнял от пола людей и придал вращению круга такую быстроту, что отдельные фигуры стали неразличимы, образовалось бесформенное, безрукое тело,— на нем, на хребте его подскакивали, качались волосатые головы; слышнее, более гулким стал мягкий топот босых ног; исступленнее вскрикивали женщины, нестройные крики эти становились ритмичнее, покрывали шум стонами:

— Ой — дух, ай — дух!

— Ух, ух,— угрюмо звучали глухие вздохи мужчин. Самгин, мигая, смотрел через это огромное буйствующее тело, через серый вихрь хоровода на фигуру Марины и ждал, когда и как выступит она.

Ему определенно не хотелось, чтоб она выступала. Так, в стороне от безумного вращения людей, которые неразрывно срослись в тяжелое кольцо и кружатся в бешеном смятении, в стороне от них,— она на своем месте. Ему казалось даже, что, вместе с нарастанием быстроты движения людей и силы возгласов, она растет над ними, как облако, как пятно света,— растет и поглощает сумрак. Это продолжалось утомительно долго. Самгин протер глаза платком, сняв очки,— без очков всё внизу показалось еще более бесформенным, более взбешенным и бурным. Он почувствовал, что этот гулкий вихрь вовлекает его, что тело его делает непроизвольные движения, дрожат ноги, шевелятся плечи, он качается из стороны в сторону, и под ним поскрипывает пружина кресла.

«Воображаю,— сказал он себе, и показалось, что он говорит с собою откуда-то очень издали.— Глупости!»

В щель, в глаза его бил воздух — противно теплый, насыщенный запахом пота и пыли,— шуршал куском обоев над головой Самгина. Глаза его прикованно остановились на светлом круге воды в чане,— вода покрылась рябью, кольцо света, отраженного ею, дрожало, а темное пятно в центре казалось неподвижным и уже не углубленным, а выпуклым. Самгин смотрел на это пятно, ждал чего-то и соображал:

«Вода взволнована движением воздуха, темное пятно — тень резервуара лампы».

Это было последнее, в чем он отдал себе отчет,— ему вдруг показалось, что темное пятно вспухло и образовало в центре чана вихорек. Это было видимо только краткий момент, две, три секунды, и это совпало с более сильным топотом ног, усилилась разноголосица криков, из тяжко охающих возгласов вырвался истерически ликующий, но и как бы испуганный вопль:

— И на-кати-ил, и нака-ти-ил...

Кто-то зарычал, подобно медведю:

— Ух, ух!

Кольцеобразное сероватое месиво вскипало всё яростнее; люди совершенно утратили человекоподобные формы, даже головы были почти неразличимы на этом облачном кольце, и казалось, что вихревое движение то приподнимает его в воздух, к мутненькому свету, то прижимает к темной массе под ногами людей. Ноги их тоже невидимы в трепете длинных одеяний, а то, что под ними, как бы волнообразно взбухает и опускается, точно палуба судна. Всё более живой и крупной становилась рябь воды в чане, ярче — пятно света на ней,— оно дробилось; Самгин снова видел вихорек в центре темного круга на воде, не пытаясь убедить себя в том, что воображает, а не видит. Он чувствовал себя физически связанным с безголовым, безруким существом там, внизу; чувствовал, что бешеный вихрь людской в сумрачном, ограниченном пространстве отравляет его тоскливым удушьем, но смотрел и не мог закрыть глаз.

— Шибче, братья-сестры, шибче! — завыл голос женщины, и еще более пронзительно другой женский голос дважды выкрикнул незнакомое слово:

— Дхарма! Дхарма!

В круге людей возникло смятение, он спутался, разорвался, несколько фигур отскочили от него, две или три упали на пол; к чану подскочила маленькая коротковолосая женщина,— размахивая широкими рукавами рубахи, точно крыльями, она с невероятной быстротою понеслась вокруг чана, вскрикивая голосом чайки:

О, Аодаҳья!
О, непобедимый!

Захарий, хватая людей за руки, воссоединил круг, снова придал вращению его бешеную скорость,— люди заохали, завыли тише; маленькая полуседая женщина подскакивала, всплескивая руками, изгибаясь, точно ныряя в воду, и, снова подпрыгивая, взвизгивала:

Дхарма! Дхарма!
О, Чудомани,
Солнечная птица,
Пламень вечный!..

Люди судорожно извивались, точно стремясь разорвать цепь своих рук; казалось, что с каждой секундой они кружатся всё быстрее и нет предела этой быстроте; они снова исступленно кричали, создавая облачный вихрь, он расширялся и суживался, делая сумрак светлее и темней; отдельные фигуры, взвизгивая и рыча, запрокидывались назад, как бы стремясь упасть на пол вверх лицом, но вихревое вращение круга дергало, выпрямляло их,— тогда они снова включались в серое тело, и казалось, что оно, как смерч, вздымается вверх выше и выше. Храп, рев, вой, визг прокалывал и разрезал острый, тонкий крик:

Дхарма-и-и-я...

Круг всё чаще разрывался, люди падали, тащились по полу, увлекаемые вращением серой массы, отрывались, отползали в сторону, в сумрак; круг сокращался,— некоторые, черпая горстями взволнованную воду в чане, брызгали ею в лицо друг другу и, сбитые с ног, падали. Упала и эта маленькая неестественно легкая старушка,— кто-то поднял ее на руки, вынес из круга и погрузил в темноту, точно в воду.

Самгин уже ни о чем не думал, даже как бы не чувствовал себя, но у него было ощущение, что он сидит на краю обрыва и его тянет броситься вниз. На Марину он не смотрел, помня памятью глаз, что она сидит неподвижно и выше всех. Глаза его привыкли к сумраку, он даже различал лица тех людей, которые вырвались из круга, упали и сидят, прислонясь к чану с водою. Он видел, как Захарий выхватил, вытолкнул из круга Васю; этот большой человек широко размахнул руками, как бы встречая и желая обнять кого-то, его лицо улыбалось, сияло, когда он пошел по кругу,— очень красивое и гордое лицо. Плавно разводя руками, он заговорил, отрывисто и звучно, заглушая тяжелый шум и точно вспоминая слова забытые:

— Дух летит... Витает орел белокрылый. Огненный. Поет — слышите? Поет: испепелю! Да будет прахом!.. Прах — прахом... Кипит солнце. Орел небес. Радуйтесь! Низвергнет. Кто властитель ада? Человек.

Два голоса очень согласно запели:

Силою сил вооружимся,
Огненным духа кольцом окружимся,
Плавать кораблю над землею,
Небо ему парусом будет...

Круг пошел медленнее, шум стал тише, но люди падали на пол всё чаще, осталось на ногах десятка два; седой высокий человек, пошатываясь, встал на колени, взмахнул лохматой головою и дико, яростно закричал:

— Богам богиня — вонми, послушай — пора! Гибнет род человеческий. И — погибнет! Ты же еси... Утешь — в тебе спасение! Сойди...

Вскрикивая, он черпал горстями воду, плескал ее в сторону Марины, в лицо свое и на седую голову. Люди вставали с пола, поднимая друг друга за руки, под мышки, снова становились в круг, Захарий торопливо толкал их, устанавливал, кричал что-то и вдруг, закрыв лицо ладонями, бросился на пол,— в круг вошла Марина, и люди снова бешено, с визгом, воем, стонами, завертелись, запрыгали, как бы стремясь оторваться от пола.

Самгин видел, как Марина, остановясь у чана, распахнула рубаху на груди и, зачерпнув воды горстями, облила сначала одну, потом другую грудь.

Вскочил Захарий и, вместе с высоким седым человеком, странно легко поднял ее, погрузил в чан,— вода выплеснулась через края и точно обожгла ноги людей,— они взвыли, закружились еще бешенее, снова падали, взвизгивая, тащились по полу,— Марина стояла в воде неподвижно, лицо у нее было тоже неподвижное, каменное. Самгину казалось, что он видит ее медные глаза, крепко сжатые губы,— вода доходила ей выше колен, руки она подняла над головою, и они не дрожали. Вот она заговорила, но в топоте и шуме голосов ее голос был не слышен, а круг снова разрывался, люди, отлетая в сторону, шлепались на пол с мягким звуком, точно подушки, и лежали неподвижно; некоторые, отскакивая, вертелись одиноко и парами, но все падали один за другим или, протянув руки вперед, точно слепцы, пошатываясь, отходили в сторону и там тоже бессильно ва-

лились с ног, точно подрубленные. Какая-то женщина с распущенными волосами прыгала вокруг чана, вскрикивая:

— Слава, слава!

Самгин почувствовал, что он теряет сознание, встал, упираясь руками в стену, шагнул, ударился обо что-то гулкое, как пустой шкаф. Белые облака колебались пред глазами, и глазам было больно, как будто горячая пыль набилась в них. Он зажег спичку, увидел дверь, погасил огонек и, вытолкнув себя за дверь, едва удержался на ногах,— всё вокруг колебалось, шумело, и ноги были мягкие, точно у пьяного.

«Кошмар»,— подумал он, опираясь рукою о стену, нащупывая ногою ступени лестницы. Пришлось снова зажечь спичку. Рискуя упасть, он сбежал с лестницы, очутился в той комнате, куда сначала привел его Захарий, подошел к столу и жадно выпил стакан противно теплой воды.

«Зачем она показала мне это? Неужели думает, что я тоже способен кружиться, прыгать?» Он понимал, что думает так же механически, как ощупывает себя человек, проснувшись после тяжелого сновидения.

Где-то внизу всё еще топали, кричали, в комнате было душно, за окном, на синем <небе>, горели и таяли красные облака. Самгин решил выйти в сад, спрятаться там, подышать воздухом вечера; спустился с лестницы, но дверь в сад оказалась запертой, он постоял пред нею и снова поднялся в комнату,— там пред зеркалом стояла Марина, держа в одной руке свечу, другою спуская с плеча рубашку. Он видел отраженным в зеркале красное ее лицо, широко раскрытые глаза, прикушенную губу,— Марина качалась, пошатывалась. Самгин шагнул к ней,— она взмахнула рукою, прикрывая грудь, мокрый шёлк рубашки соскользнул к ее ногам, она бросила свечу на пол и простонала негромко:

— Ой,— что ты? Уйди...

Самгин шагнул еще, наступил на горящую свечу и увидел в зеркале рядом с белым стройным телом женщины человека в сереньком костюме, в очках, с острой бородкой, с выражением испуга на вытянутом желтом лице — с открытым ртом.

— Уйди,— повторила Марина и повернулась боком к нему, махая руками. Уйти не хватало силы, и нельзя было оторвать глаз от круглого плеча, напряженно высокой груди, от спины, окутанной массой каштановых волос, и от плоской серенькой фигурки человека с глазами из стекла. Он видел, что янтарные глаза Марины тоже смотрят на эту фигурку,— руки ее поднялись к лицу; закрыв лицо ладонями, она странно качнула головою, бросилась на тахту и крикнула пьяным голосом, топая голыми ногами:

— Ох, да иди, что ли!..

Тогда Самгин, пятясь, не сводя глаз с нее, с ее топающих ног, вышел за дверь, притворил ее, прижался к ней спиною и долго стоял в темноте, закрыв глаза, но четко и ярко видя мощное тело женщины, напряженные, точно раненые, груди, широкие розоватые бедра, а рядом с нею — себя с растрепанной прической, с открытым ртом на сером потном лице.

Его привел в себя толчок в плечо и шёпот:

— Батюшки,— кто это? Как это? Захарий, Захарий!..

В этой женщине по ее костлявому лицу скелета Самгин узнал горничную Марины,— она освещала его огнем лампы, рука ее дрожала, и в темных впадинах испуганно дрожали глаза. Вбежал Захарий, оттолкнул ее и, задыхаясь, сердито забормотал:

— Что же это вы... ходите? Нельзя! А я вас ищу, испугался! Обомлели?

Он схватил Самгина за руку, быстро свел его с лестницы, почти бегом протащил за собою десятка три шагов и, посадив на ворох валежника в саду, встал против, махая в лицо его черной полою поддевки, открывая мокрую рубаху, голые свои ноги. Он стал тоньше, длиннее, белое лицо его вытянулось, обнажив пьяные, мутные глаза,— казалось, что и борода у него стала длиннее. Мокрое лицо лоснилось и кривилось, улыбаясь, обнажая зубы,— он что-то говорил, а Самгин, как бы защищаясь от него, убеждал себя:

«Танцор, плясун из трактира».

Было неприятно, что этот молчаливый, тихий человек говорит так много.

— Все сомлели во трудах радости о духе. Радение-то ведь радость...

— Я пойду,— сказал Самгин, вставая; подхватив его под руку, Захарий повел его в глубину сада, тихонько говоря:

— Да, уж идите! Лошадь нельзя, лошадь — для нее.

Подвел к пролому в заборе и, махнув длинной рукою, сказал:

— Налево мимо огородов, до часовни, а уж там увидите.

Самгин пошел, держась близко к заборам и плетням, ощущая сожаление, что у него нет палки, трости. Его пошатывало, всё еще кружилась голова, мучила горькая сухость во рту и резкая боль в глазах.

Дома огородников стояли далеко друг от друга, немощеная улица — безлюдна, ветер приглаживал ее пыль, вздувая легкие серые облака, шумели деревья, на огородах лаяли и завывали собаки. На другом конце города, там, куда унесли икону, в пустое небо, к серебряному блюду луны, лениво вползали ракеты, взрывы звучали чуть слышно, как тяжелые вздохи, сыпались золотые разноцветные искры.

«Ярмарка там»,— напомнил себе Самгин, устало шагая, глядя на свою тень,— она скользила, дергалась по разбитой мягкой дороге, как бы стремясь зарыться в пыль, и легко превращалась в серую фигурку человека, подавленного изумлением и жалкого. Самгин чувствовал себя всё хуже. Были в жизни его моменты, когда действительность унижала его, пыталась раздавить, он вспомнил ночь 9 Января на темных улицах Петербурга, первые дни Московского восстания, тот вечер, когда избили его и Любашу,— во всех этих случаях он подчинялся страху, который взрывал в нем естественное чувство самосохранения, а сегодня он подавлен тоже, конечно, чувством биологическим, но — не только им. Сегодня он тоже испуган, но — чем? Это было непонятно.

Ему казалось, что он весь запылился, выпачкан липкой паутиной; встряхиваясь, он ощупывал костюм, ловя на нем какие-то невидимые соринки, потом, вспомнив,

что, по народному поверью, так «обирают» себя люди перед смертью, глубоко сунул руки в карманы брюк,— от этого стало неловко идти, точно он связал себя. И, со стороны глядя, смешон, должно быть, человек, который шагает одиноко по безлюдной окраине,— шагает, сунув руки в карманы, наблюдая судороги своей тени, маленький, плоский, серый,— в очках.

Он снял очки, сунул их в карман и, вынув часы, глядя на циферблат, сообразил:

«Это... этот кошмар продолжался более двух часов».

Механическая привычка думать и смутное желание опорочить, затушевать всё, что он видел, подсказывали ему:

«Это можно понять как символическое искание смысла жизни. Суета сует. Метафизика дикарей. Возможно, что и просто — скука сытых людей».

Вспомнилась бешеная старушка с ее странными словами.

«Вероятно — старая дева, такая же полуумная, как этот идиот, Вася».

Но он знал, что заставляет себя думать об этих людях, для того чтоб не думать о Марине. Ее участие в этом безумии — совершенно непонятно.

Если б оно не завершилось нелепым купаньем в чане, если б она идольски неподвижно просидела два часа дикой пляски этих идиотов — было бы лучше. Да, было бы понятнее. Наверное — понятнее.

Он шагал уже по людной улице, навстречу двигались нарядные люди, покрикивали пьяные, ехали извозчики, наполняя воздух шумом и треском. Всё это немножко отрезвляло.

Но когда, дома, он вымылся, переоделся и с папиросой в зубах сел к чайному столу,— на него как будто облако спустилось, охватив тяжелой, тревожной грустью и даже не позволяя одевать мысли в слова. Пред ним стояли двое: он сам и нагая, великолепная женщина. Умная женщина, это — бесспорно. Умная и властная.

В этой тревоге он прожил несколько дней, чувствуя, что тупеет, подчиняется меланхолии и — боится встречи с Мариной. Она не являлась к нему и не звала его,— сам он идти к ней не решался. Он плохо спал, утратил аппе-

тит и непрерывно прислушивался к замедленному течению вязких воспоминаний, к бессвязной смене однообразных мыслей и чувств.

У него неожиданно возник — точно подкрался откуда-то из темного уголка мозга — вопрос: чего хотела Марина, крикнув ему: «Ох, да иди, что ли!» Хотела она, чтобы он ушел, или — чтоб остался с нею? Прямого ответа на этот вопрос он не искал, понимая, что, если Марина захочет,— она заставит быть ее любовником. Завтра же заставит. И тут он снова унизительно видел себя рядом с нею пред зеркалом.

Прошло более недели, раньше чем Захарий позвонил ему по телефону, приглашая в магазин. Самгин одел новый фланелевый костюм и пошел к Марине с тем сосредоточенным настроением, с каким отправлялся в суд на сложно запутанный процесс. В магазине ему конфузливо и дружески улыбнулся Захарий, вызвав неприятное подозрение:

«Дурак этот, кажется, готов считать меня тоже сумасшедшим».

Марина встретила его, как всегда, спокойно и доброжелательно. Она что-то писала, сидя за столом, перед нею стоял стеклянный кувшин с жидкостью мутно-желтого цвета и со льдом. В простом платье, белом, из батиста, она казалась не такой рослой и пышной.

— Выпей,— предложила она.— Это апельсинный сок, вода и немножко белого вина. Очень освежает.

Сначала говорили о делах, а затем она спросила, рассматривая ноготь мизинца:

— Ну, что скажешь о радении?

— Я — изумлен,— осторожно ответил Самгин.

— Захарий говорил мне, что на тебя подействовало тяжело?

— Да, знаешь...

— Чем же изумлен-то?

— Ведь это — безумие,— не сразу сказал он.

— Это — вера!

Теперь Марина, вскинув голову, смотрела на него пристально, строго, и в глазах ее Самгин подметил что-то незнакомое ему, холодное и упрекающее.

— Это — больше, глубже вера, чем всё, что пока-

зывают золоченые, театральные, казенные церкви с их певчими, органами, таинством евхаристии и со всеми их фокусами. Древняя, народная, всемирная вера в дух жизни...

— Мне это чуждо,— сказал Самгин, позаботясь о том, чтоб его слова не прозвучали виновато.

— А это — несчастье твое и подобных тебе,— спокойно откликнулась она, подстригая сломанный ноготь. Следя за движениями ее пальцев, Самгин негромко сказал:

— Я совершенно не понимаю, как ты можешь...

Но она не дала ему кончить, снова глядя на него очень строго.

— Ты меня ни о чем не спрашивай, а что надобно тебе знать — я сама скажу. Не обижайся. Можешь думать, что я играю... от скуки, или еще что. Это — твое право.

Он замолчал, глядя на ее бюст, туго обтянутый батистом; потом, вздохнув, сознался:

— Я сожалею, что... видел тебя там...

Он говорил не о том, что видел ее нагой, но Марина, должно быть, поняла его так.

— Это пустяки,— небрежно сказала она.— Но ты видел, чем издревле живут миллионы простых людей.

Она встала, встряхнув платье, отошла в угол, и оттуда Самгин услыхал ее вопрос:

— Серафиму-то Нехаеву узнал?

— Нехаева? — повторил Самгин. давно забытое имя.— Там?

— Ну да! Бесновалась, седенькая, остроносая, вороной каркала: «Дхарма, Дхарма!» А наверное, толком и не знает, что такое Дхарма, Аодахья.

— Вот как... странно,— сказал Самгин, а она, подходя к столу, продолжала пренебрежительно:

— Как везде, у нас тоже есть случайные и лишние люди. Она — от закавказских прыгунов и не нашего толка. Взбалмошная. Об йогах книжку пишет, с восточными розенкрейцерами знакома будто бы. Богатая. Муж — американец, пароходы у него. Да,— вот тебе и Фимочка! Умирала, умирала и вдруг — разбогатела...

Самгин, слушая, удовлетворенно думал:

«Нет, она не может серьезно относиться к пляскам на заводе искусственных минеральных вод! Не может!»

И, почувствовав что-то очень похожее на благодарность ей, Самгин улыбнулся, а она, вылавливая ложкой кусок льда в кувшине, спросила, искоса глядя на него:

— Чему смеешься?

Он промолчал, не решаясь повторить, что не верит ей и — рад, что не верит.

— Неизлечимый ты умник, Клим Иванович, друг мой! — задумчиво сказала она, хлебнув питья из стакана.— От таких, как ты,— болен мир!

Поставив стакан на стол, она легко ладонью толкнула Самгина в лоб; горячая ладонь приятно обожгла кожу лба, Самгин поймал руку и, впервые за всё время знакомства, поцеловал ее.

— Неизлечимый,— повторила она, опустив руку вдоль тела.— Тоскуешь по вере, а — поверить боишься.

Самгину показалось, что она хочет сесть на колени его,— он пошевелился в кресле, сел покрепче, но в магазине брякнул звонок. Марина вышла из комнаты и через минуту воротилась с письмами в руке; одно из них, довольно толстое, взвесила на ладони и, небрежно бросив на диван, сказала:

— Крэйтон всё упражняется в правописании на русском языке. Сломал ногу, а ударило в голову. Сватается ко мне.

— Он — что? Сватается? — спросил Самгин удивленно и, тотчас же сообразив, что удивление — неуместно, сказал:

— Это меня не удивляет.

— Да,— сказала Марина, бесшумно шагая по ковру.— Сватаются. Не один он. Они — свататься, а я — прятаться,— скучновато сказала она, остановясь, и спросила вполголоса:

— Видел меня нагую-то?

Самгин не успел ответить,— выгнув грудь, проведя руками по бедрам, она проговорила тихо, но сурово:

— Какой мужчина нужен, чтоб я от него детей понесла? То-то!

Затем, тряхнув головою, проговорила глухо, с легким хрипом в горле:

— Супругу моему я за то, по́ смерть мою, благодарна буду, что и любил он меня, и нежил, холил, а красоту мою — берег.

Самгину показалось, что глаза у нее влажные,— он низко наклонил голову, успев подумать:

«Говорит, как деревенская баба...» И вслед за этим почувствовал, что ему необходимо уйти, сейчас же,— последними словами она точно вытеснила, выжала из него все мысли и всякие желания. Через минуту он торопливо прощался, объяснив свою поспешность тем, что — забыл: у него есть неотложное дело.

«Цинизм и слезы»,— думал он, быстро шагая по раскаленной зноем улице.

«Что-то извращенное, темное... Я должен держаться дальше от нее...»

Через несколько дней он совершенно определенно знал: он отталкивается от нее, потому что она всё сильнее притягивает его, и ему нужно отойти от нее, может быть, даже уехать из города.

И в середине лета он уехал за границу.

ПРИМЕЧАНИЯ

В двадцать третий том настоящего издания вошла третья часть «Жизни Клима Самгина», написанная Горьким в 1928—1930 годах. Включалась автором в *К.*

Текст подготовлен *Э. Л. Ефременко* и *Л. Н. Смирновой* при участии *А. И. Корчагина*. Текстологический комментарий составлен *Л. Н. Смирновой*.

Текст рассмотрен и утвержден Текстологической комиссией под председательством *В. С. Нечаевой*.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

Впервые полностью напечатано отдельной книгой: М. Горький. Жизнь Клима Самгина (Сорок лет), III, повесть, Verlag «Kniga». Berlin, 1931, и под тем же титулом — ГИХЛ'ом, М.— Л., 1931. Отрывки публиковались в журналах и газетах:

«Звезда», 1930, № 1, январь, стр. 5—26: «Дома по комнатам тяжело носила ∽ Сентиментальная чепуха» (в этом томе стр. 7—34);

«Звезда», 1930, № 2, февраль, стр. 5—21: «Жена с компрессом на лбу ∽ вплоть до квартиры Гогиных» (в этом томе стр. 34—56);

«Звезда», 1930, № 3, март, стр. 5—24: «В комнате Алексея ∽ прикрыв дверь за собою» (в этом томе стр. 56—82);

«Звезда», 1930, № 4, апрель, стр. 5—21: «Дни потянулись медленнее ∽ Должно быть — кончено» (в этом томе стр. 82—103);

«Известия», 1930, № 42, 12 февраля, под заголовком «Баррикада (Из романа „Жизнь Клима Самгина“)»: «Маленький круглый человечек ∽ он очень устал» (в этом томе стр. 30—34);

«Известия ЦИК СССР и ВЦИК», 1930, № 101, 12 апреля — «Любаша Сомова»: «Пушки стреляли не часто ∽ точно стая галок» (в этом томе стр. 88—92);

«Звезда», 1931, № 4, апрель, стр. 7—58: «Тишина росла ∽ не следовало называть Судакова» (в этом томе стр. 103—171);

«Звезда», 1931, № 5, май, стр. 7—69: «Марина слушала, приподняв брови ∽ ожидая, когда старуха Фелицата позовет пить чай» (в этом томе стр. 171—253);

«Звезда», 1931, № 6, июнь, стр. 5—41: «Город беспокоился, готовясь к выборам ∽ Последняя — всегда лучшая» (в этом томе стр. 253—307: «недели две он ∽ демократизировать Россию»).

В Архиве А. М. Горького хранятся:

1. Отдельные наброски и разрозненные листы с записями текста.

2. Черновой автограф *(ЧА$_1$)*, первоначальная редакция, двойные листы большого формата с авторской правкой и нумерацией 56—69 (ХПГ-23а-1-3). Текст («чужой ему, не та Москва

∽ Должно быть кончено») соответствует стр. 10—103 этого тома. Порядок эпизодов в $ЧА_1$ не совпадает с композицией окончательного текста,— есть эпизоды, впоследствии исключенные, и, напротив, нет многих сцен, введенных в текст на более позднем этапе работы.

3. Черновой автограф ($ЧА_2$) — двойные листы большого формата с авторской правкой и нумерацией 30—67 (ХПГ-24-1-1). Текст («[Под окном, точно] — Смирно-оп! — как выстрел раздался крик ∽ что за тобой числится») соответствует стр. 103—278 этого тома. Порядок эпизодов и диалоги в основном близки к окончательному тексту, но редакция многих сцен существенно отличается от окончательной. По содержанию $ЧА_2$ продолжает текст $ЧА_1$, но является иной редакцией, т. к. здесь действуют другие персонажи, нет логической связи с эпизодами $ЧА_1$ и т. п.

4. Черновой автограф ($ЧА_3$) — фрагменты, отрывки и большой кусок связного текста конца третьей части. Двойные листы большого формата с авторской правкой. Авторская нумерация связного отрывка 48—81 (ХПГ-23а-1-1). Текст («Либералы из тех ∽ судить стадо этих людей пришлось по») соответствует стр. 243—372 этого тома. По композиции текста $ЧА_3$ не совпадает ни с $ЧА_2$, ни с окончательным. Видимо, из $ЧА_3$ Горький вынимал отдельные страницы и после исправления использовал их в последней редакции.

5. Беловой автограф (*БА*) — полный текст третьей части, двойные листы большого формата. Первая половина рукописи имеет очень большую авторскую правку черными чернилами, синим и красным карандашами, множество вычерков, вставок на полях и отдельных листах, вклеек и т. п. Беловым этот автограф назван условно, поскольку является последним автографическим документом, текст которого совпадает с первопечатным (ХПГ-17-1-1).

6. Машинопись, с которой делался набор для «Звезды» ($ОН_1$); заголовок написан не Горьким; нумерация страниц машинописная, 1—60. Текст («Дома, по комнатам тяжело носила ∽ Должно быть — кончено...») соответствует стр. 7—103 этого тома. $ОН_1$ содержит незначительную авторскую правку черными чернилами, синим и красным карандашами. На листах следы пальцев наборщика, пометки редактора, разметка шрифтов (ХПГ-18-1-4).

7. Оригинал наборного экземпляра, подготовленный Горьким для «Книги» и для ГИХЛа ($ОН_2$). Составлен из печатных листов журнала «Звезда», к которым подложена машинопись. Архивная нумерация лл. 1—385. В $ОН_2$ — небольшая авторская правка черными чернилами, синим и красным карандашами, а также редакционные и типографские надписи, на отдельных листках даты сдачи материала в набор, следы пальцев наборщика, разметки шрифтов (ХПГ-18-1-3).

8. Верстка ГИХЛа(*В*), 24 печатных листа. Шесть первых листов имеют штамп 1-й Образцовой типографии с датой «30 сентября 1930 года», последний лист — с датой «2 октября 1930 го-

да». *В* содержит незначительную авторскую правку черными чернилами, синим и красным карандашами (ХПГ-19-1-2).

Кроме того, в Архиве А. М. Горького хранятся неавторизованные материалы третьей части произведения (ХПГ-18-1-5, 19-1-3, 19-1-4).

Печатается по тексту *В* со следующими исправлениями по другим источникам (исправления по *БА* ссылкой на этот источник не сопровождаются):

Стр. 9, строки 12—13: «раненых, избитых» вместо «раненых, убитых».

Стр. 15, строка 14: «свирепости гимназистов» вместо «свирепых гимназистов».

Стр. 20, строка 31: «Лютовым,— всё»: вместо «Лютовым,—» (по *БА* и $ОН_1$).

Стр. 21, строки 35—36: «собирался прыгнуть с панели на мостовую, но не мог прыгнуть» вместо «собирался прыгнуть» (по *БА* и $ОН_1$).

Стр. 28, строки 26—27: «как-то слишком бела» вместо «была как-то слишком бела» (по *БА*, $ОН_1$, *Зв.* $ОН_2$).

Стр. 32, строка 9: «Густо крякая» вместо «Гулко крякая».

Стр. 32, строка 31: «с кусочками черных зубов» вместо «с крючками черных зубов».

Стр. 33, строки 21—23: «Он понимал, что на его глазах идея революции воплощается в реальные формы, что, может быть, завтра же» вместо «Он понимал, что, может быть, завтра же» (по *БА* и $ОН_1$).

Стр. 34, строки 38—39: «а, ты, ты? Чего ты хочешь, чего?» вместо «а ты чего хочешь, чего?

Стр. 36, строка 37: «черные потоки лавы» вместо «потоки черной лавы».

Стр. 37, строка 14: «формировал настроение» вместо «формулировал настроение» (по *БА* и $ОН_1$).

Стр. 59, строки 16—17: «негромко свистнул» вместо «громко свистнул».

Стр. 61, строки 14—15: «Ногти у медника» вместо «Ноги у медника».

Стр. 71, строка 41: «он ощущал», вместо «он нащупал» (по *БА* и $ОН_1$).

Стр. 72, строка 40: «Якову-то, товарищу — отпустили бы солдата» вместо «Якову-то: товарищ, отпустил бы солдата».

Стр. 74, строка 21: «Настёнка» вместо «Настенька» (по *БА* и $ОН_1$).

Стр. 76, строка 17: «Клим думал» вместо «Клим понял» (по *БА*, $ОН_1$, *Зв*, $ОН_2$).

Стр. 77, строки 29—30: «напугали, напугали...— неестественно быстро и заикаясь говорил он» вместо «напугали, напугали...»

Стр. 82, строка 3: «Дни потянулись» вместо «Дни тянулись» (по *БА*, $ОН_1$, *Зв*, $ОН_2$).

Стр. 87, строка 8: «слепо прищурясь» вместо «прищурясь» (по *БА* и $ОН_1$).

Стр. 90, строки 33—34: «в мохнатом пальто, с мохнатым лицом» вместо «в мохнатом пальто».

Стр. 101, строка 11: «битых, раненых» вместо «убитых и раненых».

Стр. 102, строка 7: «отнесись к этому» вместо «отнесемся к этому».

Стр. 102, строки 38—39: «вскочив, надевая шапку» вместо «надевая шапку» (по *БА* и $ОН_1$).

Стр. 113, строка 37: «хрипло крикнул» вместо «хрипло закричал».

Стр. 117, строка 14: «лезервного батальону» вместо «резервного батальону».

Стр. 119, строки 26—27: «впереди его, ближе к вагонам, шагал» вместо «впереди его шагал».

Стр. 120, строка 2: «между вагонами и паровозом» вместо «между вагонами».

Стр. 123, строка 13: «Наплевону» вместо «Наполеону» (по *БА* и $ОН_2$).

Стр. 134, строка 33: «колотил себя кулаками» вместо «колотил себя руками» (по *БА* и $ОН_2$).

Стр. 148, строки 10—11: «с золотыми виноградами» вместо «с золотым виноградом» (по *БА* и $ОН_2$).

Стр. 158, строка 31: «снова позевнув» вместо «снова зевнув» (по *БА* и $ОН_2$).

Стр. 169, строки 24—25: «туго вытянув» вместо «туго выгнув» (по *БА* и $ОН_2$).

Стр. 178, строка 37: «скрестила руки» вместо «сложила руки».

Стр. 182, строка 8: «хлынул свет и бесшумно вышла» вместо «и бесшумно вошла».

Стр. 183, строки 33—38: «торжественно ответила Лидия и кашлянула, как бы сказав лишнее.

— Что же это за человек?

— Самый умный из всех, кого я знаю, человек истинно свободный и поразительной духовной силы,— в том же торжественном тоне сказала Лидия» вместо «торжественно ответила Лидия».

Стр. 189, строка 10: «шагая» вместо «топая».

Стр. 190, строки 12—15: «а — знаю...

Самгин плотнее прижался щекою к ее груди.

— Милый, милый — знаю! Не умею сказать, а — чувствую...» вместо «а — знаю...»

Стр. 190, строка 19: «осталось только одно» вместо «осталась только одна».

Стр. 198, строка 30: «похожим на радость» вместо «похожим на робость».

Стр. 210, строка 6: «теплым картузом» вместо «толстым картузом».

Стр. 210, строка 31: После «книжник».— восстановлен пропуск:

— «Никто не запрещал, а вежливость требует...»

Стр. 212, строки 10—11: «звонкие оники:—О-хо-о-хо-о-о»! вместо «звонкие: — О-хо-о-хо-о-о!».

Стр. 219, строки 4—5: «стоял тяжелый письменный стол на толстых и пузатых ножках...» вместо «стол на толстых и пузатых ножках...»

Стр. 223, строка 13: «собираясь бежать» вместо «собираясь идти».

Стр. 231, строка 5: «в черном платье, толстая» вместо «в черном платье».

Стр. 247, строка 28: «нарядить. С позументами. Вообще нарядить.» вместо «нарядить».

Стр. 257, строка 32: «закашлялся» вместо «засмеялся».

Стр. 268, строка 20: «желтая рубашка» вместо «рубашка».

Стр. 284, строки 8—9: «вспоминать — не значит выдумывать. Литература тоже действительность.» вместо «вспоминать — не значит выдумывать».

Стр. 287, строки 29—30: «плотной, казалось, что ее можно коснуться рукой, и долго» вместо «плотней, и долго».

Стр. 295, строка 8: «Муравьевой» вместо «Медведевой» (по предыдущему тексту).

Стр. 299, строка 36: «заряд дроби в морду» вместо «заряд в морду».

Стр. 308, строка 22: «пора» вместо «надо».

Стр. 320, строки 40-41: «шепотком» вместо «тоном».

Стр. 331, строка 7: «неприятной и нелегкой для него» вместо «неприятной для него».

Стр. 337, строки 28—29: «и чиновники! Попы, лакеи, извозчики, дворники, все — чиновники! Служащие.» вместо «и чиновники! Служащие».

Стр. 354, строка 21: «размягчали» вместо «разжигали».

Стр. 366, строка 25: «Сквозь веки он следил, как его спутник» вместо «Сквозь веки следил, как он».

Стр. 371, строки 26—27: «не приказано выпускать,— повторил жандарм» вместо «не приказано выпускать».

Стр. 378, строки 12—13: «покачиваясь, разбрасывая стрелы золотых лучей, икона» вместо «покачиваясь, икона».

Стр. 388, строки 37—38: «Да будет прахом!.. Прах — прахом...» вместо «Да будет прахом...»

Начало третьей части — эпизоды Московского восстания 1905 года — по раннему замыслу служило концом второй части произведения. В письме А. К. Воронскому от 31 августа 1927 г. Горький заметил: Клим «себя покажет наиболее понятным во дни Московского восстания, в конце второго тома» (*Архив ГХ*, кн. 2, стр. 58). Писатель работал над этими сценами в Сорренто в сентябре — декабре 1927 г., о чем часто упоминается в его письмах разным лицам, в частности — С. Н. Сергееву-Ценскому от 7 сентября 1927 г. (*Г-30*, т. 30, стр. 33), Д. И. Ширину-Юреневскому от 20 сентября 1927 г. (там же, стр. 36), А. Б. Халатову от 10 октября 1927 г. (*Архив ГХ*, кн. 1, стр. 91) и др.

4 декабря 1927 г. Горький советовал Воронскому взять для

печатания в «Красной нови» не начало, а именно «вторую часть второго тома „К〈лима〉 С〈амгина〉", ибо там 9-е Января, Московское восстание и вообще она, кажется, интереснее первой» (*Архив ГХ*, кн. 2, стр. 61). Однако конец второго тома к этому времени, видимо, еще не был написан. 6 декабря 1927 г. автор сообщал Халатову, что кончит том к январю будущего года (*Архив ГХ*, кн. 1, стр. 96).

В последних числах декабря второй том в первоначальном его объеме был завершен, но сцены Московского восстания заняли слишком много места, а весь второй том оказался значительно больше первого. Поэтому у Горького возникло решение — Московское восстание перенести в начало третьего тома. Январь и большую часть февраля 1928 г. он работал над новой концовкой второго тома. 21 февраля 1928 г. писатель сообщал П. П. Крючкову: «На днях пришлю конец рукописи. Второй том растянулся так, что я буду печатать его лишь до похорон Баумана, а Московское восстание будет началом третьего. Оно уже написано, конечно. Работаю — бешено, часов по 14, не сходя с места. Устал» (Архив А. М. Горького, ПГ-рл-21а-1-136). Отсылая Крючкову обещанный материал, Горький в сопроводительном письме от 23 февраля 1928 г. повторял: «...Московское восстание так разъехалось, что увеличило бы книгу еще страниц на 100» (Архив А. М. Горького, ПГ-рл-21а-1-137).

Видимо, после окончания второго тома в работе над «Жизнью Клима Самгина» наступил перерыв. В последующие три месяца Горький интенсивно занимается публицистикой, выполняя многочисленные обязательства перед журналами, пишет предисловия и послесловия к издающимся в Советской России книгам молодых авторов. С мая по октябрь 1928 г. Горький находился в Советском Союзе, где многочисленные официальные и неофициальные встречи, выезды на фабрики и заводы, в пионерские лагеря, наконец, большая поездка по стране, длившаяся несколько недель,— исключали возможность систематической работы над «Жизнью Клима Самгина». Вернувшись в Сорренто во второй половине октября 1928 г., писатель занялся обработкой богатейших впечатлений, почерпнутых во время поездки на родину (см. примеч. в т. XX наст. изд. к очеркам «По Союзу Советов»).

«В России ко мне столько прилипло всякой работы,— писал он 15 декабря 1928 г. Зиновию Пешкову,— что сижу я теперь за столом с утра до ночи и нет у меня ни минуты свободной для себя. Кажется — и читать скоро разучусь...» (Архив А. М. Горького, ПГ-рл-30-46-42).

В многочисленных письмах к разным адресатам Горький в это время почти не упоминает о «Жизни Клима Самгина». Только в письме к И. А. Груздеву от 17 ноября 1928 г. встречается упоминание: «„Самгина" — пишу» (*Архив ГХI*, стр. 183). Есть основания полагать, что обращение к «Самгину» в этот период было лишь эпизодическим, интенсивная же работа над третьей частью началась не ранее декабря 1928 г. «Достиг бессонницы. Пишу 3-й том»,— сообщал Горький Крючкову 2 января 1929 г.

(Архив А. М. Горького, ПГ-рл-21а-1-172). «„Самгина", конечно, пишу, но печатать в этом году — не стану»,— говорится в письме Груздеву от 15 февраля 1929 г. (*Архив Г XI*, стр. 195). А четыре недели спустя, 11 марта, Горький известил Крючкова о том, что «написал, пожалуй, половину третьего тома» (Архив А. М. Горького, ПГ-рл-21а-1-204).

Это был плодотворный период работы над «Жизнью Клима Самгина». К маю 1929 г., когда предстояла новая поездка в СССР, Горький намеревался довести повествование до 1914 г. (начало первой мировой войны). Об этом он писал Крючкову 8 апреля 1929 г. (Архив А. М. Горького, ПГ-рл-21а-1-216).

Возможно, на том этапе писатель еще рассчитывал уложить всё повествование в три тома. Осуществить это намерение ему не удалось. Материал явно не укладывался в три тома. К маю 1929 г. Горький, по-видимому, довел повествование хронологически не до 1914 г., а лишь до 1906—1907, т. е. не успел окончить третий том в его существующем объеме. Иначе он взял бы с собою рукопись для передачи ее в издательство. Во всяком случае, такой важный этап, как окончание работы над новым, третьим, томом «Жизни Клима Самгина» должен был отразиться в его письмах или в письмах лиц из его окружения. Мы такими материалами не располагаем.

Новая поездка по Советскому Союзу с мая по октябрь 1929 г. опять прервала работу над «Самгиным». К ней Горький вернулся лишь в ноябре 1929 г.

Летом 1929 г., находясь в Ленинграде, Горький обещал В. М. Саянову печатать продолжение «Жизни Клима Самгина» в журнале «Звезда». По приезде в Сорренто, выполняя свое обещание, Горький выслал Саянову 27 ноября 1929 г. начало третьего тома, где повествуется о событиях Московского восстания. В сопроводительном письме он сообщал:

«Вот Вам обещанный материал.

Не мог прислать его раньше, потому что случилась идиотская история: весною, уезжая в Москву, засунул куда-то рукопись второй редакции и — не нашел ее. Принужден был работать с черновиком, восстановляя вторую редакцию по памяти. Думаю, что вышло плохо, но уж если обещал — посылаю, как вышло.

Прошу Вас присылать мне „Звезду"» (*Г Чтения*, 1951, стр. 31—32).

Речь в письме идет не обо всем третьем томе, а лишь о первой части его, повествующей о событиях Московского восстания. Косвенное подтверждение, что это так и что границы третьего тома к этому времени еще не определились, содержится в переписке Горького этого периода. Так, в письме Груздеву от 18—19 февраля 1930 г., называя конкретных лиц, послуживших прототипами для образа Самгина, Горький замечал: «Есть в „Самгине" фигура, которая, на мой взгляд, удалась мне, это — Анфимьевна. Она уже умерла и ее объели крысы. Почти уверен, что неплохо напишу Марину» (*Архив Г XI*, стр. 28). О Марине Горький пишет здесь, как о будущей удаче. В полную же худо-

жественную мощь эта фигура показана в общении с Самгиным, когда он переехал на жительство в Русьгород. Стало быть, к исходу февраля 1930 г. Горький написал приблизительно две трети тома.

Регулярная работа над «Жизнью Клима Самгина» перебивалась текущей работой для журналов, реализацией других художественных замыслов, тормозилась болезнями, большой усталостью. В письмах Горького нередко, хотя и в шутливой форме, прорываются досада и жалобы на нездоровье, недостаток времени. «У меня совершенно нет свободного времени на ближайшие 4—5 недель,— сообщал он Тарасу Кострову 25 мая 1930 г.— Нужно дать материал для „Н⟨аших⟩ Д⟨остижений⟩", для „Литучебы", нужно прочитать кучу рукописей и кончить 3 т. „Самгина". А мне велят лежать час в день и вообще обращаются со мной зверски, заставляя поглощать массу пищи» (*Архив Г* X, кн. 2, стр. 211). В письме А. Д. Камегулову 12 июня 1930 г.: «...я заработался и хотя чувствую себя не совсем инвалидом, а— все-таки! Работать на три журнала весьма забавно и радостно, однако — у меня, дорогой мой, тоже не кончен роман, мне хочется написать пьесу. Две пьесы...» (там же, стр. 297). 30 июня 1930 г. И. А. Груздеву: «Работать мне приходится на 3 журнала, да „Самгин", да — пьеса» (*Архив Г* XI, стр. 233).

С июня 1930 г. начинается перепечатка рукописи на машинке. Ее осуществляет М. А. Пешков с помощью своей жены. «Тимоша с Максимом сейчас заняты, печатают на машинке»,— писала Е. П. Пешковой 2 июня 1930 г. С. Вольнова-Гольдберг (Архив А. М. Горького, фонд Е. П. Пешковой, кн. п, 1984/131). О том же 20 июля 1930 г. сообщала ей и Н. А. Пешкова: «Максим — помогает отцу, всё время печатает на машинке „Клима Самгина" третью часть, и так увлекся этим — что его трудно вытащить из дому» (Архив А. М. Горького, фонд Е. П. Пешковой, кн. п. 1984/134).

Сам Горький в это время тоже преимущественно занят «Жизнью Клима Самгина». 14 июня 1930 г. он уведомляет Крючкова: «Засел за работу плотно, хочу разделаться с романом возможно скорей» (Архив А. М. Горького ПГ-рл 21а-1-294). 19 июля 1930 г., в ответ на настойчивые вопросы Крючкова о сроках окончания работы, сообщает: «„Самгина" скоро начну высылать» (Архив А. М. Горького, ПГ-рл-21а-1-305). 16 августа 1930 г. вновь подтверждает в письме тому же адресату, что завершение работы близко: «Кончаю 3-й том. На днях вышлю. Рука болит» (Архив А. М. Горького, ПГ-рл-21а-1-314).

Наконец, в последних числах августа 1930 г. третий том был доведен до конца. 31 августа 1930 г. Горький известил Крючкова: «... посылаю „Самгина" в трех пакетах: 309 стр. и то, что было напечатано в „Звезде"; но „Звезды" у меня только три книжки, четвертой — не прислали, почему я и просил Вас — телеграммой — выслать ее. Как только получу книжку— прочитаю и вышлю недостающие страницы в тот же день. Опоздал я? Ну, что же делать!» (Архив А. М. Горького, ПГ-рл-21а-1-319).

Горький выслал Крючкову автографический материал, условно названный выше $ОН_2$. Этот источник составлен из печатных листов журнала «Звезда» и машинописи со сквозной авторской правкой. Листы из № 4 «Звезды» (1930) Горький выслал вслед за предыдущим материалом 3 сентября 1930 г., почти не внеся никакой правки (письмо Горького Крючкову, 3 сентября 1930 г.— Архив А. М. Горького ПГ-рл-21а-1-322).

Когда весь материал оказался у Крючкова, тот немедленно переправил его для издания отдельной книгой А. В. Халатову со следующей запиской: «Я получил от А. М. Горького 3-ю рукопись 3-ей части повести „Клима Самгина". Рукопись необходимо срочно сдать в набор и отпечатать 100 экземпляров под фирмой „Kniga" для закрепления авторского права А⟨лексея⟩ М⟨аксимовича⟩ за границей. После закрепления прав повесть будет печататься в журнале „Звезда". Было бы хорошо всё это дело срочно поручить тов. Свирскому» (Архив А. М. Горького, Кр-рл-1-18-3).

Несмотря на некоторую задержку с набором, дело шло довольно быстро. Уже 2 октября 1930 г. Крючков послал в Сорренто верстку третьей части, а на следующий день вместе со своим письмом переправил Горькому замечания «литправщика» (письмо Крючкова Горькому от 3 октября 1930 г.— Архив А. М. Горького, КГ-п-41а-1-111).

Замечания «литправщика» Н. К. Замкова имеют существенное значение для выработки канонического текста третьей части «Жизни Клима Самгина». Поэтому целесообразно привести здесь его переписку с Горьким по возможности полно.

«Алексей Максимович! — писал Замков.— Мне было поручено в экстренном порядке подготовить к печати третий том „Жизни Клима Самгина", верстку коего завтра отправляет Вам т. Крючков. Считаю необходимым пояснить Вам, какая работа была мною проделана ⟨. . .⟩ Я прежде всего прочитал рукопись и, *обнаружив необходимость некоторой правки* [1], решил делать ее в гранках, оставив оригинал нетронутым, чтобы Вы, читая верстку, могли в нужных случаях установить, что — „от меня". Нужно сказать, что темп работы поставил меня в довольно тяжелое положение, т. к. корректуру гранок и верстки я вынужден был прочитать в течение шести дней, начав 26/IX и кончив сегодня утром, работая по 18 час. в сутки ⟨. . .⟩ Прежде всего, должен сказать, что порядочную правку я провел в отношении знаков препинания. По первым частям „Самгина" и особенно по оригиналу третьей части — я знал, что у Вас особая, упрощенная система знаков препинания, при помощи которой Вы устраняете излишнюю прерывистость речи, концентрируете периоды, усиливаете напряженность восприятия действия. Однако в ряде мест данной части, подходя к тексту с точки зрения читателя, я натыкался нередко на такую расстановку знаков препинания

---

[1] Здесь и далее курсивом набраны слова, которые Горький подчеркнул красным карандашом при чтении письма. После слов «правки» Горький поставил знак вопроса.

или недостаток их, кои мешали связности речи или логическому восприятию, что и старался устранить своей правкой ⟨. . .⟩

Останавливаться на ряде мелочей, вроде устранения двойных согласных в таких словах, как коридор, гостиница и проч., не буду, т. к. это теперь — общее для всех правило ⟨...⟩

Укажу теперь на ряд отдельных допущенных мною исправлений — смыслового характера или стилистического:

⟨1⟩ На 11 стр. — 3-й абз. от конца [1] — в фразе: „Эти были слишком глупы, для того, чтобы..." — опустил „для того" — ненужно и громоздко.

⟨2⟩ На 26 стр.— „Он (Судаков) вдруг остановился... и спросил" — заменил по смыслу слово „спросил" — словом „сказал".

⟨3⟩ На 30 стр. — „а из сарая чужой голос догнал ее слова: — Не дадут, — возьмем",— заменил: — „а из сарая догнал ее слова чужой голос...", т. к. иначе получается, что слова „Не дадут возьмем"— говорит Анфимьевна, а это не так.

⟨4⟩ На 32 стр.— „Казалось, что движение событий с каждым днем увеличивается...",— заменил „увеличивается" — „усиливается",— можно было бы и „ускоряется",— но не „увеличивается".

⟨5⟩ На 62 стр.— „посыпал золою лужу крови, соскреб ее снова...",— заменил — „посыпал лужу крови золою, соскреб ее..." — а то получается, что соскреб лужу крови.

⟨6⟩ На 66 стр.— „Сказали мне — раненый солдатишко знает вашу личность" — выкинул „солдатишко", т. к. речь идет не о пленном солдате, а о пленном штатском черносотенце [2].

⟨7⟩ На 118 стр.— „в коридоре зашумели, дверь открылась, вошла большая женщина...",— вставил после „вошла": „— с Дуняшей" [3], т. к. только что говорилось, что Дуняша исчезла, а дальше Марина обращается к ней.

⟨8⟩ На 135 стр. —„. . . и первые слова, которые он услыхал, говорили": — заменил: „и до него донеслись слова:", а то получается, что „*слова . . .говорили*".

⟨9⟩ На 138 стр.— „Есть люди, которые живут, неустанно, как жернова — зерна, перемалывая разнородно тяжелые впечатления бытия, для того чтобы...",— заменил: „Есть люди, которые живут, неустанно перемалывая, как жернова — зерна, разнородно..." (и без „для того")[4].

⟨10⟩ На 148 стр. — „А сам ты как думаешь... и догадывался...",— заменил „догадывался" — „старался догадаться",

[1] Замков указывает страницы по верстке (Архив А. М.Горького, ХПГ-19-1-2).

[2] После этих слов очень бледная, едва различимая надпись Горького красным карандашом: «врем⟨енным⟩ солдатом». Видимо, Горький сначала написал эти слова как возражение на замечание Замкова, но потом стер их резинкой.

[3] Слова «с Дуняшей» Горький подчеркнул в письме красным карандашом.

[4] Этот абзац Горький отчеркнул слева вертикальной чертой красным карандашом. В верстке Горький правил эту фразу, дав свой окончательный вариант.

т. к. по смыслу он именно старался догадаться, но еще не догадывался [1].

〈11〉 На 158 стр. в одном случае лошади губернатора были названы серыми, а немного ниже в двух случаях — вороными; в гранках я заменил „серых" „вороными", но потом везде переметил на серых, т. к. „голубая сетка" — к вороным не подходит, да и на 121 стр. упоминаются те же серые лошади, покрытые голубой сеткой.

〈12〉 На 168 стр. говорится, что Лидия видела террориста на серой лошади (и хотя Марина сомневается, но указание Лидии, видимо, верно, т. к. она упоминает шубу и папаху, которые видел и Самгин), а на 158 стр.— Судаков управляет „черной тоиконогой лошадью", почему в гранках я и переметил „серую" на „черную" [2].

〈13〉 На стр. 246 — „Своей пустой ложкой в чужую чашку каши" — заменил „чашку" — „миской" [3],—по-моему, правильнее.

〈14〉 На 266 стр.— неправильно в оригинале стояло: „Туробоев" — вместо „Турчанинов" [4].

〈15〉 На 345 стр.— в оригинале было „Поляков" — вместо „Пермяков".

〈16〉 Думается мне также, что на 118 стр. в абзаце „Вы хотели немножко революции?» (слова Депсамеса) — чрезмерно искажена речь Депсамеса, хотя раньше он говорит почти правильно.— Исправлений я не внес.

〈17〉 Едва ли правильно передано также двустишие Самгина (на 201 стр.): первая строка — *бессмыслица*, а вторая — имеет смысл?!

〈18〉 Правильна ли также оставленная мною транскрипция фамилии Ницше, которого в разных местах текста называют и Нитчше, и Нитцше, и Ницше? 〈. . .〉

До возвращения от Вас верстки — подготовим с т. Крючковым обложку и титул, чтобы немедленно по возвращении верстки приступить к печатанию особых 100 экз. 〈. . .〉

Сдав уже т. Крючкову верстку, обнаружил две мелочи: 1) на 3-й стр. надо было: „...дом... отодвинулся с того места", а в верстке стоит „от того места" [5]; 2) на 24 стр. стоит: „Алина встала, протянув ему (Судакову) руку"... „Встала" — как-то попало случайно,— надо: „Алина протянула ему руку..." [6] (Архив А. М. Горького, КГ-п-28-17-3).

---

[1] Абзац отчеркнут слева вертикальной красной чертой. Слово «старался» подчеркнуто Замковым.

[2] В верстке Горький вновь собственноручно зачеркнул «черной» и написал «серой».

[3] Слово «миской» Горький вычеркнул жирной красной чертой, красным карандашом.

[4] Этот абзац Горький отчеркнул слева вертикальной чертой, красным карандашом, согласившись с поправкой.

[5] В верстке Горький исправил «от» на «с».

[6] В верстке Горький сделал исправление, но не то, которое предложил Замков,— он заменил глагол «встала» на «сказала».

Во втором письме к Горькому, написанном 11 ноября 1930 г., Замков сообщал, что перечислил лишь «более или менее существенные поправки», вся же работа, по его заявлению, выразилась во внесении в текст «многих сотен поправок», включая исправление знаков препинания (Архив А. М. Горького, КГ-п-28-17-2).

Писатель, сообщая 10 октября 1930 г. Крючкову, что кончил чтение верстки, добавлял: «Замкову — напишу, чтоб он не брался не за свое дело,— править стиль, не портил бы пословиц, заменяя „чашку" — „миской"» (Архив А. М. Горького, ПГ-рл-21а-1-336). 13 октября 1930 г. он послал Замкову письмо:

«Против Вашей „правки стиля" решительно возражаю. Я пишу 38 лет, и у меня есть кое-какие свои „навыки", исправлять которые я никому не позволю. Тем более не могу позволить, что Вы обнаружили Вашей правкой весьма странное отношение к русскому языку, в частности — к пословицам, изменять которые — не принято и не следует. „Своей ложкой в чужую чашку" — пословица и заменять „чашку" не русским словом „миска" — не годится. „Мое счастье — на мосту с чашкой". „Кашку слопал — чашку о́ пол" и т. д.

Двустишие Некрасова — а не Самгина — декламируется в ритме шума поезда:

„Коняна — скакую — становит" — „бессмысленного",— как Вы говорите,— в этом ничего нет, просто разорваны слова, в соответствии ритма, как его воспринимал Самгин.

Депсамес говорит в тон — еврейских анекдотов как бы нарочно, это — указано.

Не сердитесь на сии указания, но, повторяю — за язык мой я сам несу ответственность» (Архив А. М. Горького, ПГ-рл-16-5).

Отвергая право на вмешательство редактора в текст, Горький вместе с тем при просмотре верстки в ряде случаев оставил стилистические варианты, предложенные Замковым и указанные им в письме. Эти поправки, не отвергнутые писателем, следует учитывать при установлении канонического текста, как это и сделано в настоящем издании. Исправления, внесенные Замковым и не перечисленные им в письме к Горькому, принимались или отвергались в результате конкретного их анализа.

Горький работал над версткой немногим более суток: получил пакет 8 октября 1930 г., а уже 10 октября писал Крючкову: «Прочитал в один день, устал — адски!» Писатель просил Крючкова лично проследить за корректурой. В процессе чтения автор сделал несколько стилистических замен, вычеркнул некоторые фразы и ввел небольшую (½ страницы) вставку в текст (Архив А. М. Горького, ХПГ-19-1-2). Этим работа над третьей частью «Жизни Клима Самгина» завершается. В дальнейшем Горький не вносил в текст никаких исправлений.

18 октября 1930 г. Крючков получил от Горького верстку и направил ее в типографию. По-видимому, дубликат верстки был переслан в журнал «Звезда», продолжавший печатать отрывки из произведения. Текст «Звезды» соответствует правлен-

ной верстке, если не считать небольших разночтений, внесенных, вероятно, корректором журнала.

Крючков рассчитывал, что отдельным изданием третья часть выйдет к новому, 1931 году. «„Клима Самгина" пошлю Вам 2-го января»,— сообщал он Горькому 30 декабря 1930 г. (Архив А. М. Горького, КГ-п-41а-1-113). Неожиданно для всех издание затянулось по техническим причинам (из-за отсутствия бумаги), о чем Крючков известил Горького 2 января 1931 г. (Архив А. М. Горького, КГ-п-41а-1-115). 15 января Халатов писал Горькому: «Должен принести Вам мои извинения за нелепую задержку аппаратом выпуска 150 экз. Самгина: на днях выйдет» (*Архив Г. Х.*, кн. 1, стр. 234). Эти 150 экземпляров с выходными данными: Verlag «Kniga». Berlin, 1931) — были отпечатаны только в начале февраля 1931 г. 4 февраля Крючков уведомил Горького: «„Клима Самгина" шлю. Это только часть издания для закрепления авторских прав за границей» (Архив А. М. Горького, КГ-п-41а-1-121).

Основной тираж (с выходными данными: ГИХЛ, М.—Л., 1931) отпечатан в мае 1931 г. (Архив А. М. Горького, КГ-изд-13-31-1).

В это время Горький работал уже над четвертой частью «Жизни Клима Самгина».

СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ

А. М. Горький. Москва, 1928 г. 4

«Жизнь Клима Самгина», часть третья. Страница чернового автографа 19

«Жизнь Клима Самгина», часть третья. Первая страница белового автографа 81

«Жизнь Клима Самгина», часть третья. Машинописная страница с правкой М. Горького 153

«Жизнь Клима Самгина», часть третья. Страница верстки с правкой М. Горького 227

СОДЕРЖАНИЕ

ЖИЗНЬ КЛИМА САМГИНА
(СОРОК ЛЕТ)
Повесть

Часть третья 5

Примечания 399

Список иллюстраций 414

Печатается по решению
Президиума Академии наук СССР
и Комитета по печати
при Совете Министров СССР

*

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:
Л. М. ЛЕОНОВ (главный редактор),
Н. Ф. БЕЛЬЧИКОВ, Б. А. БЯЛИК, С. С. ЗИМИНА,
Г. М. МАРКОВ, А. И. МЕТЧЕНКО, А. С. МЯСНИКОВ,
В. С. НЕЧАЕВА, В. В. НОВИКОВ,
А. И. ОВЧАРЕНКО (зам. главного редактора),
В. М. ОЗЕРОВ, Б. Л. СУЧКОВ, Е. Б. ТАГЕР,
К. А. ФЕДИН, М. Б. ХРАПЧЕНКО, В. Р. ЩЕРБИНА

Текст подготовили
Э. Л. Ефременко и *Л. Н. Смирнова*
при участии *А. И. Корчагина*
Текстологический комментарий — *Л. Н. Смирновой*

Ответственный секретарь издания *М. А. Семашкина*

Редакторы двадцать третьего тома
Н. Н. Жегалов и *И. С. Черноуцан*

*

Редактор издательства *М. Б. Покровская*

Оформление художника *Н. А. Седельникова*

Технический редактор *О. М. Гуськова*

Корректоры *М. В. Боткова* и *Н. Г. Сисекина*

*

Сдано в набор 5/VIII 1974 г. Подписано к печати 27/XI 1974 г.
Формат 84×108¹/₃₂. Бумага типографская № 1.
Усл. печ. л. 21,94. Уч.-изд. л. 21,3. Тираж 298 500 экз.
Тип. зак. № 1650. Цена 1 р. 50 к.

Издательство «Наука» 103717 ГСП,
Москва, К-62, Подсосенский пер., 21

Ордена Трудового Красного Знамени
Первая Образцовая типография имени А. А. Жданова
Союзполиграфпрома
при Государственном комитете Совета Министров СССР
по делам издательств, полиграфии и книжной торговли.
Москва, М-54, Валовая, 28